

ОСКАР ЛУТС

Весна

ОСКАР ЛУТС

Весна

Картинки из школьной жизни

Москва
издательство «Правда»
1987

84 Р 7
Л 86

Перевод с эстонского
Б. Лийвака

Иллюстрации
В. Гальдяева

Л $\frac{4702700000-1325}{080(02)-87}$ 1325—87

От автора

О, сколько раз с тех пор, как «Весна» впервые вышла из печати, мне приходилось слышать такие вопросы: «Действительно ли были на свете Йоозеп Тоотс, Арно Тали, раяская Тээле, Георг Аадниэль Кийр, Тыниссон и другие? Живы ли они еще? Где они теперь?» И вслед за этим спрашивающие, многозначительно подмигивая, обычно добавляли: «Наверное, Тоотс — это вы сами и есть? Наверное, Арно Тали — это вы и есть? Наверное, такой-то и такой-то герой повести — это вы и есть?» В одном только меня до сих пор еще никто не заподозрил — в том, что я тогдашний пробст из Паламузе — Зильман, кистер Лендер или звонарь Либле.

В действительности же дело обстоит так, что каждый герой, выведенный и в этом, и в любом другом литературном произведении, всегда откуда-то «взят»; любой изображаемый писателем персонаж в какой-то степени имеет свой п р о о б р а з. А как писатель создает тот или другой тип — это уже вопрос его творческого процесса. Писатель ведь не фотограф, передающий в точности то, что запечатлено его аппаратом.

Нельзя забывать вот что: вовсе нет нужды, чтобы события описывались в художественном произведении точно так, как они происходили в действительности; но они должны быть п р а в д о п о д о б н ы м и — такими, какими могли быть в реальной жизни.

Что из того, скажем, если бедняге Йоозепу Тоотсу приписаны такие проделки, о каких он и понятия не имел!

Где же сейчас те люди, которые послужили прообразами для моей «Весны»? Один тут, другой там, а кое-кого и вовсе уже нет в живых. Подумаем хотя бы о войнах, отделяющих наше время от тех далеких дней, когда я учился в Паунвереской школе!

В 1905 году, во время забастовки служащих аптек в Тарту, был и мне обеспечен неограниченный досуг — меня выгнали со службы из аптеки, что близ Каменного моста. Я перекочевал в деревню и поселился около железнодорожной станции Ракке — там у родителей моих был маленький хуторок. И вот именно там они, бывшие ученики Паунвереской приходской школы, прямо-таки пошли на меня штурмом: напиши о нас, расскажи о нашей жизни, ты же нас видел, ты нас знаешь!

И они не оставляли меня в покое до тех пор, пока я и сам не загорелся этой мыслью. На хуторе у нас была полутемная комнатушка, и здесь я, чтобы хоть чем-нибудь *заняться, стал писать свои картинки из школьной жизни.. Но тогда мне еще и в голову не приходило, что писания мои когда-нибудь увидят свет, что из них может получиться книга. Мысль эта явилась только несколько лет спустя, после того, как я уже довольно много постранствовал по свету, изведал и радости, и горе.*

Позже, когда я работал аптекарем в Нарве, потом снова в Тарту, «Весна» со всеми ее героями была совсем забыта. Лишь в 1908 году, служа уже в Таллине, я снова стал перелистывать пожелтевшие, измятые страницы. В то же время я понемножку продолжал писать. Но и тогда в моей литературной работе еще не было определенной цели или замысла. И я даже не помню, читал ли я кому-нибудь хотя бы отрывки из этой вещи. Помню лишь одно: мне всегда бывало очень неловко признаваться, что и я имею отношение... к литературе.

Затем наступило время, когда мне нахлобучили на голову «царскую шапку» и мне пришлось идти служить российскому императору. Я взял с собой «Весну» даже на военную службу и урывками продолжал писать дальше. Однажды я даже попал под подозрение — не замышляю ли я что-нибудь антигосударственное...

Но об этом я уже рассказывал в своих воспоминаниях — к чему здесь повторять то же самое.

В 1912 году я вернулся в свой любимый Тарту, прочел свою видавшую виды рукопись, и тогда только впервые пришла мне в голову мысль, что ее можно было бы напечатать.

Но кто возьмется ее издать?

Я обошел несколько издательств, но безуспешно — никому мои «картинки» не были нужны. «Не... не.. не пойдет»,— всюду один и тот же ответ.

Тогда я обозлился, занял денег, где только смог, и выпустил первую часть «Весны», как говорится, на свой страх и риск. Тогдашняя типография «Постимээс» предъявляла очень тяжелые условия, но у меня не оставалось другого пути. Была не была!..

И что же? Через два-три месяца я вернул все свои затраты. И критики, и читающая публика встретили мою книжечку очень доброжелательно: так я и стал вскоре не только издателем, но и писателем.

И когда сейчас я иной раз оглядываюсь назад и сравниваю прошлое с настоящим, я вижу, какая разница между теми временами и нынешними. Взять хотя бы ту же приходскую школу в Паунвере... В нее попадали лишь дети более или менее зажиточных родителей, а дети бедняков и батраков должны были довольствоваться сельской школой. Плата за обучение была, правда, не так уж велика, кажется, рублей шесть в год, но кто стал бы за бедняцких ребят пасти скот? Осенью,

когда в приходской школе начинались занятия, дети бедняков еще должны были ходить в пастухах, да и весной — школа еще работала, а маленьким пастухам уже надо было являться на место. Если в приходскую школу и попадал иногда какой-нибудь бедняк, то чаще всего из семьи ремесленников.

А сейчас?

Каково положение сейчас — это знает каждый, кто имеет глаза и уши. Свободный доступ в школу, неограниченные возможности для учебы, стипендии — только иди учись, получай образование, приобщайся к знаниям.

И еще вот что мне вспоминается.

Как бы там ни было, относились тогда школьники друг к другу хорошо, по-товарищески. Весьма возможно, что способствовал этому наш общий враг — паунвереская немецкая школа, помещавшаяся тут же, рядом. Даже ворчуны — а были и такие — объединялись с товарищами, если ученикам приходской школы угрожала общая «опасность». О, эти «дружеские переговоры» с помощью камней и палок — как часто случалось нам их вести с молодыми барчуками!

Сейчас все это, конечно, для нас — только кусочек истории, но что же из этого? Ведь история тоже учит нас ценить настоящее.

Тарту, январь 1949 г. *О. ЛУТС*

Часть первая

I

Когда Арно с отцом вошли в школу, оказалось, что уроки уже начались. Учитель позвал их обоих к себе в комнату, поговорил с ними, велел Арно быть прилежным и аккуратным, затем усадил его в классе за парту, рядом с длинноволосым мальчуганом. Потом учитель дал Арно что-то списывать с книги, и ему уже некогда было думать о чем-либо другом. Он вынул свою грифельную доску и стал писать. Но не успел он написать и нескольких строк, как его длинноволосый сосед, наклонившись к самому его уху, шепотом спросил:

— Что тебе учитель говорил, когда вы были у него в комнате?

Арно знал, что на уроке разговаривать нельзя, поэтому сначала робко взглянул на учителя и только потом ответил:

— Да так, ничего...

Но соседа это не удовлетворило. Он отложил в сторону свой грифель, высморкался и снова зашептал:

— А учитель не говорил, чтоб не смели в школе читать рассказы про индейцев?

— Нет, не говорил.

— Ой, а мне говорил. У меня их тут была целая куча, они и сейчас еще в шкафу. Ты читал «В лесах Америки»? Вон какой был молодчина — один дрался против целой дюжины краснокожих. Да-а...

— Кто такой?

— Кентукский Лев.

Арно положил грифель и в первый раз внимательно взглянул на соседа. У него было рябое лицо и чуть искривленный вправо нос. Его светлые волосы были сильно взлохмачены.

«Ну и трудно же ему, наверно, их расчесывать», — подумал Арно.

Но рассматривать нового товарища долго не пришлось. Тот с каждой минутой становился все беспокойнее, вертелся во все стороны, словно флюгер, и всем своим видом показывал, что школьные занятия — для него дело второстепенное, да ему сейчас и некогда заниматься.

— Тоотс, чего ты там опять вертишься? — спросил учитель. Арно испугался, схватил грифель и стал быстро писать. А Тоотс, который в эту минуту, обернувшись к мальчишке, сидевшему позади, обсуждал какой-то головоломный вопрос насчет индейцев, с быстротой молнии вскочил с места.

— Нет, я ничего... Петерсон спросил меня, как пишется русское «ять».

— Та-ак. И ты ему объяснил?

— Да, я ему объяснил. Он, чудак этакий, совсем неправильно написал.

— Так, так, ясно. Но, может быть, в классе еще кто-нибудь не знает, как пишется буква «ять». Тоотс, подойди-ка лучше к доске и напиши, чтобы все видели.

Странная тень пробежала по лицу Тоотса. Как видно, идти к доске ему совсем не улыбалось.

— Ну иди же, иди! — повторил учитель.

Тут бедняга понял, что никакие силы земные его не спасут. В отчаянии он обернулся к Арно, который украдкой следил за происходящим, и торопливо зашептал:

— Покажи скорее! Покажи!

Арно вывел у себя на грифельной доске огромное «ять». Тогда Тоотс с потрясающей самоуверенностью направился к классной доске и написал на ней ту же букву. Затем он вызывающим взглядом обвел весь класс, как бы желая сказать: «А вы что думали — я не знаю, как пишется «ять»?»

И в глазах ребят он прочел единодушный ответ: «Да, да, Тоотс, конечно, знаешь!»

И все же в классе нашелся человек, державшийся несколько иного мнения, чем остальные,— это был учитель. Словно какой-то злой дух надоумил его подойти вдруг к Арно и взглянуть на его грифельную доску; на ней была изображена точно такая же зако-

рючка, как и на классной доске. В душу учителя закралось подозрение.

— Послушай-ка,— обратился он к Тоотсу,— может быть, у тебя есть в запасе еще какое-нибудь вранье? Если есть, так уж выкладывай все сразу.

— Какое враньe? — спросил Тоотс.

Лицо у него было сейчас такое невинное, что всякий мало-мальски жалостливый человек, глядя на него, прослезился бы. Но так как учитель был существом совсем бессердечным, он не только не прослезился, но даже, как видно, не собирался положить конец этой пытке.

— Петерсон, ты спрашивал у Тоотса, как пишется буква «ять»?

Тоотс подмигивал Петерсону, чтобы он ответил «да», но увы! — это не подействовало.

— Нет.

— Ну да, я так и знал. А что же он тебе говорил?

— Тоотс сказал — он не понимает, как это индейцы умудряются так быстро снимать скальп: когда он сам один раз захотел с дохлой кошки...

Продолжать Петерсон не может, так как весь класс разражается хохотом. Тоотс исподтишка грозит предателю кулаком и в душе клянется жестоко отомстить ему. Тоотса за его вранье ставят в угол до следующего урока.

Арно же больше всего удивился тому, что Тоотс, который так много читал и знал всякие истории про Кентукского Льва, не сумел написать такой простой буквы, как русское «ять». Потом Арно подумал: «А так безбожно врать все-таки нельзя. Тоотс этот, видно, большой озорник».

II

На перемене в классной комнате царила суматоха и беготня, как в потревоженном муравейнике. Все страшно спешили, все с визгом куда-то неслись, словно боялись опоздать.

Арно робко жался у стены. Он еще был здесь чужим, и от всей этой двигавшейся перед ним пестрой толпы у него кружилась голова. Он не встретил здесь ни одного знакомого, кроме Тээле с хутора Рая. Родители этой краснощекой, белокурой девчонки и родители Арно были почти соседи, потому-то Арно и знал ее. Он охотно подошел бы сейчас к ней поболтать, но решил, что это неудобно. Девочки держались все время вместе, будто овцы, и подойти к ним казалось Арно как-то неловко. Он прислонился к стене и продолжал наблюдать.

Вон там, медленно переминаясь с ноги на ногу, стоял какой-то толстощекий крепыш и ел. В одной руке у него был ломоть хлеба, в другой — кусок жирного мяса. Кто-то, проходя мимо, наступил ему на ногу. Но мальчуган и бровью не повел, только буркнул: «Ну и слепая курица!» — и продолжал жевать.

Другой, рыжеволосый, в смешных ботинках с пуговицами, был центром общего внимания — у него оказалась какая-то новомодная ручка. Он гордо шагал впереди, а за ним тянулась ватага ребят, и все его упрашивали:

— Ну покажи, Кийр, покажи!

Но Кийр любил поважничать, и мало кто удостаивался чести посмотреть его ручку.

Кучка ребят толпилась у печки. Какой-то мальчишка с лицом хорька и живыми глазками говорил, сопровождая свои слова весьма таинственными жестами:

— Возьми гусиное перо, обмакни в молоко, напиши на чистом листе бумаги свое имя, а потом проведи по бумаге горячим утюгом, вот тогда и увидишь.

Кто-то из ребят ответил:

— Ох, Кяэрик, тебя послушать, так страх берет.

Девочки вели себя гораздо тише. Сбившись в кружок, они о чем-то шептались и хихикали.

Но больше Арно наблюдать не удалось. Мимо него с грохотом промчался сначала один мальчуган, потом другой, и началась бешеная гонка: впереди бежал перепуганный насмерть Петерсон, а за ним по пятам с кровожадной гримасой гнался Тоотс. Сжав кулаки и угрожая беглецу, он то и дело выкрикивал на ходу: «Я тебе задам! Я тебе покажу! Будешь тогда ябедничать!» Петерсон, видя, что спасти его могут только быстрые ноги, несся на всех парах. И неистовый бег продолжался — по партам, через головы сидящих, мимо учительской кафедры, в спальню, по кроватям, подушкам, потом опять в класс, и тут круг начинался сызнова. Но долго ли, о смертный, хватит у тебя сил бежать, если за тобой гонится человек, с головы до ног охваченный жаждой мести! Это понял наконец и Петерсон; он остановился, тяжело дыша. Видимо, у него мелькнула какая-то новая спасительная мысль.

— Тоотс, я покупаю у тебя ножик. Брось, хватит! Ну! Слышишь, я покупаю у тебя ножик со штопором.

Прошло несколько минут, ярость Тоотса все остывала и остывала. Еще секунда — и недавние враги уже торговались не на жизнь, а на смерть из-за ножика со штопором. Тут прозвенел звонок, новый урок начался. Это был урок арифметики. Тоотс, прежде чем отправиться в угол, где ему еще полагалось стоять, успел сказать Арно:

— Все могу, только вот арифметика, будь она проклята, в голову не лезет.

Он был прав. Он обладал обширными познаниями, умел складывать и вычитать, умножать и делить, но при всем этом был у него один досадный недочет: он ничего не знал как следует. Решая задачу, он пускал в ход все четыре действия сразу, и потом они у него

так перепутывались, что все выходило шиворот-навыворот. Учитель в таких случаях говорил ему:

— У тебя, Тоотс, прямо каша какая-то получается.

Но вот к доске вызвали Арно. Тут была совсем другая картина. Он знал все, о чем его спрашивали. Возвращаясь на свое место, он даже чувствовал себя немного смущенным, что так хорошо отвечал. Ему стало вдруг жаль своего соседа Тоотса, который, несмотря на свои познания, не сумел решить задачу,— а ведь Арно считал это таким легким делом.

На следующих уроках и переменах никаких особых происшествий не было, если не считать того, что Тоотс успел порвать какой-то девчонке платье, поменяться с кем-то кошельком, разбить окно и развести во дворе школы костер. Присаживаясь у огня, он заявил, что то же самое делал Кентукский Лев, когда ему приходилось спасаться бегством от индейцев.

Все же Арно за это время удалось кое-что узнать о своих новых школьных товарищах. Так, жевавшего мясо толстяка, которому наступили на ногу, звали Тыниссоном. Мальчугана с заплаканным лицом и покрасневшими глазами, у которого одни ребята, смеясь, спрашивали: «Эй, паренек где твой отец?», на что другие тут же отвечали: «Хвост задрал, в лес удрал!» — мальчугана этого звали Визаком.

У рыжеволосого Кийра, обладателя новомодной ручки и ботинок на пуговицах, будто бы имелся дома удивительный музыкальный ящик: заведешь — и он сразу заговорит человечьим голосом и запоет, как птица.

А о малыше Матсе Рауде рассказывали, что в прошлом году он решил пешком отправиться в город в гости к тетке; взвалил себе на плечи котомку с едой и сказал:

— Ну, я пошел!

Шагая после уроков домой, Арно все еще думал обо всех этих вещах, таких для него новых и важных. По дороге он догнал Тээле. Сперва оба покраснели и долго шли рядом молча, но под конец разговорились.

III

Почему ты только сегодня пришел в школу? — начала Тээле. — Мы все уже с прошлой недели ходим.

— Я болел, не мог раньше.

Они помолчали, потом Тээле спросила:

— А что у тебя было? Скарлатина?

— Нет, не скарлатина. Голова болела и жар был. Мама сначала думала, что скарлатина, но никакой скарлатины не было.

— А скарлатина — страшная болезнь: кто ею заболеет, тому уж не выздороветь.

— Ну, иногда и выздоравливают. У нас батрак был, так тот выздоровел.

— Да ну? У вас батрак болел? А ты не боялся, что болезнь и к тебе пристанет?

— Нет. Мама сказала — пристанет, так пристанет, ничего не поделаешь. Не надо бояться, тогда ничего и не случится; а кто уж очень боится, к тому она и липнет.

— А лучше всего можжевеловым дымом комнату окурить, тогда ни за что не пристанет.

— Моя мама тоже так думает.

Потом они снова замолчали; ни один, ни другая не знали, о чем говорить. Кроме того, Арно очень боялся сказать невпопад что-нибудь такое, что Тээле не понравится. Наконец он спросил, решив, что в этом ничего плохого не будет:

— Ну, а как у тебя дела в школе?

— Очень хорошо. Только русский язык трудный.

— Русский язык? Разве русский язык такой уж трудный?

— По-моему, страшно трудный.

Такая откровенность поразила Арно. Сам он ни за какие блага не решился бы сказать Тээле, что ему что-нибудь трудно дается. Но сейчас, когда Тээле

первая заговорила так откровенно, его священным долгом было признаться, что и у него не все идет гладко. Он все думал, думал, какой бы предмет назвать для себя трудным, но, так и не зная, на чем остановиться, бухнул наугад:

— А у меня с арифметикой не ладится.

— Ну? Ты же сегодня так хорошо все знал.

— Да, но...

Арно понял, что об арифметике говорить не следовало, что вместо нее можно было назвать хотя бы тот же русский язык, но было уже поздно. Уже второй раз становилось ему сегодня совестно, что он так хорошо знает арифметику: первый раз перед Тоотсом, а сейчас вот здесь. Ему хотелось что-то сказать в свое оправдание, но он ничего не смог придумать и пробормотал только:

— А, да что там...

Но Тээле не дала себя сбить с толку. Эта девчонка с каждой минутой становилась все смелее, и когда она снова заговорила, голос ее звучал так уверенно, что Арно даже испугался — не рассердилась ли она.

— Конечно же, ты все хорошо знал,— повторила она.— Ты всегда все хорошо знаешь; все говорят, что ты умница.

— Кто говорит?..— спросил Арно таким тоном, словно пытался защитить себя от какой-то клеветы.

— Все говорят.

— Да ну, чего там...

Они снова чуть помолчали. Потом Тээле спросила:

— А правда, что твой отец хочет послать тебя в город учиться?

Арно прекрасно знал, что у отца есть такое намерение, но мальчик он был по натуре недоверчивый и не так-то легко делился своими мыслями. Во-первых, он боялся, что ребята станут его дразнить, во-вторых, думал, что если и не будут дразнить, то начнут приставать с расспросами, а в-третьих, Арно вообще был не очень-то разговорчив. Но на вопрос Тээле нужно было что-то ответить. И сказать надо было правду, потому что Тээле сама была с ним откровенна и

прямо призналась, что русский язык для нее страшно труден.

Итак, ему тоже следовало быть откровенным. Ведь с первым своим признанием он уже провалился; Тээле ничуть не поверила, что арифметика ему не дается. Теперь нужно было как-то исправить свою ошибку.

— Не знаю...— ответил он.— Если буду хорошо учиться, может, и пошлют меня в город.

— Пошлют, конечно. Чего тут еще говорить,— уверенным тоном заметила Тээле и через несколько минут задала ему новый вопрос:

— А скажи, кем бы ты хотел стать?

— Ой, не знаю...

— Как это — не знаешь? Раз ты поедешь в город учиться, ты же должен знать, кем потом будешь. Скажи, кем?

— Не знаю...

— Вот еще! Как это не знаешь? Ты просто не хочешь сказать. Ну скажи, тогда и я тебе скажу, кем я буду.

— Никем.

— Ишь ты какой! И что ты скрываешь, я ведь все равно узнаю! Не скажешь,— я у твоей матери спрошу.

Девчонка пристала как репей. Но и это не могло бы сломить упрямство Арно, если бы не ее заманчивое обещание: «Если скажешь, то и я тебе скажу, кем хочу быть». Теперь, кроме ее настойчивости, его подталкивало и собственное любопытство, и в конце концов он спросил:

— А если я тебе скажу, ты мне тоже скажешь?

— А то как же!

— Хорошо, тогда я скажу... Я хочу быть учителем.

Открыв свою сокровенную тайну, Арно покраснел до ушей. Он украдкой взглянул на Тээле — не смеется ли она, и, пытаясь побороть свое смущение, сейчас же сказал:

— А теперь говори, кем ты хочешь быть?

— Я-то? — хитро улыбнулась девочка, обнажая свои мелкие мышиные зубки.— Я так и останусь простой деревенской девушкой!

— Ой, врешь! — воскликнул Арно, и ему вдруг стало ясно, что девчонка водит его за нос.— Ты тоже поедешь в город учиться. Я знаю. Но скажи, кем ты хочешь стать. Ты же обещала.

— Никуда я не поеду. Так и останусь деревенской девушкой! Честное слово.

— Врешь!

— Нет, не вру. Зачем мне врать?

Как ни старался Арно выведать, кем она хочет быть, девчонка была как кремень — она так и не открыла своей тайны. И Арно понял, что девочки вообще страшно хитрые — чужую тайну ловко умеют выпытать, а сами ничего о себе не говорят. Но все-таки он надеялся, что со временем допытается у Тээле, кем она хочет быть.

Поговорив еще о том о сем, они условились, что по утрам тот, кто раньше выйдет на шоссейную дорогу, будет дожидаться другого, чтобы вместе идти в школу. Уговор этот очень обрадовал Арно, он считал себя вполне вознагражденным за то, что открыл Тээле свою тайну. Весь день у него было чудесное настроение, а вечером, ложась спать, он все еще думал о том, как утром будет поджидать Тээле на дороге. И при мысли об этом на душе у него становилось радостно.

IV

Прошла неделя. Каждое утро Арно и Тээле вместе шли в школу, после уроков тоже возвращались домой вместе. Друг без друга они никогда теперь в школу не ходили. Но затем произошло вот какое событие.

Однажды утром Тоотс, заметив, что Арно и Тээле опять явились в школу вместе, начал сновать по классу, словно ткацкий челнок, разнося поразительную новость. Давно всем известно, уверял он, что Арно с хутора Сааре обязательно женится когда-нибудь на раяской Тээле; оба богатеи, а богатый себе всегда богатую ищет. Услышав это, Тээле покраснела до ушей, убежала к девочкам и попыталась перевести разговор на другое. Арно же рассердился и пригрозил, что пожалуется учителю, но в глубине души радовался этим толкам. Тээле, несмотря на все свое лукавство, была славная девчонка, и Арно не мог себе не признаться, что однажды, когда они шли домой, у него мелькнула такая же мысль — когда-нибудь жениться на Тээле. Но упаси бог, разве можно было говорить об этом вслух! Одним из немногих, кто весьма равнодушно отнесся к тоотсовским новостям, был Тыниссон. Когда Тоотс обегал уже всех ребят и очередь дошла до Тыниссона, тот его оборвал:

— Чего мелешь!

На молитве, которая проводилась по утрам до начала уроков, «старички», как их потом стал называть учитель, старались держаться за спинами других. Вожаком их был, разумеется, опять-таки Тоотс. В то же утро, когда он распространял повсюду свою уже известную нам новость, он во время молитвы пытался внушить ребятам, что совсем некрасиво получается, когда христиане, молясь, опускаются на оба колена. Гораздо лучше делать так, как американские поселенцы,— они опускаются на одно лишь левое ко-

лено, согнув и выставив вперед правую ногу. Тогда, объяснил он, можно ухватиться обеими руками за рукоятку меча и — молись себе сколько влезет.

Когда ребята возразили ему, что не у всех же христиан есть мечи, Тоотс ответил:

— Но мечи ведь можно купить.

И все сошло бы гладко, и ребята до конца своей жизни верили бы, что единственно правильным способом молятся только американские поселенцы, если бы строгий взгляд кистера[1] не проник сквозь ряды молящихся и не вонзился прямо в Тоотса.

Дело кончилось тем, что изобретателя нового, усовершенствованного способа молитвы заставили молиться, стоя в углу. При этом кистер решил над ним поиздеваться.

— Послушай-ка, Тоотс,— сказал он.— Еще, наверно, не все видели, как ты учил других молиться, стань-ка сюда, в угол, и покажи! А вместо меча можешь взять кочергу.

И так он стоял там в живописной позе коленопреклоненного американского поселенца, опершись на кочергу, и молился.

«Вот тебе и Кентукский Лев»,— промелькнуло в голове у Арно. И он невольно вполголоса повторил свою мысль.

— Кентукский Лев.

Весь класс громко расхохотался, и с тех пор новая кличка пристала к Тоотсу, как смола. Выйдя из своего угла, он сперва немного дулся на Арно, но быстро с ним помирился, как только тот сказал, что у него есть дома какой-то необыкновенный обруч. Правда, когда Тоотс спросил, что это за обруч, Арно не смог ничего ответить: насчет обруча он просто соврал. Он помнил, как Петерсон покупал у Тоотса ножик, и теперь попытался спастись, прибегнув к такой же уловке. Тоотс вначале не проявил даже особого любопытства, он только велел Арно захватить с собой обруч в школу, и дело, казалось, было улажено.

---

[1] Кистер — помощник пастора в лютеранской церкви.

Но Арно ошибался, думая, что тем все и кончится и Тоотс забудет про обруч. Уходя из школы, Тоотс бросил ему страшную фразу:

— Смотри, Тали, не забудь обруч принести... Не то я сам насчет Тээле спланирую...

Если бы вдруг в реке закипела вода, Арно, наверно, не так испугался бы, как сейчас, услышав эти слова. В первую минуту он застыл на месте, глаза его широко раскрылись, руки беспомощно повисли. Потом он чуть было не заплакал. Ураганом помчался он вслед за Тоотсом и крикнул дрожащим голосом:

— Я принесу тебе обруч, принесу!

— То-то, смотри у меня, принеси,— ответил Тоотс.

Арно хотел еще что-то сказать, но Тоотс уже был далеко. Долго еще стоял Арно, задумчиво глядя вслед удалявшемуся Тоотсу. Потом повернулся и, грустный, поплелся домой. На сердце ему словно навалили тяжелый камень. Возвращаясь домой, он всегда бывал голоден как волк, а сейчас и думать не хотелось о еде. У ворот школы он в раздумье остановился.

Что такое сказал ему этот Тоотс?.. Спланирую... Насчет Тээле спланирую... Что это значит — спланирую? Арно был уверен, что за этими словами кроется нечто кошмарное, но что именно — он не знал. Может быть, «спланировать» — в конце концов то же самое, что «скальпировать»?

Он, Арно, которому бывало неприятно даже когда другие разговаривали с Тээле, теперь должен мириться с тем, чтобы ее скальп... нет, чтобы насчет нее спланировали! Это ужасно! Несчастный паренек стоял у ворот и ждал Тээле, чтобы по дороге рассказать ей, какая ее подстерегает опасность. Он хотел предостеречь Тээле от Тоотса, этого жуткого Кентукского Льва.

— Ты что, домой еще не идешь? — услышал он у себя за спиной.

Арно быстро обернулся. Это был Тыниссон. Он стоял в точно такой же позе, в какой Арно впервые его увидел,— с ломтем хлеба и куском мяса в руках, и жевал. Арно недоверчиво взглянул на него.

— Пойду,— отозвался он.— Только подожду еще.

— Кого ты ждешь?

Арно не знал, что ответить. Потом, решив — будь что будет, сказал:

— Я жду Тээле.

Он был почти уверен, что Тыниссон, услышав такой ответ, сразу засмеется. Любой из ребят на его месте поступил бы так. Но Арно ошибся. Тыниссон и не думал смеяться. Он только буркнул: «Ага!» — и собрался уходить. Арно был удивлен. Нет, этот Тыниссон совсем не такой, как другие мальчишки. Во-первых, хотя бы то, что он вечно ест и никогда не шалит, а во-вторых, гляди-ка, он и сейчас не рассмеялся. Вот он и ушел уже — идет себе медленно, большими шагами, совсем как взрослый. У Арно появилось странное чувство. Ему стало так грустно, что он не мог больше оставаться один; ему надо было с кем-нибудь поделиться мыслями, спросить совета — может, тогда сердце не ныло бы так сильно. Он еще раз посмотрел вслед Тыниссону и громко крикнул:

— Тыниссон!

Тот оглянулся и остановился. Арно подбежал к нему и, краснея, начал умоляющим тоном:

— Слушай, Тыниссон, если я тебе что-то скажу, ты никому не расскажешь?

— Не расскажу,— ответил Тыниссон, проглатывая последний кусок и вытирая жир с подбородка.

— Слушай, Тоотс пригрозил мне...

— Чем пригрозил?

— Что если я не принесу ему обруч, так он...

Арно запнулся. Он никак не мог найти нужные слова. На глаза невольно навернулись слезы. Наконец он овладел собой и продолжал дрожащим голосом:

— Я обещал Тоотсу принести обруч...

— Какой обруч?

— Да я и сам не знаю, какой. Я соврал ему, будто у меня дома есть такой замечательный обруч.

— Ну и что? Что ж из этого?

— Да, но если я не принесу обруч, так он... так он сам спланирует насчет Тээле.

Тыниссон ответил не сразу. Он был из тех людей, которые в трудных случаях жизни любят хорошенько

подумать, прежде чем ответить. Через несколько минут он сказал:

— Ах, Тоотс, значит?

— Ну да, Тоотс.

— Так это же просто тоотсовская болтовня. Ты его не слушай.

— А если он все-таки...

— Что все-таки?

— Ну, если он насчет Тээле спланирует?

— Да не спланирует он.

— Ты думаешь?

— Да.

— Ну вот, я тоже думаю, но мне просто захотелось тебя спросить. Ты хороший парень. А скажи, что это значит — «спланировать»?

— Спланировать?.. А ты разве не знаешь? Спланировать насчет девушки — это значит жениться на ней!

Арно словно ножом резнуло. Он и раньше боялся, что это загадочное слово имеет какой-то страшный смысл, но то, что он узнал сейчас, оказалось ужаснее всех его предчувствий.

— А как ты думаешь, Тыниссон, Тээле выйдет замуж за Тоотса? — спросил он.

— Нет, не выйдет.

— Почему ты так думаешь?

— Да зачем ей за него выходить, если они вечно в долгах. Мой отец вчера как раз говорил: доиграются эти Тоотсы из Заболотья до того, что и хутор с молотка пойдет.

— Что это значит — с молотка пойдет?

— А то значит, что возьмут их и посадят в тюрьму... пока долгов не уплатят.

— А если не уплатят, так и останутся в тюрьме?

— Ну конечно, останутся. Кто ж их раньше времени выпустит.

— А как это — если отец в долгах и уплатить не может, сына тоже сажают в тюрьму?

— Вот этого я точно не знаю... Только кто ж его на свободе оставит?

У Арно по всему телу пробежала радостная дрожь. Надежды его проснулись с новой силой. Он уже ясно

представлял себе, как Тоотсов ведут в тюрьму и держат их там; а он, Арно, потом женится на Тээле.

Когда они с Тыниссоном расставались, дружба их казалась твердой, как ячменная лепешка. На радостях Арно даже предложил Тыниссону свою старую коробку для грифелей, но тот ответил, как всегда, рассудительно, точно взрослый:

— Не надо! У меня своя есть.

Арно помчался домой, и его несла как будто не одна пара ног, а целых две — таким коротким казался ему путь. Проходя мимо кладбища, он увидел впереди, за поворотом дороги, быстро удалявшуюся фигурку девочки. Он во всю мочь пустился догонять ее. Услышав топот ног, Тээле оглянулась и остановилась. Арно же еще издали закричал:

— Тоотсы из Заболотья кругом в долгах! Их хутор скоро с молотка пойдет, а их самих в тюрьму посадят!

V

Вечером, засыпая, Арно продолжал думать о злополучном обруче. Даже во сне он видел обруч. Утром проснулся — опять вспомнил про обруч. План действий у него был такой. В том, что семью Тоотсов со всеми потрохами вскоре отправят в тюрьму, сомнений никаких не было. Но дело это могло и затянуться. А пока они еще на свободе, нужно с ними ладить. Поэтому надо раздобыть молодому Тоотсу обещанный обруч. И — подумать только! — паренек встает ни свет ни заря, бродит по грязному двору и ищет тот старый обруч от кадушки, который несколько дней назад валялся около амбара. Мальчишка вышел босиком; он натыкается на острый осколок бутылки, который, притаившись тут же, возле амбара, только и ждет, чтобы на него наступили босой ногой. Но мальчик не обращает на это внимания: ему нужен обруч! Забавно глядеть, как Арно в это утро отправляется в школу. Обычно он поджидает Тээле там, где проселочная дорога выходит к шоссе, но сегодня он удирает гораздо раньше, чем всегда. Он боится, как бы Тээле не увидела, что он несет обруч. В школу он приходит раньше всех и с замиранием сердца ждет Тоотса. Лишь когда тот наконец появляется, Арно вздыхает с облегчением.

Вид у Тоотса был такой же, как всегда: пальто нараспашку, шапка на затылке, в карманах полно всякой дребедени и индейского оружия. Арно побежал ему навстречу с обручем в руках. Но каков же был его испуг, когда Тоотс, взглядом знатока оценив обруч, сказал:

— Вот чудак! Это же обруч от кадки.

— Не знаю. Я думал, тебе такой и нужен,— робко возразил Арно.

— Не валяй дурака! Мало у меня таких обручей! Я думал, у тебя какой-нибудь особенный... металлический обруч, как у индейцев на луках.

Арно стоял перед Тоотсом, как перед судьей. Слово «металлический», которого он не понимал, еще больше усложняло дело. Пытаясь скрыть свое смущение, он спросил:

— А что это значит — «металлический»?

— Металлический? Вот чудак, не знает даже, что такое металлический! Ты не читал «В когтях у краснокожих»?

— Нет.

— Металлический — это значит сделанный из черного дерева. Такое дерево, что даже нож его не берет. Когда индейцы делают себе из него луки, они кладут его в форму, а вокруг жгут паклю. Понимаешь — обжигают: ножом не вырежешь.

Но раз Арно уже начал врать, то и спастись попробовал враньем. Он сделал вид, будто страшно изумлен.

— Да ну? А знаешь, кусок такого дерева у нас дома лежит на шкафу. Бабушка говорит, что это камень, но я теперь знаю — это и есть металл.

Глаза Кентукского Льва стали величиною с плошки.

— Правда?— Он схватил Арно за пуговицу и потянул ее к себе, словно это и был нужный ему металл.— Если ты мне принесешь тот кусок металла, что у вас на шкафу, я тебе дам вот это... смотри сюда!

И перед самым носом Арно появилась зловещая картинка, на которой был изображен краснокожий, убивающий какого-то бледнолицего мужчину. По правде говоря, Арно и даром не взял бы этой картинки, но сейчас он должен был ладить с Тоотсом.

— Ты мне ее дашь? — сказал он.— Ну, уж тогда я обязательно принесу. Но скажи, если я принесу, так ты Тээле...

Дьявольская улыбка, какая бывает только у индейцев, скользнула по лицу Кентукского Льва. Он вдруг понял, что Арно теперь весь в его власти, что он, Тоотс, сможет растоптать его в прах, если захочет, и, пытаясь подражать индейцам, с сатанинской усмешкой на губах произнес:

— Н-да. Ясно, если ты мне не принесешь металл — не видать тебе Тээле, как ушей своих.

— А если принесу?

— Ну, тогда... тогда еще посмотрим.

— Нет, ты скажи, что ты сделаешь, если я тебе принесу металл.

— Тогда катись ко всем чертям со своей Тээле, бледнолицая собака!

Прозвучал звонок, ребят позвали на молитву. Тээле посмотрела на Арно так, словно хотела спросить: «Почему ты не подождал меня сегодня утром?» Но Арно сейчас некогда было думать о таких вещах. Его мысли кружились только вокруг злополучного металла. Даже Тээле, казалось, представляла теперь в его глазах меньшую ценность, чем кусочек черного дерева, хотя кусочек этот был всего-навсего средством добиться той же Тээле.

Начался урок катехизиса, Арно пытался собраться с мыслями, чтобы не сбиться при ответе: он боялся кистера так же, как и другие. И все сошло бы гладко, если бы за несколько минут до конца урока кистеру не пришла в голову мысль задать ему вопрос.

— Ну так, а теперь, Тали,— сказал он,— как звали того мужа, который жил дольше всех, и до какого возраста он дожил?

— Металл,— звонко прозвучало в ответ.

— Как?

— Мет... Метузала[1].

— Вот именно — Метузала! А ты что там напутал?

— Ме... ме... — Арно покраснел до ушей. Хотя он и знал, что кроме него и Тоотса никто не догадывается, почему у него вырвалось это слово, ему стало ужасно стыдно.

— Ме-э... ме-э...— сердито передразнил его с кафедры кистер.— Чего ты мемекаешь — ты же не овца. Учиться надо лучше, а не мемекать! Ленив ты, как капустный червь. Тоотсу как раз под пару, хоть свяжи вас вместе да пусти по реке.

Для Арно это было уже слишком. Он все мог бы вынести, но такое издевательство в присутствии Тээле — нет, это было уже слишком! Он бессильно опустился на скамью, словно его по голове ударили. Учил-

[1] Мафусаил по-эстонски — Метузала. *(Прим. пер.)*

ся Арно совсем не плохо, но кистер был сегодня не в духе — вот ему и нужно было сорвать на ком-нибудь злость. Урок окончился, начался следующий, потом и он кончился — так и шли уроки один за другим, пока не настало время собираться домой. Арно все эти часы просидел за партой, ни с кем не обменявшись ни единым словом. Да и к чему! Ему казалось, что теперь все погибло. Что он теперь значит для Тээле, он, глупый мальчишка, которого выругали перед всем классом? После уроков, когда остальные ребята весело побежали домой, Арно один остался в классе. Он решил подождать, пока и Тээле уйдет, чтобы потом идти домой одному. Но дело обернулось по-другому. Вскоре в класс тихонько проскользнула Тээле и, на цыпочках подойдя к Арно, спросила:

— Ты разве не идешь?

Арно оторопел. Об этом он даже и мечтать не смел.

— Да, иду,— растерянно пробормотал он, вскочил, схватил под мышку узелок с книжками и вместе с Тээле вышел из школы.

Проходя через двор, они увидели, как Тоотс пытается насильно навязать Визаку тот самый обруч, который Арно утром принес в школу. Тоотс уже сбавил цену до крайнего предела — до одной копейки, но, несмотря на это, Визак все еще колебался, делая плаксивую мину. В конце концов Тоотс добавил от себя еще один «алмаз» — так он называл свои камешки,— и сделка состоялась.

— Что ты такое сказал кистеру вместо «Метузала», что он стал ругаться? — спросила по дороге Тээле.

— Кистер? — переспросил Арно.— Кистер этот просто Коротышка, его так все и называют — Юри-Коротышка!

— Почему?

— Не знаю. Должно быть, потому что он короткий, как обрубок.

— А что ты ему сказал? Мет... мет...

— Металл.

— Что такое металл?

— Откуда мне знать. Тоотс говорит, будто это черное дерево, из которого индейцы выжигают себе лук.

— Ой, Тоотс этот — прямо страшный человек. Только и знает своих индейцев.

— Конечно, страшный. Да еще такую чушь болтает...— Арно решил, что настал подходящий момент, когда можно укрепить свои позиции.— Да, такую чушь болтает, что прямо уши вянут.

— А что он сказал?

— Что он сказал... да сказал, будто хочет тебя в жены взять.

Тээле вся залилась румянцем. Вначале она не могла вымолвить ни слова, но потом, оправившись от смущения, стала, к великой радости Арно, вовсю поносить Тоотса.

— Ишь чего этот бес болтает! Вот возьму да расскажу кистеру, тогда увидит, как ему достанется.

— Да нет, жаловаться на него не стоит,— примирительно сказал Арно. Он боялся, что если Тээле пойдет жаловаться, Тоотс впутает в это дело и его.— Нет, жаловаться не стоит, это нехорошо. Мы ему и сами всыплем.

— Да кто с таким дикарем справится? — с сомнением в голосе спросила Тээле.

— Справимся. Если еще Тыниссон мне поможет — справимся наверняка.

— Ну, тогда конечно. А если Тоотс пойдет жаловаться и учитель спросит, за что вы его побили,— что ты тогда скажешь?

— Тогда...

— Да, то-то и оно...

С какого конца ни возьмись за это дело, все равно выходит одно и то же. Арно стало ясно, что Тоотс и в огне не сгорит, и в воде не утонет. Некоторое время они продолжали шагать молча, потом Арно начал снова:

— Скучно было утром идти одной?

— Скучно. Почему ты меня не подождал?

— Я... я думал, что ты больше не захочешь со мной ходить.

— Ну, почему же.

— Ты хочешь, чтобы я завтра утром ждал тебя?

— Хочу.

— А если бы вместо меня был Тоотс, ты ходила бы с ним вместе?

— Нет. С этим индейцем я бы и шагу вместе не сделала.

Этого было достаточно. Арно чуть не вскрикнул от радости. Он проводил Тээле до ворот ее двора и только отсюда повернул вдоль межи и пошел к себе. Хозяйка хутора Рая, которая как раз в это время была во дворе и видела его рыцарский поступок, сказала своим домашним:

— Какой славный паренек этот саареский Арно — провожает нашу Тээле до самых ворот.

VI

Звонарь паунвереской церкви был довольно странный человек. Вечно он что-нибудь продавал; если нечего было продавать, разыгрывал что-нибудь в лотерее; а когда и для лотереи ничего под рукой не оказывалось, он уходил в кабак, напивался и лез в драку. Один глаз ему во время драки уже выбили; другой, правда, был еще цел, но кое-кто говорил: «Долго ли он у Либле удержится, скоро вылетит и этот. Либле дай хоть сотню глаз, все равно через год ни одного не останется».

Сам Либле на такие насмешки отвечал коротко:

— Вы лучше помалкивайте, я ваших глаз себе взаймы не прошу. Смотрите, чтоб у самих рожи целы остались.

В воскресенье, через несколько дней после того, как Арно проводил Тээле до ворот ее двора, этот самый Либле устроил у себя великолепнейшую лотерею. В числе разыгрываемых вещей был даже пистолет.

Как известно, все заправские торгаши уже в воздухе ловят вести о том, где что продается и покупается; так было и с Тоотсом. Он тоже явился на лотерею. Купил он всего каких-нибудь два билетика, да и за те уплатил орехами, но именно он и выиграл пистолет. Впоследствии, уже после лотереи, рассказывали, что Тоотс вел себя там совсем как взрослый мужчина; он изрядно выпил, с важным видом закурил сигару, танцевал и орал: «Ю-ххей!» Но все это не столь важно. Вернемся в школу.

В понедельник утром слух о том, что Тоотс выиграл пистолет, распространился среди ребят, точно степной пожар. Когда Тоотс явился в школу, ему была устроена торжественная встреча. Он стал героем дня. Куда бы он ни шел, за ним тянулась огромная ватага мальчишек — всем не терпелось увидеть его замечательное оружие. Сам Тоотс тоже проникся сознанием

важности своей персоны; он держался подобающим образом и беспрестанно повторял:

— Да, ребята! Скоро вы меня больше не увидите. Стану я еще здесь торчать! Чего мне стоит — поеду и буду краснокожих щелкать!

И вполне естественно — да разве могло быть иначе! — такие речи еще больше поднимали его авторитет. Чтобы увековечить за собой славу героя, Тоотс пообещал после уроков дать из своего «громобоя» первый выстрел. Кому охота, может остаться посмотреть, кто не хочет — ступай с миром домой. Тоотс никого не принуждал оставаться. Он даже оказался настолько осторожен, что предупредил ребят, которые были потрусливее: выстрел из его «громобоя» оглушителен, как пушечный залп, и отдается на двадцать верст в окружности. У кого уши послабее, те могут оглохнуть, а если у кого они совсем слабые, у тех загноятся. И вот все с нетерпением стали дожидаться окончания уроков. Когда момент этот наконец наступил, никто и не подумал уйти домой: в классе не оказалось ни одного труса. Тоотс уселся на скамью посередине двора, вытащил из-за пазухи свой «громобой» и положил его около себя. А сам заорал:

— Смотрите мне, черти, чтоб не трогать! — Потом достал пороховницу (то был кусок газетной бумаги и в ней немного пороха) и положил тут же рядом.

Ребята следили за каждым его движением, затаив дыхание. Редко кто решался кашлянуть. А Тоотс продолжал священнодействовать. Он раскрыл свой большой складной нож, который называл обычно «томагавком», и взял его в зубы. Когда ребята спросили, зачем он это делает, он объяснил:

— Дурачье, и что вы только понимаете! В ту минуту, когда я заряжаю пистолет, на меня может сзади наскочить тысяча краснокожих. Томагавк всегда должен быть наготове.

Тыниссон, который в это время как раз собирался приступить к еде и уже поднес было ко рту ломоть хлеба, вдруг спросил:

— А кто же ты сам будешь — бледнолицый или краснокожий? То ты бледнолицый, то краснокожий.

Но Тоотс, не удостонв его ответом, бросил лишь в его сторону презрительный взгляд. Вместо Тоотса ответил трусишка Визак:

— Он — Кентукский Лев!

Это вызвало смех. Но смеялись недолго: ни место, ни время к тому не располагали.

— Чего ты мелешь, пучеглазый! — прикрикнул на Визака Тоотс.— Иди-ка лучше разыщи своего отца.

Визак расплакался, остальные засмеялись.

Но вот наступил самый страшный момент. Тоотс, все существо которого выражало сейчас презрение к смерти, взял в руки пистолет и стал ссыпать в дуло порох. Ребята потрусливее попятились, а те, кто остался подле Тоотса, вызвали своим бесстрашием общий восторг.

Когда порох был засыпан в дуло, туда вогнали пыж из бумаги. Потом насыпали дробь и снова заткнули дуло бумагой. Оставалось только вложить пистон и выпалить. Все стояли словно пригвожденные к месту и пялили глаза на Тоотса, стараясь не пропустить ни одного его движения. Но в самый напряженный момент из толпы вдруг вышел Тыниссон, застегнул пальто и собрался уходить домой.

— Чего ты дурака валяешь? — сказал он Тоотсу.— Еще глаза себе выбьешь.

— Уходи, коли трусишь,— ответил Тоотс.

— Чего мне трусить, ты же не трусишь. А начнешь тут стрелять — наверняка от кистера нахлобучку получишь.

— Х-ха, чудак, так я кистера твоего и испугался!

— Небось, испугаешься!

— Пусть только подойдет, возьму да наведу дуло прямо на него — увидишь, как он мелкой рысцой пустится.

— Чего ты хвастаешься! Ступай на болото, там и стреляй.

— Сам ступай на болото.

Тыниссон не сказал больше ни слова, только чуть ссутулился, как обычно делал это при ходьбе, и ушел.

— Готово! — объявил Тоотс, вставая со скамьи.

— Ой! — послышались в толпе испуганные возгласы.

Тоотс отмерил десять шагов вперед и остановился, держа оружие в вытянутой руке. Прошло еще какое-то мгновение, и, сделав страшное лицо, Тоотс воскликнул:

— Умри, собака!

Многие закрыли уши руками; вот-вот прогремит оглушительный выстрел.

Так стояли они, столпившись у ограды школьного двора, двадцать пять мальчишек (девочки все ушли домой); а немного подальше, у бани церковной мызы,— Тоотс со своим страшным оружием в руке и еще более страшным выражением лица.

Но выстрела не последовало. Он должен был последовать, но не последовал.

— Что такое? Не стреляет? — отважился наконец спросить кто-то из зрителей.

— Да нет, стреляет, отчего ему не стрелять,— ответил Тоотс, оборачиваясь к ребятам,— но черт его знает, пистолет этот не из тамассеровской[1] стали. Будь это тамассеровская сталь, так выстрелил бы, а этот, чего доброго, на куски разлетится.

— Трусишь.

— Нет, не трушу. Чего мне трусить!

И точно так же, как в свое время он придумал новый способ молитвы, он теперь изобрел новый способ стрельбы. Он привязал пистолет к березе, стоявшей под самым окном баньки, прицепил к курку длинную веревку, сам отошел к ребятам и потянул за веревку. Раздался выстрел. Стекло в окне бани со звоном разлетелось на куски. И вскоре в разбитом окне показался огромнейший кулак. Чей-то голос в бане завопил:

— Чертово отродье! Так и человека убить можно!

Ошеломленные ребята не успели еще прийти в себя от испуга, как перед ними предстал и сам обладатель кулака. Это был арендатор с церковной мызы. Бог знает, что он в это время делал в бане, но как раз в ту минуту, когда в окно грохнул заряд, арендатор оказался там. От злости лицо у него было красное, как пережженный кирпич, и даже издали можно было разглядеть на его лбу две вздувшиеся синие жилки.

[1] Т. е. дамасской.

— Ну, скажите на милость, вы, стадо поросят,— заорал он,— есть у вас хоть капля ума в голове? Одурели вы, что ли? Как вы думаете — а вдруг в меня попало бы? Говорите сейчас же, кто стрелял?

Перепуганные ребята посмотрели на Тоотса. Тот предпочитал держаться от арендатора на почтительном расстоянии.

— Ну да, так я и знал,— продолжал кричать рассвирепевший арендатор,— так я и знал! Кто же, как не Тоотс! Послушай ты, человече, ты, видно, так и родился болваном!

Тоотс отступил еще дальше.

— Я сначала думал, что пистолет из тамассеровской стали,— начал он оправдываться.

— Сам ты Тамассер. Я тебе этого самого Тамассера в... вобью!

Когда гнев арендатора стал уже утихать, на месте происшествия появилась новая личность, которая вновь занялась разбирательством дела, потерявшего было свою остроту. Это был кистер. Услышав выстрел, а затем и голоса во дворе, он вышел посмотреть, что здесь происходит.

— Что тут такое? — было его первым вопросом.

— Да так, ничего особенного,— ответил арендатор.— Мальчишка опять набедокурил. Я его уже пробрал как следует.

— Какой мальчишка? Что он сделал? Тут кто-то из них стрелял?

— Да вот, говорят... будто Тоотс стрелял. Да ничего, только вот окно в баньке разбили.

Убийственный взгляд пронзил несчастного Кентукского Льва. Кистер захрипел так, словно от злости проглотил жабу: в первую минуту он ничего не в состоянии был из себя выдавить, кроме: «Ух... ух...» — и потом только последовала вся фраза целиком: «Ух ты, дьявол!» Мальчики стали расходиться: кто должен был идти домой, ушел домой, а те, кто ночевал в школе, забрались в класс и сидели там тихо, как мышата. А на дворе в это время злым ураганом бушевал кистер, и Тоотс, стоявший перед ним подобно вековому дубу, потерял в тот день немало листьев и сучьев, ес-

ли только клочья волос можно сравнить с листьями и сучьями.

Под конец в мозгу кистера возник следующий серьезнейший вопрос: стоит ли вообще оставлять Тоотса в школе? Не лучше ли отправить его домой и никогда больше не пускать на порог?

Но на этот раз, благодаря заступничеству учителя, Тоотса все же оставили в школе.

Он, говорят, потом сам признался товарищам:

— Ох ты, черт, знал бы я, что кистер заявится, я бы лучше на болото пошел, как Тыниссон советовал.

VII

Арно, все время с увлечением следивший за всей этой кутерьмой, удрал домой, как только грянул гром,— то есть, когда появился кистер. Вначале Арно был доволен, что Тоотс так отчаянно расхваливает свое смертоносное оружие: значит, Тоотс занят сейчас невероятно важным и сложным делом, которое должно вытеснить у него из головы всякую мысль о металле.

Арно был твердо уверен, что теперь Тоотс оставит его в покое. Но потом, когда Тоотс, словно сам бог войны, восседал посреди двора и заряжал пистолет и все вокруг восхищались им, Арно решил, что все-таки было бы лучше, если бы Тоотс не обладал этим чудодейственным оружием: ведь благодаря ему Тоотс вызвал в школе общий восторг и уважение, и не только среди мальчишек, но и у девчонок; им восхищались и девочки — а ведь Тээле тоже была девочка! С какой легкостью могла она теперь изменить свое отношение к Тоотсу, снискавшему такой почет и славу.

Во всяком случае, Арно был очень рад, что его противника постигла столь плачевная участь, пришедшая на смену былому величию.

И все-таки на душе у Арно было не совсем спокойно. Домой он шел грустный. На глаза навертывались слезы — он и сам не знал, почему. Впервые в жизни он испытывал такую глубокую печаль. Раньше, когда его что-нибудь мучило, он обычно шел к матери, открывал ей свою душу, мать его утешала, и ему становилось легче. Но что он сейчас мог ей рассказать? Ведь не мог же он так, ни с того ни с сего, подойти к ней и без утайки открыть свое горе. Значит, надо было просто соврать. И слова утешения, которые мать сказала бы в ответ на эту ложь, никак не могли бы ему помочь. Тот, кто ищет утешения, обязан честно пове-

дать о подлииной причине своей грусти. Иначе и ие может быть. И Арио решил молчать и переживать все один.

Свериув с дороги, ои очутился в березовой роще, иачииавшейся у самой тропиики и простиравшейся почти до хутора Рая. Здесь ои присел иа березовый пеиь и углубился в свои мысли.

Но иедаром говорится: чем беда горше, тем помощь ближе. По шоссейной дороге шел, приближаясь к Арио, Кристьяи Libле, звоиарь пауивереской церкви. Ои уже «иагрузился, как бомба» — так ои сам любил о себе говорить,— н сейчас, пошатываясь иа своих ослабевших иогах, беспрерывио сражался с иевидимыми врагамн. Каждое деревце, каждый кустик он прииимал за каких-то разбойииков и бéз устали угрожал им:

— Погоди ты, дьявол, я тебе иос в лепешку расквашу!

Или же:

— Уж я тебе покажу!

Поравиявшись с Арио, звоиарь увидел, что тот сидит иа пие, и с громким криком побежал прямо иа него.

— Ах, это ты тут, головорез! Теперь дии твои сочтеиы!

Но Арио продолжал спокойио сидеть. Он давно привык к Либле и зиал, что иа самом деле тот вовсе ие такой уж грозиый. И действительио, Либле вскоре поиял, что перед иим ие разбойиик, за которым иужно гиаться, а всего-иавсего Арио, и заговорил, беспрерывио икая:

— Ик... да-а, так это же... это же молодой хозяии Сааре. Ну да, глядит, все ли в порядке в лесу, да и вообще, икк...

— Нет, я шел из школы,— ответил Арно.

— А, из школы? Ну а что, Юри-Коротышка опять сегодия рычал, икк?

— Рычал, коиечно, как всегда.

— Ну да, куда ж ои деиется. Как иачал орать, даже в трактире слышио было, икк. Яаи Карпа мне и говорит — иди, говорит, иабей иа него обруч, не

то он, дрянь этакая, еще лопнет со злости... икк, ик, икк.

Речь звонаря забавляла Арно.

— А ведь не лопнул же,— сказал он.

И Кристьян Либле, этот тридцатишестилетний полуэстонец, полулатыш, продолжал, сопровождая слова икотой и отрыжкой:

— Ну а как же... ик... еще немного — и лопнул бы.

— Ой нет, такой не лопнет,— отозвался Арно.

— Да пожалуй, икк, так легко и не лопнет, у него, скотины, шкура толстая. Моя мать-покойница всегда бывало говорит — из такой шкуры бы веревки для коромысла вить, они бы до самого светопреставления целы были, ик!

Плохое настроение Арно быстро улетучивалось. При всей своей любви к чарочке и неукротимой страсти к торгашеству Либле был большой шутник. С ним только надо было уметь обойтись по-хорошему. Того, кто его не изводил и старался с ним ладить, Либле умел рассмешить чуть ли не до колик в животе. Водки он ни у кого не клянчил, а покупал ее обычно на свои деньги. Когда денег у него не оказывалось, он брал в долг, а когда и в долг больше не давали, закладывал трактирщику свою одежду и готов был идти домой чуть ли не нагишом.

Арно и звонарь долго еще сидели и болтали «всухую», как выражался опять-таки сам Либле. Потом он вытащил из кармана бутылку водки, отхлебнул из нее и сказал:

— Приходится иной раз смазывать, не то загорится. Ведь рот у человека — то же самое, что машина.

Он протянул бутылку Арно, предлагая и ему хлебнуть. Арно сначала противился, но звонарь пристал к нему, как банный лист, и тогда паренек решил про себя: «Ну что ж, попробую!»

И попробовал. Водка была ужасно горькая. Когда он выпил, ему показалось, будто он глотнул огня. Но, боясь обнаружить свою слабость, он стерпел скверное ощущение и даже не сплюнул. Звонарю такая отвага понравилась. Он принялся расхваливать мальчугана

и, сунув себе в рот самокрутку, сделал точно такую же и для Арно. Мальчик и на этот раз стал отказываться, но под конец взял ее. Так они и сидели вдвоем в березовой роще — старый и малый, пили водку и курили. Арно отхлебнул из бутылки еще несколько раз. А когда первая цигарка была выкурена, свернули вторую — словом, дела шли совсем как у взрослого. Через полчаса оба заснули. А вокруг шумела березовая роща, убаюкивая их колыбельной песней.

VIII

Когда на хуторе Сааре увидели, что время идет, а сыночек все не возвращается, хозяйка, мать Арно, забеспокоилась.

— Где он, негодный, может быть? — сказала она своему мужу, отцу Арно.

— А, да где ему быть, верно, в школе ночевать остался,— ответил тот.

— Чего ради он там останется, у него и еды с собой нет. Может, с ним по дороге домой что-нибудь стряслось?

— Что там могло стрястись... подожди, придет.

Но Арно все не было, и мать решила пойти на хутор Рая, узнать, вернулась ли Тээле. Тээле оказалась уже дома. Когда ее стали спрашивать об Арно, она ответила, что, уходя из школы, видела его — он стоял во дворе вместе с другими мальчиками. Больше она ничего не знала. Потом она, правда, добавила, что, как ей кажется, мальчишки сегодня затеяли что-то необычное; они все шушукались между собой во дворе и что-то старательно рассматривали. Хотя Тээле и прошла совсем близко от них, ей так и не удалось подсмотреть, что они там такое замышляют. Мать Арно вернулась домой и стала снова ждать. Но разве может успокоиться сердце матери, если уж она начала тревожиться о своем ребенке! Не находила себе покоя и хозяйка хутора Сааре; она решила пойти в школу и расспросить о сыне. Ребята, ночевавшие в школе, сказали ей, что Арно давно ушел; больше никто ничего не знал. Визак высказал предположение, что Арно мог попасть в лапы к Дурачку-Марту. Говорят, Дурачок-Март в последнее время часто бродит по окрестностям. Услышав это, мать Арно еще больше встревожилась.

Дурачок-Март был огромного роста мужик, крепкий, как бревно; вечно он что-то болтал о машинах и

винтиках, а однажды, говорят, действительно погнался за какой-то школьницей, возвращавшейся домой. Ей, правда, удалось убежать, но потом она от испуга заболела. Поэтому дети боялись, возвращаясь домой, встретиться с ним, и когда на дороге показывался какой-нибудь высокий мужчина, они уже издали всматривались, не Март ли это.

Мать Арно заторопилась домой. По дороге она все повторяла про себя:

— Куда ж он все-таки девался, глупое дитя? Куда же он девался?

Батрак, подумав, тоже решил, что дело неладно.

— Поди знай,— сказал он наконец,— может, и впрямь Дурачок-Март, скотина этакая, напугал парня, а тот с перепугу удрал бог знает куда. Может, в Паписское болото забрел да там и заблудился.

Батрак очень дружил с Арно. Он знал тьму всяких историй о привидениях и домовых, и когда они вдвоем с Арно уходили в ночное, разговорам их не было ни конца ни края. Засыпали они только на рассвете у гаснущего костра. Арно всегда брал с собой большой отцовский тулуп, и если становилось холодно, батрак укутывал его в тулуп по самый нос. Когда они укладывались спать, полы тулупа подворачивали Арно под бока, одну на другую, и мальчик сразу становился похож на тюленя. Поэтому перед сном они и говорили: «А сейчас давай играть в тюленей!» Батрак был озабочен исчезновением своего юного друга не меньше, чем его родители. От волнения парень так ожесточенно сосал свою коротенькую трубку, что она прямо пищала; он не мог даже спокойно стоять на месте. Он посоветовал хозяевам сейчас же взяться за поиски Арно. И вот начались поиски. Сначала мальчика искали невдалеке от дома, затем все дальше и дальше, расширяя круг. Звали, аукали, в березовой роще откликалось эхо, но никто не отзывался... Стемнело, стал накрапывать мелкий дождик. Волей-неволей пришлось прекратить поиски. Мать Арно заплакала. Но батрак, уже собиравшийся вслед за другими вернуться домой, вдруг заметил приближавшуюся к ним фигуру. То был Дурачок-Март. Батрак подобрался к нему сзади и набросился на него с криком:

— Говори, сатана, куда ты мальчишку загнал?

— Какого мальчишку? Не знаю я никакого мальчишки.

— Врешь.

— Нет, не вру.

Дело дошло до того, что батрак ударил Марта. Но Март, хоть и был ростом с Голиафа и отличался огромной силой, не любил ввязываться в драку. Так и сегодня: он только провел рукой по ушибленному месту, вытер глаза и заявил, что лучшее средство против опухоли — это вареная простокваша.

Тогда хозяйка попыталась подкупить Марта. Она обещала отдать ему старый пиджак и брюки хозяина, пусть только скажет правду. Но и это не помогло. Март твердил одно и то же — ничего он не знает.

— Тебя сам черт не поймет,— выругался наконец батрак.— Может, ты и впрямь не знаешь. Но тогда пойдем с нами, помоги искать. Пройдемся еще разок вон там, по березняку. Ты иди со стороны Рая, а я зайду со стороны болота. Когда пойдешь, аукай.

— Не пойду,— заупрямился Март.

— Ого-го! Не пойдешь?

— Не пойду.

— Почему?

— Не пойду.

— Пойдем, Март, я тоже пойду со стороны дороги, тогда мы и сделаем круг,— вмешался в разговор хозяин. Но Март стоял на своем.

— Идите сами ищите, а я не пойду.

У батрака лопнуло терпение, и он прикрикнул на Марта:

— Смотри, заработаешь еще раз! У тебя совесть нечиста, не то пошел бы. Говори, куда загнал мальчика!

— Никуда я его не загонял.

— Но ты сегодня его видел?

— Не видал.

— Врешь!

— Нет, не вру. Не верите — так возьмите два стебелька полевицы, обмакните в ручей и сожгите, а золу снесите в канаву у дороги. Как подползет змея, так

сразу и издохнет. Да, да, правда. Новые плуги то же самое...

— Брось чепуху молоть!

— Не пойду я, в лесу разбойники.

— Чего ты болтаешь!

— Ей-богу, правда. Шел я через березняк и вдруг вижу — трое или четверо там спят, только храп стоит. У одного огромный нож за поясом...

— Чего ты мелешь!

— Пойдите посмотрите.

Хозяйка перепугалась.

— Не верьте вы его болтовне,— сказал хозяин.— Иди покажи нам, где там разбойники.

— Вы туда с голыми руками не ходите,— предупредил Март.— Будь у вас такая машинка, что пули выбрасывает, когда ее за рукоятку крутишь, тогда бы можно идти. Возьмите с собой эту машинку и идите. Держитесь края болота, поближе к дороге, там сами увидите.

Но у батрака окончательно истощилось терпение.

— Не буду я больше твою болтовню слушать,— сказал он.— Погоди, Март, вот посадим тебя завтра в кутузку, тогда увидишь. Идем, хозяин!

Хозяйка пошла вместе с ними, тихонько утирая слезы передником, а поодаль от них крался Март.

Он все время бормотал одно и то же:

— Да, вот бы такую машинку, с маховиком в восемьдесят футов поперек...

Временами в голове у него прояснялось, и тогда он был человек как человек, но потом мысли его снова начинали путаться, он принимался что-то вычислять насчет машин и попадал, что называется, в болотную трясину.

* * *

— Ай-ай-ай, ты что же, сынок, никак пить начал? — говорила мать, ведя Арно домой.

— А ты Кристьян, тоже думай, кому водку давать, кому нет,— заметил хозяин, обращаясь к Либле.

— Ну, ну, что ж тут такого? Вздремнули немножко и дело с концом,— отвечал Либле, все еще пьяный.

Шествие их выглядело довольно забавно: впереди,

шатаясь и все время жалуясь на тошноту, шагал Арно, рядом, обняв сына за плечи, шла мать, за ними хозяин и батрак, с фонарями в руках; замыкал шествие Либле, не на жизнь, а на смерть сражаясь с камнями и пнями.

Шагах в двадцати позади всех понуро плелся Март.

Вернувшись домой, они застали у себя гостей. Тревожный слух об исчезновении Арно успел за это время дойти до хутора Рая, и хозяйка вместе с Тээле пришли узнать, что же в самом деле случилось.

Когда Арно, сопровождаемый матерью, показался в дверях, Тээле испуганно вскрикнула:

— Глядите, какой он бледный!

Мать Тээле тоже воскликнула:

— Ох, боже мой, что с ним такое?

— Ах, да ничего особенного,— ответила мать Арно; но отец, в эту минуту вошедший в комнату, услышал их разговор и сказал:

— Да просто пьян, чего тут еще. Мальчишка напился. Были вдвоем с Либле в лесу, выпили водки и заснули.

В это время вместе с Мартом в дверь ввалился Либле. Ответ хозяина ему совсем не понравился.

— Ну вот еще! — пробормотал он.— Раздуваете теперь это дело, точно бог весть что стряслось,— солнце, что ли, в обратную сторону, завертелось. Ух вы!

— Нечего ухать, Кристьян! Тебя, безобразника, надо бы прежде всего отдубасить,— заметил батрак, вешая фонарь на крюк.

Арно сразу же уложили в постель. Когда он уже лежал под одеялом, к нему в комнату вошли Тээле и ее мать. Тээле, подойдя к кровати, спросила шепотом:

— Арно, что с тобой?

Арно хотелось бы приподняться с легкостью пушинки, но все тело его настолько ослабело, что он не смог и двинуться. Его побелевшие губы прошептали:

— Болен я.

Поодаль от кровати у стола сидели и беседовали между собой хозяйки. Словно сквозь дремоту слышал Арно, как мать его нараспев рассказывала соседке всю эту злополучную историю.

— Ох ты господи, и лежат они оба в березняке...

В первой комнате ужинали. Либле, видимо, тоже сидел за столом — слышно было, как он с набитым ртом без устали о чем-то болтает, не давая остальным и слово вставить.

— Это еще что! А вот когда я был молодой, так бывало такая темень, что и пальца своего не увидишь...

Потом Арио услышал, как Март, чмокая губами, тоже что-то сказал. Что именно, Арно так и не понял; но ему послышались такие слова, как пар, рычаг, шестерия и тому подобное.

— Ты водку пил? — спросила Тээле.

— Да... иемиожко.

— Горькая оиа была?

— Да, очень.

— Зачем же ты ее пил?

— Либле угощал.

— Пусть угощает, а ты не пей.

— А я больше и не буду. Только ты в школе никому ие рассказывай, что я пил. А то засмеют еще.

— Да иет, ие скажу, зачем мне говорить. Ты завтра пойдешь в школу?

— Пойду... коиечно... если выздоровею.

Арно и сам, конечно, понимал, что слово «выздоровею» здесь совсем неуместио, что о выздоровлении могут говорить только действительно больные люди, но сказать иначе ои ии за что не решился бы. Несмотря на тошноту и головную боль, ему было стыдно перед Тээле.

— Ты не сердишься на меня, что я водку пил?

— Чего же мие сердиться?

— Ну, я думал... может, ты сердишься.

— Нет, ие сержусь.

Потом замолчали. Когда раяские собрались уходить, Арно вытащил из-под одеяла руку и попрощался с иими.

— Выздоравливай и будь умницей,— сказала, уходя, хозяйка хутора Рая.

Арно эти слова будто острым ножом резнули. «Будь умницей!» Смышлеиый мальчуган сделал из этих слов довольно правильиый вывод. Оии означали: «Выздоравливай да смотри больше не пей». Но упрек этот оказался далеко не последним.

IX

История с Йоозепом Тоотсом кончилась тем, что его все же оставили в школе, но с условием, что он бросит свои проказы, сколько бы их у него ни было в запасе, и будет вести себя по-человечески. Тоотс обещал сделать все, что будет в его силах. На другой день в школе он не смог как следует сидеть на парте. Он вертелся и извивался, словно червяк на крючке, и, когда товарищи стали его расспрашивать, в чем дело, он сказал им, что на заду у него вскочил здоровенный чирей. Но тут нашлись злые языки — кое-кто готов был даже поклясться, положив руку на индейский лук, что чирей этот не что иное, как узоры, которыми старик Тоотс разукрасил зад своего сына. Как бы там ни было, Тоотс, возможно, чуть пострадал физически, зато выиграл морально. На уроках он теперь сидел молчаливый, как пень, и задачи делал гораздо лучше, чем раньше. Все были поражены. Поведение Тоотса оставалось безупречным уже второй день, и может быть, так продолжалось бы и до самой его смерти, не вмешайся тут сама судьба. Но она вмешалась, и не в пользу Тоотса.

Однажды утром, когда ребята, ночевавшие в школе, проснулись, рыжеволосый Кийр вдруг обнаружил, что с его замечательными ботинками на пуговичках за ночь произошли существенные изменения: на них не осталось ни одной пуговицы.

Что было делать? Тоотс, первым подоспевший к месту происшествия, посоветовал перевязать ботинки бечевкой и как-нибудь обойтись без пуговиц; во всяком случае, сказал он, реветь нечего и идти жаловаться незачем. Визак, порывшись у себя в карманах, нашел несколько оловянных пуговиц от кальсон и посоветовал Кийру пришить к ботинкам эти пуговицы, пока других нет. Лимаск, сын льноторговца, вытащил

у себя из-под изголовья пучок льна и предложил сплести веревку, если Кийру понадобится.

Однако рыжий Кийр, тщательно взвесив все три предложения, пришел к выводу, что ни одно из них не подходит. А уж если человек потерял всякую надежду, так скажите на милость, что ему еще может помочь?

И Кийр решил облегчить свои муки горькими слезами.

Как ни старались товарищи его утешить, причем Тоотс действовал на этом поприще особенно рьяно,— все было напрасно. Если бы слезы обладали способностью превращаться в пуговицы, потерпевшему хватило бы этих пуговиц на целые десять пар ботинок, но вся беда в том, что плакал-то он слезами, а не пуговицами.

Все столпились вокруг Кийра. Он сидел в спальне на своей кровати, держа в руках ботинки, и ждал кистера, который с минуту на минуту должен был прийти на утреннюю молитву.

Кистер появился. Тогда наш рыжеголовый мужичок в одних чулках зашагал в классную и, глядя на кистера глазами, полными слез, всхлипывая пробормотал:

— Пуговицы пропали.

— Какие пуговицы?

— Пуговицы от ботинок. Вчера вечером еще были, Визак их тоже видел, а сегодня хочу обуться, смотрю — ни одной нет.

— Что это значит?

Словно божья гроза, упал на толпу ребят гневный взгляд кистера.

Воцарилась мертвая тишина.

Наконец неловкое молчание прервал голос Тоотса:

— Может, крысы унесли. Крысы любят блестящие вещи. Дома у нас они однажды сечку унесли, так ее потом и не нашли.

Взгляд кистера устремился на говорившего.

— Ну, если ее не нашли, откуда же вы могли знать, что именно крысы унесли вашу сечку?

— А кто же другой мог унести?

— Сечку?

— Ну да, сечку.

— Послушай, крысы ведь сечку и с места сдвинуть не могут, не то что унести. Что ты врешь!

— Их, верно, было несколько штук.

— Ну тебя с твоими баснями! Это какая-нибудь двуногая крыса унесла вашу сечку, такая же, как та, что сожрала пуговицы Кийра.

— Не знаю,— пожимая плечами, сказал Тоотс.

— А я знаю,— ответил кистер.— Кийр, поди принеси свои ботинки!

Кийр пошел и принес. Кистер с видом знатока осмотрел их.

— Где они у тебя стояли?

— Под кроватью.

— Так. А когда ты их утром стал надевать, они оказались там же? Вспомни хорошенько.

— Даа... дааа... Но поближе к изголовью, больше из-под кровати высовывались.

— Ага! А кто спит головой к твоему изголовью?

— Визак,— ответил Тоотс.

Кистер испытующе взглянул на него. Но ни лицо, ни поведение Тоотса не вызывали никаких подозрений.

— Визак... А еще кто?

— Визак, потом Кярд, а дальше Тоотс.

— Да, да, именно потом я,— кашлянув, подтвердил Тоотс.

— Так. А ты не слышал, чтобы ночью кто-нибудь ходил около твоей постели?

— Нет.

— А когда ты утром встал, тебя никто ни о чем не расспрашивал?

— Нет, никто.

— Кто первый спросил, что с тобой, или что-нибудь в этом роде?

— Никто не спрашивал.

— Ну, а кто первым подошел к твоей кровати, когда ты сказал, что у тебя пуговицы пропали?

— Тоотс.

— Так. Что же он тебе сказал?

— Он сказал, чтоб я попробовал как-нибудь обойтись без них и чтоб я не ревел и не ходил жаловаться.

— Тоотс, ты ему говорил это?

— Да, говорил. Я сказал — стоит ли из-за каждого пустяка реветь.

— А ты не говорил Кийру, что не стоит ходить жаловаться?

— Да-да, это я тоже говорил.

— Почему ты это ему говорил?

— Да просто так... я думал — нехорошо, когда ходят жаловаться.

— Так, так! Ты, значит, считал, что это нехорошо, когда ходят жаловаться.

Кистер бывал очень крут, когда все казалось ясным и известно было, кто виновник. Но тут он имел дело с явно запутанным случаем, тут надо было разобраться с полным хладнокровием, поэтому вначале он старался быть весьма сдержанным. Отложив в сторону молитвенник, он протер свои очки и, обращаясь к мальчикам, сказал:

— Ну-ка, идемте в спальню!

Мальчишки отправились за ним. Одним из первых наполеоновской поступью шествовал Тоотс, он же Кентукский Лев.

— Скажи-ка, Тоотс,— спросил кистер,— с каких это пор ты спишь здесь и домой не ходишь?

— Я-то... я сегодня тут первый раз ночевал. Вчера только кровать притащили.

— Ага! А отчего ты стал здесь ночевать?

— Не хочу домой ходить. Далеко очень.

— Да, он остался здесь и весь вечер одежей швырялся, не давал нам спать,— пожаловался Визак.

— Ты слышишь, что Визак говорит? Ты целый вечер швырялся одеждой и не давал другим спать. Ты остался здесь, чтобы проказничать?

И кистер окинул Тоотса убийственным взглядом.

— Визак врет. Он сам срезал пуговицы, а теперь все на меня валит. Его кровать ближе всех к Кийру.

Тут Визак не вытерпел. Он разревелся и заявил, что пойдет домой и пожалуется матери на Тоотса, который назвал его вором. Но кистер схватил мальчика за полу и велел ему стоять на месте.

— Тоотс, как ты смеешь говорить, что Визак украл? Как ты смеешь называть его вором?

— А кто же другой мог взять? Он и взял. С чего же его мать живет, если не...

— Молчать! Ступай к печке и стой там. Попробуй сказать хоть слово, пока тебя не спросят. Бесстыдник этакий! Где ты слышал такую чепуху?

— Да все об этом говорят.

— Молчать!

Подозрение кистера падало теперь на вполне определенную личность, но так как одного подозрения недостаточно, чтобы выгнать кого-либо из школы, то он решил продолжить расследование.

— Кто из вас вчера уснул последним?

— Я уже спал, когда Тоотс швырнул мне сапогом в спину. От боли я и проснулся,— ответил Визак.

— Враньё! — послышалось из-за печки.

— Молчать, Тоотс, или я сейчас же прогоню тебя домой! Ну хорошо, значит, ты уже спал, когда он в тебя бросил сапогом. А после этого ты сразу уснул?

— Да.

— Расплакался сначала, а потом уснул?

— Да.

— Я тоже уже спал, когда Тоотс крикнул, что на дворе пожар,— сказал Кярд.— Я еще подошел к окну посмотреть, но там ничего не было. Тогда Тоотс у себя в постели засмеялся и воздух испортил — я чуть не задохнулся.

— Кярд врет. Я уже спал и храпел, а он еще посвистывал,— снова послышалось из-за печки.

— Молчать! Допустим, что так. Но раз ты уже спал и храпел, как же ты мог слышать, что он свистит?

— Сквозь сон.

— Ага, вот как, сквозь сон!

— Глядите, пуговицы! — взвизгнул в этот момент кто-то из мальчишек. Все оглянулись, даже Тоотс отошел от печки. Действительно, возле стены под окном чернела маленькая круглая пуговичка. Кийр сразу же узнал в ней одну из своих пуговиц. Начались поиски под кроватями. Около окна нашли еще одну пуговицу, а когда кто-то из ребят нечаянно наступил в углу на прогнившую доску и она чуть отодвинулась, под ней оказалась целая горка пуговиц.

Кража была налицо, но вор еще не был пойман. Во всяком случае, над Тоотсом продолжало тяготеть тяжкое обвинение.

Попадись кистеру хоть какой-нибудь мельчайший факт, подтверждающий его подозрение,— Тоотс кубарем вылетел бы из школы. Но такого факта не нашлось, и Тоотса оставили в школе. Сам Тоотс впоследствии убеждал мальчишек:

— Ну, разве я не говорил, что это крысы! Неужто человек пойдет красть эти дурацкие пуговицы!

Когда ребята возразили ему, что крыса ведь не может оторвать пуговицу с ботинка, он тут же объяснил: крыса прижимает лапкой ботинок, а потом отрывает пуговицу.

Но сколько он ни старался всех убедить, ребята продолжали на него смотреть такими глазами, словно хотели сказать: «А все-таки ты сам украл пуговицы».

Тоотс хорошо это понимал и, видимо, чувствовал себя довольно неловко.

Итак, эта история закончилась благополучно, кистер даже разрешил Кийру пришить пуговицы к ботинкам у себя в комнате, и Кийр, обуваясь, заметил:

— Прямо как новенькие!

Но, видно, сегодняшний день был роковым — после уроков произошло еще одно событие.

Тынисону когда-то довелось прочесть всего одну-единственную книжку о борьбе древних эстонцев за свою свободу и о последовавших затем годах рабства, но чтение этой книги так на него повлияло, что он стал непримиримым врагом немцев.

На церковной мызе тоже была школа. Там учились сынки пастора и окрестных помещиков, обучал их какой-то иностранец.

И вот как раз в тот момент, когда ученики приходской школы, собираясь домой, проходили через двор, сюда явились юные барчуки с церковной мызы. В зубах у них торчали трубки, в руках были хлысты для верховой езды. Один бог знает, что привело сюда молодых господ, но они оказались тут. Впоследствии Тынисон решил, что они направлялись к речке, чтобы покататься на плоту. Когда они приблизились к приходским школьникам, один из барчуков сказал:

— Гляди-ка, мужичье по домам собралось.

Тыиссои, и так уже иенавндевшнй немцев, ие мог этого стерпеть. Он схватнл камеиь и, прежде чем кто-либо успел опомниться, запустил им в обидчнка. Послышался удар, нз трубки посыпались искры н пепел, а сама трубка отлетела далеко в сторону. Молодой барчук высоко взмахиул в воздухе хлыстом и бросился на Тыннссона, ио тот, не двннувшнсь с места, схватил еще один камень н крикиул:

— Ну-ка, сунься!

Барчук остановнлся. В глазах его противиика было сейчас столько решимости, что ои невольио нспугался.

— Я изобью тебя, как собаку! — крнкнул иемец.

— Попробуй только, сунься! — ответил Тыниссои.

Противнники стояли иекоторое время лнцом к лицу и молча мерили друг друга глазамн. Но когда «Германня» убедилась, что «Эстляндня» готова на все, она остаиовнлась на полпутн и отошла обратио в свой лагерь. Там началось обсужденне плана общей атакн с хлыстами. Почти все высказывалнсь за нее, только сыиовья пастора были против. Накоиец и оии были вынуждеиы уступить большинству. Трубки свои, которые им теперь только мешали, барчуки выиули нзо рта и, выколотив о каблук, суиули в кармаиы. Потом взмахиули в воздухе хлыстами, словио желая испробовать их прочиость.

Теперь пора было и эстоискому лагерю готовиться к бою. Первым иапомиил об этом свонм друзьям Тоотс. Ои жалел, что оставил дома свой «промобой»: будь это оружие сейчас при ием, ои мог бы уложить всех врагов до едииого. Чтобы как-иибудь помочь делу, Тоотс побежал в классиую, пообещав накалнть там докрасиа кочергу и щипцы: нмн потом можио будет жечь иаступающих противииков. Самые смелые и крепкие ребята, такие, как Кярд, Туулик, Кезамаа, сгрудились вокруг Тыиссоиа и глядели иа иего в ожидаини команды. Тот стоял, возвышаясь средн иих словио камеиное изваяиие, и смотрел в стороиу неприятельского лагеря. Все остальные немного струснли и мыслеиио уже прикидывали, куда бы им скрыться в случае беды, ио Тынисcон был далек от такой мысли.

Он думал лишь об одном: пусть только нападут, уж я им покажу.

И они напали. Напали раньше, чем Тоотс успел вернуться со своей раскаленной кочергой и щипцами и занять место среди бойцов; напали, когда большая часть ребят еще не была подготовлена к бою. Да и вообще участвовать в битве решили не все — многие за это время успели уйти домой.

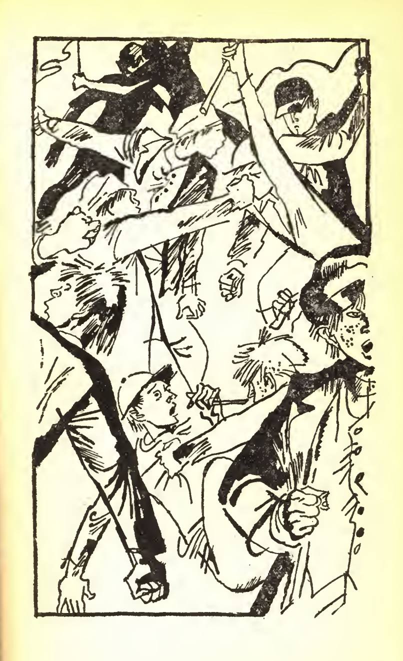
Первый удар хлыста пришелся Тыниссону по руке. Это было ужасно больно, на руке остался большой синий рубец. Но не таков был Тыниссон, чтоб оробеть. Невооруженной рукой он нанес ответный удар нападающему, да так ловко, что угодил ему прямо в нос. Удары обрушились и на соратников Тыниссона. Те, правда, в долгу не оставались, но долго ли повоюешь голыми руками против людей, вооруженных хлыстами. Кярда сильно ударили по лицу, кончик хлыста чуть было не задел ему глаз. А Ярвесте, могучий, как Голиаф, но страшно медлительный мальчуган, получил такой жестокий удар по руке, что даже завопил от боли: «Ай, ай!»

Гораздо удачливее оказался Кезамаа — он вырвал оружие из рук противника, и тут спине врага пришлось отведать его собственного хлыста.

Больше всех пострадал Тыниссон. Ему пришлось труднее всего — он находился в гуще борьбы, выбирал себе самых сильных противников и ни на минуту не покидал поля боя. За первым ударом на него посыпались новые, и тот, кто на другой день взглянул бы на его затылок, руки и бедра, пришел бы в ужас — до того они были покрыты синяками. Но, удивительное дело, у него не вырвалось ни единой жалобы.

Он дрался молча, сопя, и переносил боль, как настоящий герой.

Арно в этом сражении участия не принимал. Он стоял у дверей школы, весь бледный, и испуганно следил за дракой. Но когда он заметил, что противники окружили Тыниссона и один из них готовится нанести ему удар по голове, Арно, сам не сознавая, что делает, схватил вдруг кол, лежавший возле забора, и, зажмурив глаза, ударил им самого свирепого врага Тыниссона.



Победа явно клонилась на сторону барчуков. Уже Тыниссон и его соратники были окружены со всех сторон. Уже Тыниссон не пытался больше нападать; заслонив глаза рукой, он съежился под градом вражеских ударов. Но как только это оказывалось возможным, он пытался отбиваться ногой.

Когда положение эстонцев стало уже совсем безнадежным, к ним вдруг подоспела помощь. Из школы выбежал Тоотс с раскаленными щипцами и кочергой в руках, крича на ходу истошным голосом:

— Вперед, кентукские ребята! Бей краснокожих!

Зрелище это было до того потрясающим, что победители опешили и начали отступать. А когда Тоотс побежал за ними и стал под самым носом у тех, кто не успел вовремя отступить, вертеть раскаленными «пушечными ядрами», как он сам окрестил свое оружие,— тут уж барчуки обратились в повальное бегство. А Тоотс продолжал гнаться за ними с криком:

— Бей краснокожих!

Битва кончилась. Победил Тоотс. Победил, сам не получив ни единого удара. Тыниссон вытирал платком глаза; остальные поправляли на себе одежду и ощупывали покалеченные места: кто тер себе затылок, кто трогал бока, кто жалобно упрашивал товарищей поглядеть, что у него на лице,— очень уж больно жжет.

Вскоре на поле боя появился помощник пастора, с ним вместе вернулись и школьники с церковной мызы. Он видел конец сражения и как раз направлялся к приходской школе, когда его собственные ученики, удирая, чуть не сбили его с ног.

Это был добродушный человек; ему хотелось помирить между собой ребят, чтобы кистер и учитель даже не знали о разыгравшейся битве. Он был уверен, что если те услышат о происшествии, ученики обеих школ будут строго наказаны. Выяснив, что ссору затеял Тыниссон, помощник пастора потребовал, чтобы тот извинился перед его учениками.

Но Тыниссон молчал.

Молодой пастор разговаривал с ним спокойным отеческим тоном, всячески стараясь внушить ему, что просить прощения вовсе не зазорно. Но все было напрасно. Ни одного слова не удалось ему выжать из это-

го мальчугана. Молодой пастор рассердился. Такое упрямство и тупость — это уж совсем из рук вон! Дело затянулось, появился кистер.

Не попытавшись даже разузнать толком, что здесь произошло, он вместе с молодым пастором пристал к Тыниссону, чтобы тот просил прощения.

Получалось, будто все остальные ребята здесь ни при чем; единственным виновником, по мнению кистера и пастора, был Тыниссон. Попроси он прощения — и все было бы улажено.

Кистер, стесняясь молодого пастора, не решился прикрикнуть на Тыниссона, как обычно, а произнес вместо этого длиннейшую наставительную речь. Заканчивая ее, он был убежден, что теперь наконец упрямый мальчишка заговорит. Но кистер ошибался, Тыниссон стоял, потупив глаза, все больше и больше сутулясь и, что особенно бесило обоих наставников, даже не заплакал.

— Ты самое глупое существо на свете,— проговорил наконец кистер, видя, что слова его не действуют.

— Да, я тоже в жизни своей не видел ничего подобного,— согласился молодой пастор.— Обычно они начинают сразу же говорить, валят вину на других, изворачиваются, а этот молчит как рыба.

Дело кончилось тем, что всем мальчикам, и одного и другого лагеря, велели идти домой. Остался один лишь Тыниссон. Его наказали: в течение всей недели он должен был оставаться в школе на час после окончания уроков и зазубривать по четыре строфы из книги хоралов. Кистер обещал самолично подобрать для него тексты.

Но не помогло и это наказание. Тыниссон остался таким же, как и был.

X

Видя, что друг попал в беду, Арно решил ему помочь. Он тоже оставался теперь после уроков в школе и помогал Тыниссону заучивать наизусть заданные строфы. Голова у Тыниссона была туповатая, учение давалось ему с трудом, но в присутствии товарища он гораздо быстрее выучивал урок, чем один. Когда он наконец справлялся со своими строфами, Арно выслушивал его ответ, и если находил, что все в порядке, Тыниссон шел отвечать кистеру.

В субботу после обеда, когда они сидели в классе и занимались, Арно заметил вдруг, что приятель его сегодня сам не свой. Ничего не шло ему на ум, он зубрил, зубрил, но как только начинал отвечать, дальше первой строчки никак не мог двинуться. Арно велел ему хорошенько сосредоточиться, а сам в это время взялся за уроки, заданные на понедельник. Но, тайком наблюдая за товарищем, он увидел, что тот сидит, уставившись в книгу широко раскрытыми глазами,— казалось, мысли его блуждали бог знает где. Изредка Тыниссон загадочно покачивал головой, поглядывал в сторону окна и грыз карандаш.

Так прошел час. Арно решился на последнюю отчаянную попытку. Он взял книгу, стал читать сам и велел Тыниссону повторять за ним.

— Постарайся думать о том, что ты говоришь,— сказал он ему.

Тыниссон пошел отвечать, но, как и опасался Арно, ничего из этого не получилось. Кистер приказал выучить все с начала.

Арно опять взялся помогать другу, но тот не согласился.

— Ладно,— сказал он,— попробую сам. Ты иди домой, уж я их как-нибудь выучу.

— Не выучишь. Что с тобой сегодня?

— Выучу. Ничего со мной такого нет.

Арно сердечно попрощался с товарищем и ушел. Он понимал, что тому не до зубрежки, что голова его занята чем-то другим, но не хотел его расспрашивать.

И действительно, в голове Тыниссона созревал серьезный, очень серьезный план.

В понедельник утром, во время урока русского языка, в класс вошел пастор. Он отозвал учителя в сторону, и они несколько минут о чем-то говорили. Учитель велел Тыниссону идти в кабинет кистера, куда перед этим заходил и пастор. Тыниссон пошел. Что там произошло, никто так и не узнал, но когда мальчик вернулся в класс, Визак стал всем рассказывать, будто Тыниссон потопил в реке плот, принадлежащий мальчишкам с церковной мызы. Откуда Визак взял эту новость, тоже осталось неизвестным.

Арно перепугался. Ему стало страшно за товарища. На перемене он подбежал к Тыниссону и спросил его:

— Чего им от тебя нужно было?

Тыниссон сначала мялся, но под конец все рассказал: пастор считал его виновным в том, что плот очутился на дне реки.

— На дне? Значит, это правда, что плот потопили?

— Так они говорят... откуда мне знать...

Арно взглянул на Тыниссона. Но на лице друга ничего нельзя было прочесть, оно было лишь чуть краснее, чем обычно, и уши мальчика пылали.

— Ну да, но почему они сразу на тебя подумали?

— Откуда я знаю! Кухарка будто бы сказала, что видела меня на берегу.

— Чепуха! Такой огромный, тяжелый плот — его никто и не смог бы утопить. Верно?

— Не знаю.

— Это же большущие бревна, громадины, одному человеку их и с места не сдвинуть. Я как-то попробовал толкнуть, ничего не вышло.

Тыниссон не ответил. Он задумался. Но когда Арно хотел уйти, он вдруг задержал его:

— Если они тебя спросят, скажи, что мы вместе ушли домой.

— А ты вскоре после меня ушел?

— Ну да, вскоре.

— Хорошо, я скажу. А для чего это тебе нужно?

— Так... просто. А то еще болтать начнут, будто это я пустил плот на дно. Скажи, что мы вовсе к реке не ходили, а из школы ушли вместе.

Перемена на этот раз длилась дольше, чем обычно. Раньше учитель всегда появлялся в классе через пятьдесят минут, теперь же прошло уже четверть часа, а его все не было. Наконец он вернулся, но не один — с ним были еще двое: кистер и пастор. У кистера был такой вид, словно он только что выскочил из бани. Пастор казался очень рассерженным, только учитель оставался таким же, как всегда.

— Тыниссон, подойди-ка сюда! — приказал кистер.

Тыниссон встал из-за парты и подошел к кафедре.

— Скажи, Тыниссон, это ты потопил плот, принадлежащий сыновьям господина пастора? Только говори правду!

— Нет, не я.

— Ты был здесь в субботу вечером один или еще с кем-нибудь?

— Тали тоже был.

— А, Тали тоже? Тали, что ты тут делал?

— Я... я помогал Тыниссону учить наизусть церковные песни, я его спрашивал.

Пастор был удивлен. Он спросил кистера, о каких песнопениях идет речь, затем подошел к Арно.

— Дорогое дитя,— сказал он,— как это тебе пришло в голову помогать Тыниссону?

— Я... Он сам не может так быстро выучить. А когда я его послушаю, он лучше запоминает.

— Так-так. Ты дружишь с Тыниссоном?

— Да.

— Ну, а скажи: раз ты помогал ему учиться, то и сам, наверное, тоже запомнил эти строфы. Не припомнишь ли ты какие-нибудь из них? Например, те, что ты в субботу помогал Тыниссону заучить наизусть?

— Как же, помню.

— А ну-ка, прочти.

Арно прочел:

Печаль и треволненья
житейской суеты

Христу на попеченье
оставь спокойно ты[1].

Он без запинки прочел все четыре строфы. Пастор остался очень доволен и погладил его по голове.

— Ты славный мальчуган, Тали. Скажи, когда вы в субботу здесь сидели, Тыниссон не уходил к реке?

— Нет, не уходил. Мы все время были в классе.

— А домой вы тоже ушли вместе или Тыниссон еще оставался здесь?

До сих пор Арно отвечал на все вопросы пастора твердо и уверенно. Но сейчас, когда нужно было солгать, он вдруг покраснел.

— Нет, не оставался. Мы ушли вместе.

— Так, та-ак. Садись, дитя мое.

Кистер снова принялся за Тыниссона. Стремясь любым способом выпытать у него правду, он задавал мальчику один хитроумный вопрос за другим. Наконец вмешался и учитель, все это время молча перелистывавший какую-то книгу. Не может быть, сказал он, чтобы маленький, слабый мальчуган мог справиться с таким трудным делом. К этому же выводу пришли и кистер с пастором.

Но против Тыниссона выступал один опасный свидетель — кухарка пастора. В конце концов, было решено позвать ее в школу и устроить ей очную ставку с Тыниссоном.

— Скажи-ка, Лийза, это и есть тот самый мальчик, которого ты видела в субботу вечером на берегу реки? — спросил пастор, указывая на Тыниссона.

— Да, тот самый.

— Но он утверждает, что не был там. Тали говорит то же самое. Они вместе ушли домой.

— Уж не знаю, но только это был он. Ежели вы мне не верите, спросите у Libле. Я думаю, Libле тоже его видел.

— Libле? Где ж он был, этот Libле?

— Libле потом тоже подошел к речке.

— А когда ты увидела Тыниссона на берегу реки, плот еще был на месте или его уже там не было?

[1] Перевод стихов в тексте Вал. Рушкиса.

— Этого я не знаю. Да разве за их плотом уследишь — он у них то здесь, то там, а то и на Вескиярве. Плота я не помню.

— Где же ты видела Тыниссона?

— Около мостков, со стороны Вескиярве.

— Гм! Плот должен был стоять по другую сторону мостков... А что там делал Либле?

— Либле грозился речку вспять повернуть — вот, говорит, тогда полюбуюсь, как шерстобитня станет.

— Ох, этот Либле очень дурной человек. Он еще оставался там, когда ты ушла?

— Да.

Кухарку отослали обратно. Услышав имя Либле, кистер пришел теперь к другому выводу. Он сперва не решался высказать его вслух, но, увидев хмурое и растерянное лицо пастора, все же извлек свою мысль на свет божий. Они с пастором долго о чем-то говорили между собой по-немецки. А учитель все перелистывал книгу. Он злился, что весь урок истории ушел на расспросы и допросы.

XI

Как-то однажды, разговорившись с кистером, хозяин хутора Сааре пошутил, что Арно «стал выпивать». А потом рассказал все — как Арно с Libле пили водку и как пришлось их разыскивать по лесу. Кистер расхохотался так, что его круглый живот затрясся, и на следующий же день, встретив Арно, пожурил его за «пьянство».

Это бы еще полбеды, кистер тоже просто шутил; но когда спустя два-три дня кистер пришел к хозяину Сааре занять денег, а тот ему отказал, это сразу же отразилось на Арно. Кистер теперь стал его прямо изводить. Чуть ли не каждый день он спрашивал: «Ну как, Тали, сегодня опять выпил?» — или же: «Тали, в голове у тебя не шумит?», а в другой раз: «Ну, когда вы с Либле опять собираетесь опрокинуть по стопочке, а?» И эти вопросы кистер задавал обычно в присутствии других или когда Арно играл с ребятами.

Нетрудно себе представить, что если уж сам кистер так над ним подтрунивал, то и мальчишки не отставали.

Арно был мальчик добрый, никогда никому зла не причинял, поэтому и насмешек на его долю выпадало меньше, чем досталось бы другому на его месте. Но зато переносил их Арно тяжелее, чем любой другой.

Кое-кто из ребят поступал так — нальют бывало полный стакан или чашку воды и кричат ему:

— За твое здоровье, Тали!

Каждая такая шутка больно задевала Арно. Конечно, если бы ребята могли догадаться, как горько ему это слышать, они бы так не говорили — не было в школе ни одного мальчишки, который не ценил бы Арно.

Арно был впечатлительный мальчик. Он не терпел упреков. Его угнетало уже одно сознание, что о нем можно сказать что-нибудь дурное.

Видя, что кистер день ото дня все злее придирается к нему, мальчик загрустил. Он теперь гораздо реже играл с другими ребятами. Он стал непохож на прежнего Арно. Его родители отказались дать кистеру денег взаймы. А за грехи родителей приходится расплачиваться детям.

Дома тоже заметили, что мальчик ходит сам не свой, и мать как-то спросила его, что с ним такое. Арно рассказал ей о своей беде и под конец расплакался.

Мать велела отцу пойти к кистеру и сказать, что так не поступают. Но отец возразил, обращаясь к Арно:

— Э, да что там! Ничего тебе не сделается, ты же мужчина. Пускай себе гавкает, полает и перестанет.

Так бедняга и дома не нашел защиты.

Единственным, кому он еще мог довериться, был Тыниссон. Тот посоветовал просто не обращать на слова кистера никакого внимания. Вот если уж бить начнет, тогда надо идти домой и жаловаться отцу. Арно совсем загрустил. Правда, не вечно он думал о насмешках кистера, но все же какая-то безотчетная печаль давила сердце. Он полюбил одиночество, на переменах ходил к реке, глядел на волны. Как-то раз, когда к их школе подошел еврей-шарманщик, Арно, слушая шарманку, заплакал. Мечтательно-грустная мелодия так на него подействовала, что он не смог удержаться от слез.

Даже мысль о Тээле его больше не тешила. Думая о Тээле, он испытывал странное, смутное чувство. Ему казалось, что Тээле для него теперь совсем чужая. Раньше бывало он втайне мечтал, что Тээле станет когда-нибудь его женой, что они всегда будут вместе. А теперь... теперь, вспоминая об этом, он лишь грустно улыбался. Возвращаясь домой вдвоем, они теперь обычно молчали. Тээле, правда, иногда пыталась заговорить, но, видя, что Арно не отвечает или же отвечает нехотя, тоже умолкала.

Однажды, вскоре после случая с плотом, Арно перед тем как идти домой, отправился к реке. Сидеть здесь, на берегу, стало теперь его любимым занятием. Он мог подолгу смотреть, как течет вода, как плещут о берег маленькие волны. Когда-то он прочел стихо-

творение о том, как юноша пошел к реке жаловаться на свою беду и река, выслушав его жалобу, утешила его тихим журчанием. Арно казалось также, будто в этой реке, кроме струящейся воды, есть и еще что-то другое. Ведь там, внизу, была бездонная глубина, и разве не могли там и вправду скрываться те существа, о которых так много рассказывала ему бабушка,— все эти полурыбы-полулюди. Царем у них длиннобородый старик с волосами, перевитыми водорослями. Летними ночами, когда все вокруг окутано полумраком и над рекой нависает туман, существа эти поднимаются из воды и водят на берегу хороводы.

В сумерки под тихий, таинственный плеск воды Арно чудились какие-то сказочные видения. Стоило ему дать волю своему воображению и неподвижно уставиться в одну точку, как он погружался в странную дремоту и перед ним проплывали призраки, о которых рассказывала бабушка.

Иной раз, когда он стоял у реки так близко, что вода лизала ему ноги, им овладевала вдруг непонятная усталость. Еще немного — и он, обессиленный, бросился бы в эти волны так же, как по вечерам бросался в постель. К реке влекла его какая-то непонятная сила.

Когда он однажды сидел на берегу и задумчиво глядел в воду, за спиной его раздались шаги. Обернувшись, он увидел учителя.

— Чего ты тут сидишь, Тали? Домой не собираешься? — спросил учитель, подходя ближе.

— Собираюсь. Захотелось сначала у реки побыть.

— Так, так. Тебе так нравится река, что прежде чем идти домой, ты приходишь сюда посидеть?

Арно не знал, что ответить. Он робко, почти умоляюще взглянул на учителя. Ему подумалось — может быть, даже его прогулок к реке теперь не одобряют. Недоверие к окружающим, которое все больше овладевало Арно, сказалось и здесь: в учителе он тоже видел одного из своих врагов.

Грустный взгляд мальчика тронул учителя. Он присел рядом с Арно на камень и спросил:

— Отчего ты такой печальный, Арно?

— А я не печальный,— ответил Арно, с трудом удерживаясь от слез.

— Как же не печальный? С ребятами не играешь, вечно сидишь один или ходишь к реке. Скажи мне, что с тобой. Тебя кто-нибудь обидел?

— Нет.

— Так в чем же дело? Скажи мне, и мы вместе обсудим, как помочь твоему горю. Расскажи все, что у тебя на душе, ничего не скрывая; не бойся, я не стану сердиться.

— Да ничего такого нет.

— Видишь, какой ты скрытный. С тобой что-то происходит, а ты не хочешь сказать.

— Да нет, ничего,— промолвил мальчуган. Слезы, с которыми он так мужественно боролся, теперь вдруг неудержимо заполнили глаза. Прошло еще несколько мгновений, и он, громко рыдая, вскочил с камня и бросился бежать домой.

— Арно, куда ты, дурачок, бежишь, постой! — закричал ему вдогонку учитель, тоже поднимаясь.— Вернись, расскажи. Не бойся!

Но Арно не слышал его — он бежал со всех ног. Учитель еще долго стоял и смотрел ему вслед.

XII

По дороге домой Арно узнал удивительные вещи. У ограды кладбища он догнал Либле; тот, к его изумлению, сегодня был совсем трезв.

Он тотчас же заговорил с Арно.

— Да, да, сааресКий хозяин, недолго осталось мне в колокол бить. Придется вам тут без меня обходиться. Выживают меня с места.

— Да что же это такое? — спросил Арно, отворачиваясь, чтобы Либле не видел его заплаканного лица.

— Да, да, что такое... Сатана средь бела дня луну смолой вымазал — так и я будто в реке плот утопил, который эти пасторские индюки-остолопы себе завели. Ну есть ли у людей хоть на грош разума в голове! Я потопил их плот! Да я бы скорее старую кухарку Лийзу на дно пустил, чем их плот.

— Как? Неужели они на тебя сваливают? Ведь пастор был у нас в школе, и тогда они с кистером думали, что это сделал Тыниссон.

— Ну да, в школу-то они ходили, но Тыниссон будто бы им сказал, что это не он. Опять же Лийза видела, говорит, меня в субботу вечером у реки, вот всю кашу теперь на меня и валят.

— Не верят, что ты здесь ни при чем?

— Пастор, может, и поверил бы, да этот Юри-Коротышка скачет с ноги на ногу и заливается, как жаворонок: это Либле, это Либле, кто ж еще, как не Либле...

— Почему ж он так говорит?

— А ты спроси его, почему он так говорит. Хочет от меня избавиться.

— А почему он хочет от тебя избавиться?

— Эх, брат, молод ты слишком, чтоб тебе все это выкладывать. Подрасти еще: жив буду — расскажу. Видишь ли, когда Визаку говорят: парень, разыщи-ка своего отца,— так ему далеко искать не надо, пусть

ищет к кистеру поблнже. Понял? Вот как-то я н говорю про кнстера: с Внзаком этнм дело обстоит так-то и так-то; ну, а потом пошел слух, будто я на кнстера наговарнваю... то-то оно н есть. Кнстер меня теперь вндеть не может. Так уж повелось на белом свете — ни один прохвост не терпнт, когда ему правду-матку в глаза режут. Вот ежелн врать станешь, тогда ты молодчина! А теперь смотри, как с этнм плотом получается. Что я — мальчншка какой, чтоб на плоты лазить? Да по мне, пусть онн свой плот хоть позолотят, я к нему н близко не подойду... А надо бы взять да сказать нм: да, я его потопнл! Онн ведь не поверят тому, что я скажу, вот я еще н выйду честным человеком!

— А почему ты говорншь, что не будешь больше в колокол звонить?

— Почему не буду звоннть? Ну опять-таки из-за этого самого плота. Ведь все онн думают — что бы я нм нн говорил,— будто я это сделал, да теперь еще и отпнраюсь. Так разве меня здесь будут держать! Пробст — тот уж, будь уверен, прнклеит мне беленькие крылышки, как у голубка, чтобы полетел я с колокольнн вниз н — бац! — прямо в трактнр нлн там куда попало. Уж я ему говорнл — давайте подымем плот со дна, не все лн равно, как он туда попал, один черт,— н пусть себе ребята катаются. А потом, говорю, можно прнставнть к нему сторожа с дубннкой, пусть дубаснт каждого, кто нн подойдет. А пробст все свое: «Сне злодеянне надо вывестн на чистую воду, сне злодеянне надо вывестн на чистую воду». Я ему опять: «Давайте, говорю, подымем плот со дна реки — вот н выйдет это злодеянне на чистую воду». Да где там! «Нужно дознаться, кто это сделал!» Словно бог знает что такое стряслось. Шла бы еще речь о куче денег, тогда стонло бы разговарнвать, а то эка важность — десяток трухлявых бревен в реке затонул! А он вопнт так, будто уже всемирный потоп начался, а у него еще ковчег не готов.

Арно стало жаль Лнбле. Лнбле, правда, был горький пьяница и торгаш, мальчик это знал, но когда им случалось встретиться, онн между собой отлично ладили. Либле, хоть и любил отпускать крепкне словеч-

ки, к Арно относился гораздо дружелюбнее, чем к другим ребятам. И вот теперь ему придется потерять службу, придется уйти бог знает куда, и Арно, может быть, никогда больше его не увидит. Ему придется уйти... А из-за чего? Из-за плота!

Путаная история с этим плотом. Кто же мог его потопить? Тыниссон не мог этого сделать. Библе тоже. Тыниссона Арно не мог заподозрить — ведь тот был его другом, и во всяком случае ему, Арно, он бы все сказал. А если бы это сделал Либле, то он не стал бы отрицать, а сразу признался бы:

— Ну, да, потопил,— чего эти мальчишки на нем целыми днями толкутся, упадут еще в воду и утонут.— Он ведь всегда любил так отвечать — шумно и скоропалительно, выкладывая все, что у него на душе.

Арно однажды слышал, как отец говорил:

— Либле этот — какой он там ни есть, но врать он не врет.

Если Либле продавал какую-нибудь вещь, то никогда при этом не обманывал и не уверял, что сам заплатил за нее столько-то и столько-то. А когда покупатели спрашивали, дорого ли он сам за нее дал, и упрекали его в том, что он слишком много хочет заработать, Либле обычно отвечал:

— А вы что, захотели, чтоб я еще приплачивал? Какой же это купец будет себе в убыток торговать? Да ну вас!

И вот теперь его собираются уволить — не столько за самый проступок, сколько за то, что он не хочет в нем сознаться; за долгие годы службы на паунвереской церковной мызе Кристьян Либле натворил уже немало дел, но ему всегда удавалось выйти сухим из воды, так как он признавался: да, это сделал я, и сделал потому, что так считал нужным.

Арно был уверен, что Либле никак не мог потопить плот, что это сделал кто-то другой — наверное, какой-то страшный, злой человек. И если теперь Либле лишится места, виноват будет тот неизвестный недруг.

— А все-таки кистер очень плохой человек,— сказал наконец Арно.— Сразу так на тебя и напал. На меня он тоже каждый день тявкает.

— А на тебя за что? — спросил Либле.

— Дразиит меня, что я водку пил, вместе с тобой в лесу пьянствовал. Каждый деиь спрашивает, когда я опять пойду с Libле пить. И ребята иадо миой смеются...

Libле вскипел. Ои разразился злобиым хохотом.

— Ну, разве ж я ие говорил — дерьмо, оио дерьмо и есть. Вишь ты, ребят — и тех в покое ие оставляет, что уж тут о взрослых говорить. Каков гусь! Ему-то какое дело, ежели ты и перехватил каплю! Словио ты убил кого, или дом поджег, или же этот самый плот на дио пустил! А сам погляди что делает: иа крестииах у Метсаиурка так иализался, что когда иачал дитя крестить и иадо было водой ему лоб окропить, так он тарелку с водой — хлоп! — и опрокииул. Ну куда это годится! А ои, вишь, еще и за другими подсматривает, тля этакая. Зиаешь, саареский хозяии, как он опять к тебе иачиет придираться, ты его прямо так и спроси: слушай-ка, Юри-Коротышка, когда мы с тобой к Метсаиурку иа крестииы пойдем? Там втроем и выпьем: Либле тоже придет. Спросишь?

— Нет.

— Ну да, конечио, ие иадо, это я просто так, ради красиого словца. Тебе-то не стоит ему такое говорить, ио и себя ие давай в бараиий рог скрутить. Ежели зиаешь, что прав,— давай сдачи. Чего тебе бояться, коли ты прав? Ведь вот как мужики из Вильяндимаа говорят: правда есть правда, правду иикто ие согнет. Ну конечио... Так вот и я с этим самым плотом: ты меия хоть иа куски режь, а вот ие топил я его и ие топил — что ты мие сделаешь? На куски меия изрубишь — и то каждый иоготь иа пальце будет кричать: не топил я плота! А будь ои сейчас иа реке, обязательно утопил бы. Да, таковы дела, саареский хозяин. Подрастешь, сам увидишь: ие все то золото, что блестит. Иного мужика бог по макушке погладил так, что череп блестит, ио ты ие думай еще, будто это чистое золото.

Оии подошли к хутору Сааре. Женщииы как раз в это время возвращались из хлева, где кормили скотииу, и когда Либле вкратце рассказал им о своей беде, то батрачка Мари от волнения чуть было не угодила иогой в ведро для свииого пойла. Дело в том,

что Libле как-то с пьяных глаз пообещал на ней жениться, и эта мысль так крепко засела у нее в голове, что девушка и впрямь стала возлагать на Либле какие-то надежды. Услышав же теперь, что в жизни его предстоят изменения, она испугалась. Либле, заметив это, тут же съязвил:

— Погляди-ка на нее! Сама неуклюжа, как мешок с толокном, а туда же, к звонарю в супруги метит.

Мари покраснела и, проведя запачканной навозом рукой по румяной щеке, ответила:

— Фу ты, господи, да кабы еще звонарь! А то ведь скоро дадут тебе отставку — соси тогда лапу, как медведь в берлоге. Небось скоро сам зубы на полку положишь, чем тогда жену кормить будешь.

— Вишь куда хватила! — заметил Либле.— А ты что думаешь — я себе жену возьму, чтоб ее откармливать, как на убой? Жена сама должна меня кормить. Будешь у меня сложа руки сидеть — так полезай в щель за печку да и ешь там глину, как таракан.

— Правильно, Кристьян,— поддержал его батрак.— Но ежели ты Мари посадишь глину есть, скоро без печки останешься.

— Пхе! Будто на свете других печек нет — только глиняные да кирпичные. Не могу я себе железную купить, что ли,— продолжал зубоскалить Кристьян.

— Наша Мари у тебя и железо сожрет,— сказал батрак.

Но слова Кристьяна: «Будешь у меня сложа руки сидеть» — в ушах Мари прозвучали сладкой музыкой, и она сказала:

— Да-да, не думай, что я только на тебя работать стану, а ты в это время будешь пить да буянить.

На это Либле, к ее величайшему удовольствию, ответил:

— Не беспокойся, продену тебе в ноздри кольцо. Заставлю еще и в колокол бить.

Хозяйка сунула руки под передник и промолвила со вздохом, как всегда делала в таких случаях:

— Вот, значит, какие дела. А кто же теперь будет у нас в колокол звонить?

— Кухарка Лийза, а то кто же,— ответил Либле.— Потащит наверх, на самую колокольню, жаркое или

что там еще у нее, разведет огонь и будет сразу и жарить, и в колокол бить.

— Этак она вместе с курицей и людей в церкви изжарит,— решил батрак.

Все вошли в дом. На хуторе Сааре Libле был своим человеком; он сел у плиты и стал подбрасывать хворост в огонь. Было много еще разговоров и шуток, а Либле и Мари, как обычно, ядовито подтрунивали друг над другом.

Вечером, улегшись в постель, Арно еще раз задумался над всей этой историей с плотом. Он не находил себе покоя. Он снова и снова перебирал в памяти одно и то же. Его недавняя грусть отошла куда-то, а возвращаясь, теряла свою прежнюю остроту, уступая место мыслям о новом, значительном событии. Когда он уже стал засыпать и его усталые веки сомкнулись, мозг вдруг молнией прорезала новая мысль. Она пришла так внезапно и так его взволновала, что он даже поднялся и сел в кровати.

Почему Тыниссон велел ему соврать, будто они в субботу вечером ушли домой вместе? Почему он тут же добавил, что иначе всю вину взвалят на него? Почему Тыниссон так странно держался с ним в последние дни? Почему с другими ребятами был еще менее общителен, чем раньше? Не сам ли он и потопил плот? Но неужели у него хватило силы это сделать?

Он, правда, ужас какой сильный и может сделать все, что захочет...

Арно долго, долго думал об этом. Наконец, уже около полуночи, утомленная голова его снова опустилась на подушку, и клопы могли теперь спокойно приниматься за спящего.

XIII

Каким образом, с помощью каких волшебных сил и конфет удалось Тоотсу убедить девочек пойти к реке поглядеть на первый ледок — это знал один лишь Тоотс да разве еще святые ангелы господни. Видно, он, помимо всяких вкусных вещей, пустил в ход и ложь, уверяя, что лед нынче ослепительно белый и крепкий, как подошва сапога. В изображении Тоотса вообще любая вещь оказывалась «прямой», как дуга: ему ничего не стоило сказать, что солнце заходит синее, как василек, а у чесальщика с шерстобитни на носу колбаса выросла. Что же тут удивляться, если и лед у него был такой белый и на редкость прочный.

Девочки пришли к реке. Мальчики явились туда еще раньше, страшно шумели и устраивали «тарарам», как они сами называли свою игру. Если бы можно было собрать воедино весь этот гвалт и визг, то его хватило бы, чтобы пустить в ход водяное колесо на шерстобитне, и даже если бы Libле удалось повернуть реку вспять, то ему пришлось бы, к великому сожалению, убедиться, что шерстобитня все-таки работает.

В этот обеденный час Тоотс был занят тысячей различных дел. Тысяча первым было то, что он одной ногой провалился в воду и, мокрый, как ряпушка, юркнул в свой «вигвам», чтобы заменить испорченные «мокасины» новыми. Быстро натянув на ноги сухие «мокасины», принадлежавшие Мюту, который жил на дальней окраине прихода и держал для себя в школе запасную одежду, Тоотс снова вернулся к товарищам.

— Гляди, Тоотс шкуру сменил,— сказал какой-то шутник,— другие ее меняют весной, а Тоотс осенью.

— Что ж, одежда мужчину не портит,— ответил Тоотс и тут же подставил Сымеру ножку, так что тот шлепнулся прямо носом в землю. А Тоотс как ни в чем не бывало спросил его:

— Сымер, что ты там нашел?

Но наивысшей точки веселье ребят достигло тогда, когда рыжеголовый Кийр, прикрутив коньки, на своих тонких, как жерди, ножках заскользил по льду.

Тоотс дал бы, пожалуй, отрезать себе ухо, лишь бы Кийр хоть на минутку одолжил ему свои коньки. Он бегал за ним по пятам, как тень, предлагал ему сплюснутое дуло от ружья, или «пантикристо», как он его называл, а в придачу столовый нож «томагавк»,— пусть только Кийр «немножечко-немножечко» даст ему коньки.

Но Кийр возразил, что «немножечко» коньки дать нельзя, их если уж дают, так дают целиком. Сказав это, он, как привидение, помчался дальше вместе с остальными ребятами.

Девочки находились чуть поодаль, они тоже бегали по льду, делая маленькие круги, и щебетали между собой. У того, кто их, собственно говоря, и пригласил сюда, не было теперь времени с ними возиться, им пришлось обходиться без него. А ведь он привел их к реке только затем, чтобы заманить в камыши, туда, где лед был еще темный, а потом с удовольствием понаблюдать, как кто-нибудь из них провалится. В конце концов вышло так, что Кийр Тоотсу коньков не дал и бедняга вынужден был вернуться к своему первоначальному замыслу.

Он подошел к девочкам и тотчас же начал их просвещать.

— Ну и чего вы, чудачки, тут зря башмаки треплете,— сказал он,— идите лучше к камышу, там лед прямо как стекло.

— Почему ж ты сам туда не идешь? — спросили у него.

— Я-то? Я тоже пойду, мне просто хотелось сначала вам показать.

— Знаем мы тебя! Опять хочешь какую-нибудь штуку выкинуть. Сам говорил — лед нынче белый как сахар, а какой же он белый? Ты же так врешь, что прямо дым изо рта валит.

— А разве лед не белый?

— Ну смотри, где ж он белый?

— Ну и ладно, пусть будет не белый. А вы все-таки пойдите к камышу.

— Не пойдем, иди сам.

— И пойду. Я и ходил уже. Там до чего занятно смотреть, как раки вокруг плота ползают! Один, черт, здоровенный, как рукавица, всех остальных сожрал. А потом подплыла огромная такая рыба, сом, наверно, с большущими выпученными глазами, и рака этого проглотила. Нет, там таких зверей увидишь, что прямо мороз по коже подирает.

— А плот разве около камышей затонул?

— Ну конечно.

— И разные страшные звери вокруг ползают?

— А как же!

— Ух! Как страшно! А ты не врешь?

— Вот дуры, с какой стати я буду врать? А вы сами разве не знаете, что на дне водятся разные страшные звери? В прошлом году наш батрак ловил на реке рыбу и вдруг видит — поплавок как нырнет под воду! Он дергает, дергает, наконец вытаскивает... а там огромная змея! Сама черная как уголь, а на шее белые круги.

— Ох ты, господи! — послышалось среди слушательниц.

— И что ж вы думаете, — продолжал Тоотс, — вытащил он эту страшную змею, а та хлоп — да и обвилась ему вокруг шеи.

— Ой, ой, ой! Что же дальше было?

— Ну, что дальше было. Батрак знал разные слова — как змей заговаривать, его мать научила, он и сказал:

Ой, змея, уйди скорее,
не дави так больно шею,
хоть за речку,
хоть за печку
от меня ты уползай!

И змея завертелась в воздухе и сразу же пропала...

— Куда ж она девалась?

— Бог знает, куда, только сразу же пропала. Завертелась и пропала.

Среди девочек началось движение. Каждая из них знала какую-нибудь страшную историю про змей, и каждой хотелось, чтобы ее слушали, когда она будет рассказывать.

— Тоотс, какие же это были змеиные слова? Скажи их еще раз.

И Тоотс, сделав таинственное лицо, продекламировал:

Ой, змея, уйди скорее,
отпусти ты мою шею,
в куст ольховый,
в лес еловый —
куда хочешь уползай!

И та девочка, которая его спросила, и другие сразу же стали заучивать наизусть змеиные слова. Зажмурив глаза, они бормотали про себя: «Ой, змея, уйди скорее, отпусти ты мою шею...»

— Ну, а идти в камыши плот смотреть боитесь? — спросил Тоотс, помолчав.

— Раз вокруг плота такие страшные звери ползают — не пойду.

— Дура, так они же через лед на тебя напасть не могут. Ты на льду, а они там, на дне.

— А вдруг этот самый сом... такой страшный, большой...

— Ну, уж он не бог знает какой большой. Так... так... ну, чуточку побольше селедки.

— Я пойду посмотрю,— сказала наконец одна из девочек. Все оглянулись — кто там такой смелый нашелся. Велико же было общее изумление, когда из толпы вышла Тээле и направилась к камышу.

— Не ходи! — предостерегающе крикнули ей девочки.

Но Тээле, обернувшись, стала звать с собой остальных.

— Пошли! Пошли посмотрим! А ты, Тоотс, запомни: если ты опять наврал, мы тебя отдуем. Идем с нами, покажешь место, где плот затонул.

— Ступай, ступай, я потом приду,— ответил Тоотс и отошел от девочек подальше, туда, где ребята, держась друг за друга, огромным живым комом с криком и шумом неслись по льду. Здесь он остановился и круглыми, точно у филина, глазами стал смотреть на Тээле. В нем происходила внутренняя борьба. Было ясно, что Тээле провалится,— лед вокруг камышей был совсем еще тонкий. Чтобы предостеречь ее, сле-

довало сейчас же, немедля, крикнуть, позвать ее обратно. Она могла вот-вот провалиться. Но Тоотса обуяло любопытство — ему не терпелось посмотреть, как она бухнется в реку и как оттуда выберется. Было мгновение, когда он чуть не окликнул ее, но тут у него мелькнула мысль, что уже поздно, что делу ничем не поможешь. Он следил теперь за Тээле с таким волнением, что даже глаза его увлажнились, а сердце громко застучало. Тээле приближалась к камышам; здесь вокруг каждого пучка стеблей чернели ямки, в которых, казалось, еще поблескивала вода.

* * *

Не все школьники в этот день были на реке. Четыре или пять девочек и столько же мальчиков остались в классе, готовили уроки или просто разговаривали. Среди них были также Тали и Тыниссон. Они стояли у окна и беседовали, поглядывая на реку: когда там становилось особенно шумно, крики ребят доносились и в классную комнату.

— Ты слышал, Либле увольняют? — спросил Тали.

— Кого увольняют? — переспросил Тыниссон.

— Либле. Пастор и кистер думают, что это он потопил плот.

Тыниссон слегка покраснел. Продолжая разговор, он уже не смотрел Арно прямо в глаза.

— Откуда ты знаешь?

— Либле сам говорил. Но я не верю, что это Либле сделал. Если бы он потопил плот, он бы не скрывал. Это сделал кто-то другой.

Тыниссон ничего не ответил и стал пристально смотреть в окно, словно там что-то привлекло его внимание.

Арно взглянул на товарища и решил задать ему прямой и откровенный вопрос. Арно сам удивился, почему вдруг поколебалось возникшее у него позавчера вечером убеждение, что плот потопил Тыниссон. Тогда Арно был в этом уверен, а сейчас ему было как-то неловко требовать у Тыниссона объяснения. В его присутствии Арно чувствовал себя скованным.

После продолжительного молчания он все же решил спросить друга. Он подошел к Тыниссону совсем близко, тронул его за рукав и боязливо, почти умоляюще сказал:

— Тыниссон!

Тот молча обернулся.

— Скажи, Тыниссон, а может, это все-таки ты утопил плот? Скажи, не бойся, я никому не расскажу.

— Как это я его утопил?

— Нет, ну... я думал, может, это ты. Ведь ты велел мне сказать, что мы ушли домой вместе... и... я думал, может, ты и пустил его на дно, когда меня не было.

Тыниссон снова повернулся к окну, и если бы Арно мог сейчас видеть его лицо, то заметил бы, что тот покраснел до ушей.

— Значит, ты не топил его?

— Нет, не топил.

— Почему же ты велел мне говорить, что мы ушли домой вместе? Почему ты не сказал, что еще остался здесь, когда я ушел?

— Ну, иначе бы взвалили вину на меня.

— Да, да, конечно. Но к реке ты все-таки ходил? Не то кухарка не увидела бы тебя...

— Да, ходил... мыл рамку от грифельной доски.

— Но рамка у тебя такая же грязная, как и раньше...

— У меня мыла не было. Одной холодной водой не вымоешь.

— А плот был еще там, когда ты к реке ходил?

— Ну, был. Да что ты меня допрашиваешь?

Это уже кое-что значило. Подозрения Арно ожили с новой силой. Теперь он был снова уверен, так же, как и позавчера ночью, что только Тыниссон и мог потопить плот. Арно теперь не отстал бы от него, но храбрости не хватило. Ему казалось, что каждый новый вопрос все больше раздражает Тыниссона. Арно отошел от окна и направился к двери.

— Куда ты? — спросил Тыниссон, тоже отворачиваясь от окна.

— К реке. Возьму в спальне шапку и пойду посмотрю, что там ребята делают.

— Не ходи. Чего ты туда идешь?

— Пойду посмотрю...

— Не ходи.

— Почему?

— Иди сюда!

Арио снова вернулся к окну.

Ему показалось, что Тыниссон стал вдруг какой-то странный, как бывало на уроках, когда его спрашивали, а он не знал, что ответить. Вид у него был растерянный и беспомощный.

— Знаешь, Тали, чуть заикаясь, начал он,— плот... все-таки потопил я. Но смотри, никому ни слова. А зачем они к нам во двор драться лезут, барчуки паршивые! Ходят с хлыстами и дерутся. Пусть теперь без плота сидят, так им и надо.

— Ах, значит, все-таки это ты? — с изумлением переспросил Арио. Его не столько удивила эта новость, сколько то, что Тыниссон сам ему признался.— Неужели ты потопил? Как же ты смог, ведь он страшно тяжелый?

— Говори тише — ребята услышат. Я толкнул плот подальше от берега, потом положил несколько досок— одним концом на берег, другим на плот — и стал носить на него камни, вот он и пошел ко дну. Когда плот стал уже погружаться в воду, я быстро по доскам перебежал на берег, а доски потом отбросил в сторону.

— Ой!

— Молчи! Видишь, Тоомингас уже уставился на нас, как чучело пучеглазое. И никому, смотри, не заикайся, что это я сделал.

— Да нет, что ты.

Они долго молча стояли у окна. Наконец Арио пришла в голову еще одна мысль.

— А если Libле уволят, тогда что?

— Так Libле же может сказать, что он этого не делал,— возразил Тыниссон.

— Ну да, он и скажет. А вдруг ему не поверят? Если его уволят, тогда... ты будешь виноват.

— Не уволят.

— А если уволят?

Тыниссон промолчал. Арио, углубившись в свои мысли, смотрел в окно. Вдруг он побледнел и, прежде

чем Тыниссон успел что-нибудь сообразить, а тем более сказать, Арно стрелой вылетел из класса с криком:

— Она провалится!

Еще раньше, во время своих прогулок к реке, Арно заметил, что у камышей, где течение сильнее, река еще не совсем затянута льдом; а сейчас он вдруг увидел, что Тээле идет как раз к этому самому месту. Он во весь дух помчался к реке, крича еще издали:

— Тээле, не ходи туда, там вода! Не ходи, Тээле!

Но не успел он пробежать и половины пути, как лед проломился и Тээле упала в воду.

Девочки подняли страшный крик. Мальчики, перепуганные, тоже подбежали поближе. Арно подоспел в это время к берегу. Он был очень бледен и тяжело дышал. Словно в тумане видел он, как ребята мечутся из стороны в сторону, размахивая руками. Их крики, казалось ему, доносились откуда-то издалека, словно это пастушки перекликались между собой летним днем. А потом он увидел, как Тээле по пояс выбралась из воды, словно ощупью оперлась о кромку льда, как эта кромка обломилась и Тээле снова погрузилась в воду. Он слышал, как Тээле, захлебываясь, громко зовет на помощь.

С минуту Арно стоял неподвижно, как столб, потом побежал прямо к Тээле, присел на корточки у края полыньи и протянул девочке руку.

— Сейчас упадет! Сейчас оба провалятся! — закричали вокруг. И они действительно оба провалились. В тот миг, когда Тээле ухватилась за руку Арно и он стал ее вытаскивать, лед под ними снова проломился, и теперь в ледяной воде барахтались уже двое.

Вокруг опять поднялся страшный визг. Ребята вопили так громко, что их услышали в своих комнатах и учитель, и кистер. Они сразу поняли, что дело неладно, и выбежали во двор. Увидев, что случилось несчастье, Лаур схватил стоявшую у школьной стены длинную доску и как был, без шапки, в матерчатых домашних туфлях, помчался к реке. За ним, бранясь и размахивая руками, засеменил кистер.

В это время и с другого берега, со стороны хутора Коола, бросился к реке какой-то человек. Он бежал прямо через вспаханное поле, спотыкался, падал, но тут же поднимался и подоспел к месту происшествия одновременно с Лауром. Это был Библе. В руках у него была связка веревок. Он как раз шел через поле в лес, чтобы набрать прутьев для метелок, и, услышав крик, понял, что кто-то из ребят упал в реку.

Быстро размотав веревку, он остановился поодаль от камыша, где лед еще выдерживал его тяжесть, и бросил конец веревки утопающим. Арно ухватился за нее.

Тоотс тем временем объяснял товарищам, какое это, собственно, простое дело — спасти сейчас Арно и Тээле. Вот кабы такой мостик, который тянулся бы от берега прямо к ним... Но увидев, что у Либле дело продвигается довольно успешно, Тоотс немедленно решил помочь ему. Обойдя камыши стороной, он перебрался на другой берег, ухватился за веревку и тоже стал ее тащить, сопровождая это отчаянными криками и возгласами.

И когда Арно наконец вытянули на берег, а вместе с ним и Тээле, все время судорожно цеплявшуюся за него... то одним из их спасителей оказался, конечно, Тоотс!

Даже кистер, не имевший обыкновения смотреть на Тоотса сквозь розовые очки, теперь, видимо, был тронут его отвагой и самопожертвованием. Тоотс, заметил он, хотя иногда и сильно проказничает, но в общем — совсем не плохой малый. Либле кистер не сказал ни единого слова.

Арно быстро отвели в спальню, сняли с него все мокрое и дали ему взамен сухую одежду кистера. То же самое проделали и с Тээле: ее отправили на квартиру к кистеру и облачили в платье госпожи кистерши.

Так было вначале. Потом, когда дети уже обогрелись у печки, кистер счел нужным поставить их в угол за то, что они были так неосторожны и провалились в воду.

Когда учитель заметил ему, что детей, пожалуй, можно бы и совсем не наказывать, кистер ответил, что

такие поступки ни при каких условиях не должны оставаться безнаказанными.

— А то полезут опять, изволь тогда возиться с ними, вытаскивать.

И даже не спросив у Арно и Тээле, как они очутились в воде, он их обоих поставил в угол.

Весь класс покатывался со смеху. И правда, было над чем посмеяться.

Широченные кистерские штаны и еще более широкий сюртук висели на Арно до самых пят, придавая ему вид настоящего огородного пугала. Руки его не доходили и до половины рукавов. Казалось, в углу стоит сейчас какой-то безрукий. Воротник сюртука кистер поднял, чтобы не только проявить свою строгость, но и потешиться над мальчиком; воротник этот почти закрывал Арно лицо, а мокрые растрепанные волосы падали ему на глаза. И это было очень хорошо — иначе все увидели бы, как слезы одна за другой катятся у него по щекам, исчезая в недрах огромного сюртука. Арно плакал. Он готов был от стыда провалиться сквозь землю. Стоять здесь, в углу, наряженным, как чучело гороховое, всем на посмешище — и все это на виду у Тээле! Лицо его покрылось лихорадочным румянцем, он едва держался на ногах.

Участь, постигшая Тээле, была ничуть не легче. Тээле тоже стояла в углу, в той половине класса, где сидели девочки, и должна была мириться с тем, что над ней хихикают и называют ее снежной бабой.

Неизвестно, долго ли все это продолжалось бы, если б не учитель; тот, расспросив Тыниссона и других ребят, как было дело, подошел к детям и отвел их на место.

Кистер, увидев это, пришел в ярость. Вот, значит, как: один поставил озорников в угол, а другой явился и увел их оттуда!

Но в это время к школе подъехал батрак с хутора Сааре, усадил в повозку хозяйского сына и дочку хозяина с хутора Рая, закутал их в одеяло и уехал. Он захватил с собой и их мокрую одежду.

Оказалось, что Либле успел за это время побывать на хуторе Сааре и сказать, чтобы послали за детьми.

XIV

Арно лежит больной. В горнице хутора Сааре совсем темно. Окна занавешены, чтобы в комнату не проникал свет. Дверь, ведущая из первой комнаты в горницу, закрыта. Открывают ее тихо-тихо. Все ходят на цыпочках. Хозяйка опечалена, у остальных серьезные лица.

Ночь... В горнице горит ночник, бросая бледный свет на кровать, где тревожным сном забылся больной ребенок. У постели сидит бабушка. Когда мать уже валится с ног от усталости и не в силах больше дежурить, появляется бабушка и поправляет одеяло, которое больной с себя сбросил. Часто приходится менять и смоченный холодной водой платок, который кладут ему на лоб. Арно тяжело болен.

В тот самый день, когда он упал в реку, к вечеру у него запылали щеки, разболелась голова, а ночью появился жар. Вот уже третий день, а болезнь не проходит, жар, кажется, даже усиливается.

Домашние собираются позвать доктора.

Бабушка, задремав, стукается головой о спинку кровати. Просыпается, трет сонные глаза, что-то бормочет про себя и снова впадает в дремоту. Потом опять вздрагивает... и голова ее опускается. Ох, старость — не радость... Господи боже, ведь ей уже за семьдесят, а это не шутка.

Кто-то тихонько подходит к кровати, кладет бабушке на плечо руку и шепчет:

— Ложись, мать, я теперь сама.

Это мать Арно — она поспала только час-другой, но ей уже кажется, что она бодра и снова может дежурить у постели. Но старушка и не собирается уходить.

— Иди, иди, поспи еще немножко, глупое ты дитя, а я посижу. Мне и спать-то не очень хочется. Иди, иди!

Мать Арно слушается ее; несколько минут смотрит она на своего больного ребенка, потом опять ложится.

Бабушка то и дело клюет носом, и стоит ей хоть немного забыться, как она уже видит сон; но она старается отогнать дремоту, вспоминая прожитые годы.

Да, вот оно перед ней, это прошлое: была она тогда совсем еще молоденькой хозяйкой, только недавно взяли они с Мартом хутор Сааре. Боже ты мой, семян-то у них было всего-навсего — лукошко ячменя да столько же гороха. Вот и засевай как знаешь. А покойный Март и говорит: «Не беда, из волостного амбара достанем». И достал-таки.

Прошли годы... и гляди-ка, уже и долг уплачен, и самим кое-что осталось про запас. В хлеву скотина завелась... Да какая там скотина! Две коровы и теленок. А когда хозяйке стукнуло сорок, в хлеву уже было десять коров. Везло им... Везло... Тяжело было в первые годы, но трудились без устали — соломинку к соломинке, вот из соломинок и гнездышко вышло. Как старый Март перед смертью сказал: «Бог мне помог. Хоть и не дал мне выше травы подняться, а помог...»

Не выше травы... Да, да, именно не выше травы, но ведь как раз на тех, кто вровень с травой, на этих сгорбленных от работы спинах, и поднимается жизнь все выше и выше. Могучие дубы — и те когда-то были не выше травы.

...Бабушка снова дремлет. Больной начинает метаться в кровати. Он сбрасывает с себя одеяло, бьет ногами, извивается словно червячок.

— Пить.

Бабушка подает ему чашку с водой. Арно пьет. Изо рта у него идет жаркий, дурной запах болезни. Руки стали совсем тоненькие. Хоть поел бы что-нибудь... но он ничего не ест. Разве что выпьет два-три глотка холодной воды.

— Жарко...

— Успокойся, мой маленький, скоро утро, тебе лучше станет.

— А где мама?

— Мама спит, поспи и ты немножко.

— Ой, как жарко, как жарко мне...

Но мать уже проснулась, она встает и подходит к его постели. Теперь наступила ее очередь дежурить.

Она согласна тысячу раз сама заболеть, только бы сын ее выздоровел.

— Мама, не плачь,— просит Арно.

— Я не плачу, не плачу,— отвечает мать, а у самой слезы так и текут.

«Отец небесный, почему именно он,— думает она,— почему именно он?»

Мысли ее летят навстречу неизвестному будущему, ей чудится — сын ее в гробу. Ох... почему именно он? Почему не дано ему жить, ее единственному ребенку? Почему таким еще юным... Похоронное пение... Пастор читает молитву... Шорох падающих на гроб комьев земли... «Мир праху твоему...» Теперь ему спокойно... А если бы она сейчас еще раз помолилась всей душой... со всем жаром сердца... Неужели отец небесный действительно так жесток, неужели он не сжалится над нею?..

И мать склоняется над ребенком, молится... Молится долго, долго... Окончив молитву, она чувствует, что на душе стало легче, она снова надеется, что Арно выздоровеет. Нет, господь бог не может быть таким безжалостным, он не отзовет к себе ее ребенка.

Скоро утро. В первой комнате кашляет и почесывается батрак. Зажигают свет, начинается новый день. Арно сейчас спит спокойнее, чем ночью.

XV

На четвертый день привезли врача. Он прежде всего велел убрать с окон занавески, чтобы в комнате стало светлее. Воздух здесь был спертый, поэтому доктор приказал открыть наружную дверь, а потом и дверь в горницу, чтобы из первой комнаты сюда проник свежий воздух. Так он велел делать каждый день. Затем прописал больному жаропонижающее, велел давать его три раза в день и сказал, что если не будет никаких осложнений, например, воспаления легких, то Арно скоро поправится — опасаться чего-нибудь более серьезного не следует.

Все сделали так, как велел доктор, но болезнь не проходила.

На пятый день на хутор Сааре пришел из школы какой-то мальчик. Сначала он довольно долго, не произнося ни слова, стоял в первой комнате, потом спросил, как здоровье Арно. Когда ему сказали, что улучшения пока нет, гость украдкой, боязливо глянул в сторону горницы, где лежал Арно. На вопрос хозяина, кто он такой, мальчик ответил коротко: «Я из школы».

Мать отвела его к больному. Арно в это время спал, и так как будить его не хотели, то гость долго молча стоял возле кровати, пристально глядя на спящего. Больной несколько раз сбрасывал с себя одеяло, и пришедший его проведать мальчуган поправлял постель. Когда гость собрался уходить и стал прощаться, мать Арно спросила, как его зовут.

— Тыниссон,— ответил он.

Зато ежедневно, а иногда и по два раза в день навещала Арно раяская Тээле. Возвращаясь из школы, она теперь никогда не шла сразу домой, а сначала заглядывала на хутор Сааре; войдя, она останавливалась у дверей и вопросительно смотрела в лицо матери Арно. На этом лице сразу можно было прочесть,

как здоровье больного. Обычно мать Арно отвечала ей:

— Ничего хорошего, милая Тээле. Нашему Арно пока еще нисколько не лучше.

И Тээле грустно плелась домой. Она вообще в последнее время как-то притихла. В школе тоже все это заметили, девочки перешептывались между собой:

— У Тээле жених заболел, оттого она и ходит такая печальная.

Из ребят только Тыниссон да Тээле и навещали Арно. Кистер всем строго-настрого запретил ходить на хутор Сааре: бог знает, может быть, у Тали какая-нибудь заразная болезнь. Но, несмотря на это, Тээле бывала на хуторе каждый день, несколько раз заходил и Тыниссон.

На шестой день Арно начал кашлять. Сперва кашель был не особенно резкий, но мучил он больного беспрестанно. Щеки у Арно стали багровыми и запылали от жара.

Снова приехал доктор и сказал, что надо опасаться воспаления легких. Он прописал новое лекарство, какие-то крепко пахнувшие камфорой порошки, и объяснил, как ухаживать за больным.

Для матери настали теперь трудные дни, трудные ночи. Сынок ее был между жизнью и смертью. По ночам он бредил, звал Тыниссона, Тээле, Либле, вспоминал о каком-то плоте, который утопили в реке...

Мать Арно сидит у постели сына. Она задумалась, взгляд ее блуждает где-то далеко. Перед ее мысленным взором вереницей проходят картины прошлого. И все, все они как-то связаны с ее сыном. День, когда он родился... Осень, пасмурно... Моросит дождик.

Первые дни его жизни... Крестины... Старухи тогда говорили: «Ничего, из этого мальчугана будет толк, слышь, как орет, только держись».

Его первые шаги... Первые штанишки... Она сшила их из своего передника... А он, скверный мальчишка, каждый день умудрялся их замочить, они больше сушились на изгороди, чем бывали на нем.

Боже милостивый, четырехлетним малышом он уже ходил за бабушкой по пятам и все приставал, чтоб

она рассказывала ему сказки. В пять лет он стал разбирать буквы, а вскоре научился и читать. Писать выучился так быстро, что просто не верилось... А вот как было однажды в поле. Приносит она Арно хлеб с маслом, протягивает ему и говорит: «На, кушай, ты же проголодался!» А что делает Арно? Он и крошки в рот не берет, спрашивает: «А для Мату ты тоже принесла?» Мату пас у них свиней, и Арно всегда ходил с ним. И что же он делает? Подносит хлеб с маслом ко рту Мату и говорит: «Откуси!» Мату откусывает, только после этого откусывает он сам. Так они и откусывают по очереди, пока не съедают весь ломоть.

А сейчас? Жгучая боль пронизывает материнское сердце. Сейчас этот Арно, ее маленький Арно, мучается, умирает...

XVI

Проходили недели. В конце концов Арно все-таки стал поправляться. Здоровье возвращалось к нему, правда, медленно, но возвращалось. Как только ему стало немножко лучше, для бабушки наступили хлопотные дни. Арно теперь не давал старушке покоя. Ей приходилось неотлучно сидеть у его постели и рассказывать старинные сказки. Хорошо еще, что бабушка знала их несметное множество, не то их скоро не хватило бы. Да и так запас их уже истощался: многое она и раньше не раз рассказывала Арно. Правда, большой беды в этом не было — он с удовольствием слушал одно и то же по нескольку раз. И все же в один прекрасный день бабушка оказалась в беде: ей просто больше нечего было рассказывать.

Тогда она начала так:

— Пошел мужик в лес. Выстроил дом. Сделал крышу. Покрыл ее смолой. Прилетела на крышу птица. Хвост ее увяз в смоле. Вытащила птица хвост — клюв увяз. Клюв вытащила — хвост увяз. Хвост вытащила — клюв увяз...

Бабушка рассказывала это с серьезнейшим видом. Она бы еще долго твердила одно и то же, если бы Арно, видя, что такая сказка может тянуться с утра до вечера, не рассмеялся. Рассмеялась и бабушка.

— Вот ты какая! — сказал Арно.— Я все жду и жду, что же будет дальше, а ты знай себе: «Хвост вытащила, клюв увяз, клюв вытащила, хвост увяз!» Этим не отделаешься!

Бабушка утерла платком уголки губ и снова стала рассказывать. Она оживилась, и Арно решил, что сегодня услышит длинную сказку.

— Расскажешь сказку подлиннее?

— Да погоди ты, погоди, сам услышишь, долгая она или короткая.

— Так вот,— снова начинает старушка,— пустили как-то, значит, свиней на выгон. Ну, начали там все свиньи, как полагается, кто есть, кто землю рыть, но каждая что-то делает. А один поросенок, дрянцо этакое, ни траву не ест, ни землю не роет. «Ты почему не ешь?» — спрашивает его матка. «Как же мне есть,— отвечает зазнайка поросенок,— если тут чертополох колется».— «Тогда ройся в земле»,— говорит старая свинья. «Не могу, у меня пятачок в коросте»,— верещит поросенок. Ну ладно, значит, на этот раз так и осталось, поросенок лежит себе на брюхе да греется на солнышке. А дома как начал есть, так сожрал и свою долю, и все, что для других было припасено.

В другой раз идут они опять на выгон. А визгун поросенок опять за старое. «Отчего ж ты и сегодня в земле не роешься?» — спрашивает мать. «Не могу, она мерзлая»,— отвечает поросенок, опять-таки чтоб его не бранили. Ну, тут старая свинья как рассердится, как прикрикнет на него: «Ох ты, бездельник! У него, видите ли, летом земля мерзлая! И коросты у тебя на рыле нет никакой, и земля совсем не мерзлая. Ты просто лентяй!» Делать нечего — пришлось тут поросенку землю рыть...

Арно улыбается. Но сказка эта, какая бы она там ни была, все-таки слишком коротка. Ему хотелось бы послушать сказку подлиннее. У бабушки их сколько угодно, но сейчас ей нужно идти в другую комнату чистить картошку, ей уже здесь не сидится.

— Я их тебе уже все порассказала,— говорит она.

— Ну и что с того, расскажи еще раз! — отвечает ей Арно.

— Ох ты, упрямец!

— Ну расскажи, расскажи!

Что же бабушке остается делать,— бери да рассказывай. Вот она и начинает:

— Было их там душ пять или шесть, этих малышей. Сколько же старшему могло быть — ну, лет этак десять или одиннадцать. Жили они в Альтвялья, в хибарке, а отец их только и делал, что каждый день в корчме пьянствовал. Когда приходил домой, страх какой злой бывал на всех. И пришлось бы им голодными сидеть, если б мать не ходила на работу, то к

одному хозяину, то к другому, и кое-как ребят кормила, плохо ли, хорошо ли, а кормила.

Ну вот, идет раз мимо Альтвялья мужик, рыбу продает. Мать возьми да и купи у него несколько рыбешек. Пожарила ее, а ребятишки уже окружили мать, не дают ей даже как следует рыбу поджарить, только и слышно: давай сюда скорее! Садятся есть. А тут как раз отец из корчмы пришел, пьяный, как всегда. Увидел он миску с рыбой на столе, размахнулся и — хлоп! — миска так и полетела в угол. Сам ругается на чем свет стоит и кричит: «Так вот что вы тут делаете! Когда меня дома нет, так у вас тут на столе и жареная рыбка, и всякая всячина. А когда я есть прошу, так сразу же: откуда, мол, взять?»

Пригрозил еще матери и опять ушел в корчму. Детишки вылезают из углов, собирают рыбешку и начинают есть, прямо песок на зубах скрипит. Только самый старший, Виллем, не ест. Стоит он в углу у печки, плачет, сжимает кулаки, а есть не ест.

— Почему же он не ел? — спрашивает Арно.

— Да не иначе, как разозлился на отца — зачем тот миску с рыбой в угол швырнул. Виллем ведь тоже свои сбереженные гроши матери отдал, чтоб рыбы купить. Гордый был. Так, видно, подумал: «Лучше без всего останусь, а собирать по кусочкам в углу не буду...» Так вот, стоит, значит, он возле печки и плачет. А есть не идет. Хороший был паренек Виллем. В четырнадцать лет уже пошел учиться на кузнеца. Кузнец так про него говорил: «Не было у меня еще такого смекалистого мальчишки, как этот. Не малец, а прямо огонь».

И вот гляди, что получилось. В двадцать лет Виллем уже свою кузницу имеет, работает на себя. Старик кузнец отдал ему и кузницу, и весь инструмент и сказал: «Работай теперь сам, мне уже не под силу, старость подходит. Надо будет — приду помочь». Такой вот был Виллем. Взял он к себе всех своих братьев и сестер, послал в школу учиться. Мать и отец тоже при нем жили... Не знаю, как это все там было, но как-то раз Виллем говорит домашним, что вот исполняется ему двадцать два года и надо бы по-настоящему справить день рождения. Те, правда, уди-

вились — как это так, никогда не справляли, а тут вдруг на тебе, день рождения. Да что поделаешь: Виллем сам хозяин, пусть делает что хочет.

Садятся они всем семейством в день рождения за стол и начинают есть. А Виллем серьезный такой, слова не вымолвит. Перед отцом стоит мисочка с жареной рыбой.

Сидят они, едят. Отец Виллема только собрался взять кусок рыбы из миски — тут Виллем встает, сам бледный как мертвец, и хватает в углу большой кузнечный молот. Ну, все видят, что молот вот-вот ударит по миске с рыбой, уже он близко... но нет! — опускается. Не ударил. Виллем бросает молот в угол и убегает в другую комнату. Понял, значит. Ночью подходит отец к постели Виллема и говорит: «Виллем, прости меня, я теперь знаю, что значит эта миска с рыбой». Помирились они. И тут совсем другая жизнь пошла в семье кузнеца. Виллем раньше всегда ходил хмурый, злой, а как помирился с отцом, сразу повеселел. А отец, говорят, совсем пить бросил, и зажили они счастливо. А мать Виллема сказала: «Ох и тяжелая она была, жизнь наша, а теперь, слава богу, нам хорошо. Теперь нам так, словно мы всю жизнь хорошо жили...»

Бабушка замолчала. Из другой комнаты послышался в это время громкий голос Мари; какой-то мужик, говорила она, свернул с большака и идет к их хутору. Уж она глядела-глядела, а все не может понять, кто это такой.

— Бабушка, а ты мне этого раньше никогда не рассказывала,— говорит Арно задумчиво.

— Да, как будто,— отвечает старушка.— Сейчас только припомнилось. И ведь это все правда — так и в самом деле было.

— Значит, и кузнец такой был?

— Да, был такой в наших краях. В тех местах, где мы с дедушкой раньше жили.

— Я тоже думаю, что это не может быть старая сказка. А скажи, почему он хотел отцовскую миску разбить?

— Да кто его знает. Может, хотел отцу напомнить: гляди, мол, ты тогда швырнул нашу рыбу в угол, а

теперь сам попробуй, каково это будет, еслн я твою миску разобью.

— И все-таки не разбил?

— Не разбил. Простнл отца. Не захотел его так обижать.

— Бабушка, а как ты думаешь, еслн б он разбил миску, что тогда?

— Кто его знает. Неизвестно, бросил бы тогда отец пьянство илн нет. Отец увидел, что сын его не такой плохой, каким он сам тогда был, захотелось ему угоднть сыну, вот он н бросил пнть.

— Удивительно, почему он хотел ударнть молотом, мог ведь ударнть просто рукой. И как долго он помннл! Другой бы давно уже забыл про эту мнску с рыбой. Отчего это получается, бабушка, что некоторые людн так долго помнят зло?

— Да кто как. Однн скоро забывает, другой нет. Да и нехорошо это — против другого злобу таить. Но здесь дело другое: Внллем ведь ему не отомстил. Правда, хотел отомстнть, но понял, что это нехорошо.

— А есть такне, что сразу хотят мстнть. У нас в школе...

Он внезапно умолкает, и на его бледном лице выступает легкнй румянец.

— Что там у вас в школе? — спрашнвает бабушка.

— И у нас есть такие ребята, которые сразу же мстят,— запинаясь отвечает Арно.

В первой комнате открывается дверь, кто-то входит. Арно узнает вошедшего по голосу — это Лнбле. Сегодня он, по-вндимому, опять трезв, говорит более внятно, чем обычно. «Может, его уже уволили»,— думает Арно н прнслушнвается, что скажет Лнбле. Бабушка уходит туда.

— Ну, как вы тут жнвете? — начннает Лнбле. — Как Арно, лучше ему?

— Слава богу, уже лучше,— отвечает мать.

— Ну вот н хорошо, что лучше. А то ведь он тут всех перепугал. Подумать только — так заболел, что чуть на тот свет не отправился, а той здоровенной девчонке хоть бы что — пробарахталась в реке чуть ли не целый час, н ннчего ей не делается. Ходнт в

школу как ни в чем не бывало, вот и сегодня мы с ней вместе оттуда шли.

Арно не нравится, что Либле называет Тээле здоровенной девчонкой, ведь он мог бы просто сказать — раяская Тээле. Арно продолжает прислушиваться.

Со двора в это время появляется Мари с ведром воды и, увидев Либле, говорит:

— А, звонарь, здорово!

— Будем здоровы, мадам,— отзывается Либле.

— Я все по старой памяти называю тебя звонарем,— продолжает тараторить Мари, — а может, ты уже и не звонарь вовсе. Говорят, в прошлое воскресенье кучер в колокол бил. Поди знай, может, тебе уже сказали: «Либле, па-ади прочь!» Теперь можешь веревкой хлеб резать, коли хочешь.

— Ты за меня не бойся,— отвечает Либле,— я-то буду резать как захочу — хоть веревкой, хоть пилой, а ты лучше сама смотри, как бы носом в помои не угодить!.. Сопли-то вытри!

Все вокруг хохочут, потом батрак, в свою очередь, спрашивает Либле:

— Ну, а как же все-таки, уволили тебя или нет? И верно, говорили, будто кучер уже один раз звонил в колокол.

— Уволили так уволили. Точно на свете и службы другой нет, как только в колокол бить. Работы хватит — была бы охота работать,— отвечает Либле.

— Значит, все-таки уволили?

— Ну да.

Арно ошеломлен. На щеках его снова проступает румянец, мальчик беспокойно ворочается под одеялом. Значит, случилось именно так, как он предполагал. Либле уволили из-за истории с плотом, хотя он ни в чем не виноват. Виновен Тыниссон. Нет, так этого оставить нельзя. И какой нехороший этот Тыниссон, не признался, что это он...

Сердце Арно бьется учащенно, щеки пылают, одеяло, которым он укрыт, давит его, будто оно бог весть какое тяжелое. Это ведь ужасно: человека увольняют со службы без малейшей вины. А винов-

ник... боже ты мой, ведь не один Тыниссон виноват, виноват и он, Арно.

Больной становится все беспокойнее. Когда мать, войдя в горницу, кладет руку ему на лоб, оказывается, что у него уже снова небольшой жар.

— Послушай, у тебя опять голова горячая,— говорит мать и уходит обратно в первую комнату.

— У Арно опять жар,— доносится до него голос матери.— Либле, не хочешь ли его проведать?

Либле входит в горницу. Он заговаривает с Арно очень ласково и сердечно. Арно прямо поражен, откуда у Либле, этого пьяницы и зубоскала, берутся такие слова. Когда гость направляется к двери, Арно говорит ему вдогонку:

— Либле, Либле, ты ведь ни в чем не виноват. Я знаю, кто потопил плот.

Либле вопросительно смотрит на мальчика, но видя, что тот ничего больше не хочет говорить, машет рукой.

— Ладно. Пусть будет так, Арно. Не все ли равно, кто потопил, но я им звонить больше не стану.

— Почему же? А если узнают, что ты не виноват?

— Пусть так и будет. Какая тут вообще вина! Ничего тут нет, одно упрямство кистера да пробста. Ну и пусть.

Либле уходит. Арно слышит, как отец говорит ему:

— Ну, если тебе некуда будет податься, приходи к нам. Уж мы тебе работу подыщем.

Батрак поддерживает отца:

— Да, да, приходи к нам. Как раз березы рубить надо. Пойдем с тобой в лес да как возьмемся — пила завизжит. Ты тоже парень крепкий. Тебе только и работать в лесу, чего ты с колоколом возишься.

Арно не может успокоиться. Ему не терпится поскорее выздороветь, чтобы можно было пойти в школу. Он непременно должен поговорить с Тыниссоном.

XVII

Тоотс, что ты там делаешь?

— Ничего.

— Если человек ничего не делает, то он спокойно сидит на своем месте. Что у тебя за пазухой?

— Ничего.

— Если у человека за пазухой ничего нет, то там должно быть пусто. А у тебя куртка оттопыривается. Постой, постой, там даже что-то шевелится.

Под курткой у Тоотса что-то тихо, жалобно попискивает.

— Ох, сатана, да не царапайся ты! — шепчет Тоотс, крепко прижимая левую руку к груди.

Учитель, видя, что за пазухой у Тоотса творится что-то неладное, подходит к нему.

— Покажи-ка, что у тебя там.

— Ничего нету.— Тоотс краснеет и продолжает сидеть на месте. Он бы с радостью поднялся, но именно это «ничего нету» и не дает ему двинуться с места. На лице его отражается мука.

— Но это по меньшей мере странно,— говорит учитель.— За пазухой у него «ничего нету», и все-таки это «ничего нету» шевелится и пищит. Ну-ка, покажи!

Тоотс видит, что спасения нет, и начинает расстегивать пуговицы куртки. За пазухой у него вдруг что-то начинает беспокойно копошиться — пыхтит, сопит, ищет выхода. Наконец оттуда высовывается мордочка маленького щенка.

— Ну вот, этого еще не хватало! — говорит учитель.— Завтра ты еще, чего доброго, сунешь себе поросенка за пазуху. Скажи на милость, зачем ты притащил в школу щенка?

— Кийр хотел его у меня купить.

— Неправда! Тоотс врет. Он вчера сказал, что у него есть щенок, который умеет плясать и бить в барабан. А я ему ничего не ответил.

— Как это — ты ничего не ответил? Ты же хотел его купить. Еще велел принести сегодня в школу,— обиженным тоном возражает владелец щенка.

— Прежде всего замолчите,— говорит им обоим учитель,— и слушайте, что я вам скажу. Тоотс... слышишь, Тоотс!

— Да, да, слышу.

— Как ты думаешь, что мне с тобой теперь делать?

Тоотс с грустной улыбкой глядит в угол.

— Неправда. В угол я тебя сегодня ставить не собираюсь. Я сегодня тебя вообще не буду наказывать. Обещай мне, что ты больше не станешь проказничать, и с тобой ничего плохого не случится. Обещаешь?

— Обещаю.

— Отлично. Но все-таки, чтобы вещи, которые у тебя сейчас в кармане, не вводили тебя в искушение, подойди сюда и выложи их на мой стол. Иди же, иди!

— Не хочу, ребята увидят.

— Ах, вот что? Ну ладно, тогда пусть только нам двоим будет известно, что у тебя в карманах спрятано. Пойди в мою комнату и выложи там все это на стол. Собаку тоже захвати туда; когда пойдешь домой, возьмешь и ее с собой.

Тоотс удаляется. Когда он возвращается в класс, его карманы, обычно набитые битком, висят совсем пустые.

— Все выгрузил? — спрашивает учитель.

— Все.

— Отлично. А теперь садись и постарайся быть внимательным. Когда завтра придешь в школу, не приноси с собой ничего лишнего. Слышишь? Если я что-нибудь замечу, тебе опять придется выкладывать все на стол. Возьмись наконец за ум; пересмотри дома все свое добро и не тащи в школу то, что тебе здесь совсем не нужно. Хорошо?

— Хорошо.

И произошло нечто непостижимое. До самого конца уроков Тоотс вел себя, как самый примерный ученик. Правда, между ним и Визаком произошло небольшое недоразумение, но виноват был Визак: он пытался через замочную скважину заглянуть в комнату учителя,

чтобы посмотреть, что за вещи Тоотс принес с собой в школу. Неизвестно, удалось ему там что-нибудь увидеть или нет, но своим закадычным друзьям Тоомингасу и Сымеру он, говорят, потом рассказывал, что на учительском столе было много всякого добра — две или три книжки про индейцев, несколько камешков, пара напильников, кусочки железа, два-три ножика, стальное шило, клубок ниток, пачка иголок, деревянный конек с длинной веревкой и еще много всякой всячины.

После второго урока во время перемены в класс вошел мальчик, бледный, с ввалившимися глазами. Многие сперва не узнали его, и только через несколько минут послышались голоса:

— Это Тали! Смотри-ка, Тали!

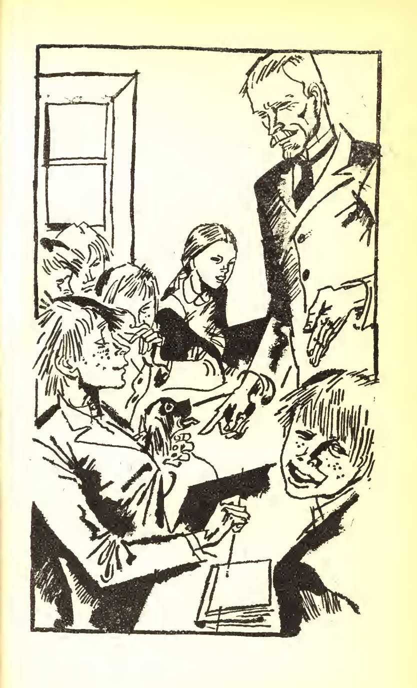
Да, это был он, Арно Тали. Он стоял окруженный ребятами, и все с изумлением смотрели на него. Но это уже не был прежний румяный, живой мальчуган; он исхудал, глаза его глядели устало. Он, казалось, и не обращал на ребят особенного внимания; взгляд его искал лишь двоих — Тээле и Тыниссона.

Его не пустили бы так скоро в школу, но он до того приставал к отцу, что старик наконец сказал: пусть идет, если хочет,— может, скорее поправится.

И вот он снова в школе. Батрак привез его сюда на лошади и обещал после за ним приехать. Был понедельник,— все домашние утром думали, что Арно сегодня еще в школу не пойдет, и Арно сначала примирился с этой мыслью. Но потом его охватило какое-то беспокойство: он непременно должен пойти в школу.

Учитель вошел в класс, поздоровался с Арно, спросил, как его здоровье, и, погладив мальчика по худенькой щеке, добавил, что лучше бы ему еще несколько дней посидеть дома и немного окрепнуть. Но в душе учитель радовался, что его любимый ученик опять в школе.

Перемена кончилась, но Арно так и не удалось поговорить ни с Тээле, ни с Тыниссоном. На следующей перемене он сразу же разыскал Тыниссона и больше не отходил от него.



Тээле заметила это и обиделась на Арно за то, что он подошел не к ней, а к Тыниссону.

В это время какая-то девочка опрокинула чернильницу и измазала ее учебник географии. Тээле расплакалась. Все удивились, что она плачет из-за такого пустяка, и никто, конечно, не догадался, что плачет она вовсе не из-за книжки, а из-за Арно.

— Уже здоров? — спросил Тыниссон, оглядывая друга.

— Здоров. Иногда, правда, голова бывает горячая, а больше ничего,— ответил Арно.

— В учении ты от нас отстал немного.

— Отстал, конечно... но я догоню.

— Ну да, для тебя это ничего не значит. У тебя память хорошая. Скоро догонишь.

На этом разговор их прервался. Вообще беседа у них как-то не клеилась. Им обоим стало даже чуть неловко. Тыниссон глядёл в сторону. У Арно на лице появилось боязливое и смущенное выражение.

— А Либле все-таки уволили... — начал он.

— Ну да...

— Что же теперь будет? Так ведь...

Тыниссон повернулся к Арно, все еще не глядя на него.

— Я думал — ты уже забыл...

— Нет, как же это... ведь это как-то... и куда же ему идти? Виноваты мы с тобой, а его увольняют.

Только теперь Тыниссон посмотрел на Арно. Слова «виноваты мы с тобой» удивили его. Откуда взялось это «мы», в то время, как виноват только он один, Тыниссон? Почему Арно так говорит?

— Да, Либле, конечно, не виноват, но...

— Я не знаю... Надо бы кистеру сказать...

— Нет! — Тыниссон покачал головой и снова опустил глаза. Арно растерянно посмотрел на него. Ему казалось, что самый правильный путь — это во всем признаться,— а там будь что будет. Но так этого оставить нельзя. Помолчав, он спросил:

— А что же нам тогда делать?

— Тебе-то ничего не будет, а меня из школы выгонят,— ответил Тыниссон.

— И меня тоже.

— А тебя за что?

— Я ведь соврал, что мы вместе ушли из школы в ту субботу... Помнишь?

— Ну, за это тебя не выгонят. А меня — наверняка.

Они снова замолчали. Ни один, ни другой не знали, что сказать. Арно стало жаль Тыниссона. Он готов был сделать что угодно, лишь бы отвести беду; у него даже мелькнула мысль — а нельзя ли все оставить так, как есть... Но вдруг по всему телу у него пробежала жаркая струя, он почувствовал, как во рту все пересохло... Быстро, словно в лихорадке, он шепнул Тыниссону:

— Нет, нет, я расскажу.

Тыниссон, густо покраснев, снова покачал головой; губы его шевельнулись, но он не произнес ни слова. Потом отвернулся к окну и стал глядеть во двор.

Прозвенел звонок, перемена кончилась. Хорошо еще, что Арно на уроке не спрашивали; он, наверное, отвечал бы невпопад. Голова его была сейчас занята одной лишь мыслью, и эта мысль так его мучила, что он ни на чем другом не мог сосредоточиться.

Уроки уже подходили к концу, а он все еще не мог прийти к твердому решению. Что-то необходимо было предпринять, но что именно, он и сам ясно не представлял себе. Как нужен был ему сейчас хороший советчик! Но кому рассказать, кому доверить свою тайну? Матери? Арно уже заранее предвидел, как поступит в таком случае его мать: если она узнает, что сынок ее тоже замешан в этом деле, она, конечно, постарается все сохранить в тайне. Рассказать отцу? Нет, отцу нельзя было говорить. Отец никогда не позволил бы сыну врать. Отец его в этих вещах очень строг. Что же остается? Да опять-таки одно-единственное: пойти домой и чистосердечно признаться матери. Может быть, она все же придумает способ все так объяснить и устроить, чтобы ни его, ни Тыниссона не исключили из школы. Но тогда дело это затянулось бы еще дня на два, на три. А ведь Арно так ждал момента, когда сможет опять пойти в школу и сейчас же, немедля, сознаться, что виноват и он сам, и Тыниссон.

После уроков Арно опять подошел к Тыниссону. Тот в это время заворачивал в платок свои книжки. Арно несколько минут наблюдал за ним, не говоря ни слова. Потом вдруг выпалил решительно:

— Пойду сейчас и расскажу все кистеру.

— Иди! — помолчав, тихо ответил Тыниссон.

Такого ответа Арно не ожидал. Ему опять стало жаль Тыниссона. Он чуть было не начал объяснять ему, что даже если их и выгонят, это не такая уж беда — можно ведь поступить в какую-нибудь другую приходскую школу; но Тыниссон посмотрел на него такими злыми глазами, что он промолчал. Ему подумалось: начни он сейчас еще что-нибудь говорить — Тыниссон скажет: «Что ты болтаешь, ведь этим делу не поможешь. Иди!» И Арно пошел. С сильно бьющимся сердцем, на цыпочках прошел он через переднюю, отделяющую класс от кабинета кистера, и, остановившись у дверей, прислушался. Кистер сидел за письменным столом. Арно ясно слышал, как поскрипывает по бумаге перо, как шелестят страницы книги. Он обдумывал, с чего ему начать. Это казалось неимоверно трудным, гораздо труднее, чем признать свою вину. Только бы начать, потом уж пойдет, но вот начало...

Он попробовал составить в уме первые фразы: «Я пришел сказать, что Либле ни в чем не виноват. Плот потопил Тыниссон. Я тогда соврал, будто мы вместе пошли домой».

В это время кто-то вошел в кабинет из других дверей, и Арно показалось, что шаги приближаются к той двери, за которой он стоял. Теперь нужно было на что-то решиться — либо войти, либо убежать. Войти у него не хватало смелости. Он ведь думал, что успеет еще немного подготовиться, а теперь получилось так, что надо было сразу предстать перед кистером.

Арно как ужаленный отбежал от дверей, к классной комнате. В то же мгновение дверь классной отворилась, и Арно стремглав полетел прямо в чьи-то объятия.

— Ну, это что такое? — спросил человек, на которого он натолкнулся.

Арно поднял глаза и покраснел от стыда. Перед ним стоял учитель. Арно так ничего и не смог ответить и продолжал растерянно стоять у дверей. Когда же учитель с удивлением вопросительно посмотрел на него, он не смог выдержать его взгляда и громко расплакался.

Лаур не знал, что ему и думать об этом мальчугане. Вот уже второй раз Арно, как только учитель с ним заговаривал, сразу начинал плакать. Но сейчас учитель решил, что не отпустит его так легко, как тогда у реки. Он провел мальчугана к себе в комнату через другую дверь, чтобы им не пришлось проходить через классную, и усадил его на стул. Сам сел возле него и положил ему руку на плечо.

— Что с тобой, Арно, в самом деле? Тебя что-то мучает. Почему ты мне не скажешь?

Но Арно не успел еще ответить, как из классной кто-то вошел. Это был Тоотс — он явился за своими вещами и за своим «львом». Увидев, что и Арно здесь, он слегка опешил и остановился.

— Что, Тоотс, собираешься домой? — спросил учитель.

— Собираюсь.

— Ну, ну, иди. Забирай свои вещи и будь послушным мальчиком: завтра не бери их с собой. Я только что пересмотрел их и, поверишь ли, не нашел ни одной вещи, которая была бы тебе нужна в школе. Возможно, это все очень хорошие и полезные вещи, но дома, дома, а не здесь. Обещаешь сделать так, как я говорю?

— Обещаю.

— Серьезно, Тоотс? А ну-ка, посмотри мне в глаза. Если ты не уверен, что сможешь, так лучше скажи сразу. Главное — говори правду.

— Смогу, вот увидите!

— Ладно. Я тебе верю. Будь же мужчиной и сдержи свое слово. И еще одно: постарайся лучше учиться. Если ты и не справишься со всеми уроками, не беда. За это я тебя наказывать не буду. Главное — то, что учишь, старайся выучить хорошо.

— Я на завтра половину урока выучу по русскому языку.

— Прекрасно, выучи половину. Но главное — хорошо.

— А если я две задачи не успею решить, так можно одну?

— Можно. Хорошо, если и одну решишь. Решай столько, сколько сможешь. Но списывать у других, а потом мне лгать, будто сам решил,— этого никогда не делай. Значит, так и условимся?

— Да.

Тоотс рассовал свое добро по карманам; он сейчас и в самом деле казался чуть серьезнее, чем всегда. Ласковый, сердечный тон учителя все же на него повлиял.

Как видно, слова учителя проняли и его, толстокожего. Собираясь уходить, он попрощался с учителем вежливее, чем обычно: но тот вдруг позвал его обратно.

— А щенка-то, щенка своего забыл?

— Ах да! — спохватился Тоотс и стал искать собачонку.

Но собака как в воду канула. Ее нигде не было. И сам учитель, и Арно, уже переставший плакать, помогали Тоотсу в поисках. Тоотс, залезая под кровать, звал:

— Цуцик, цуцик! Куть-куть-куть!

Но цуцика нигде не было.

Потом собачонку все же нашли на кровати учителя под подушкой: она спала безмятежным сном, укрывшись здесь от всех мирских тревог.

Когда Тоотс ушел, Лаур снова обратился к Арно.

— Ну так как же, Арно? Ты ведь обещал мне рассказать, чем ты расстроен. Знаешь, что бы там ни было, не бойся ничего. Смотри на меня как на друга, которому можно поведать все свои горести. Я не стану тебя наказывать или бранить, об этом даже и не думай. Ну, будь хорошим мальчиком, расскажи!

Арно все еще медлил с ответом, но продолжалось это недолго — вскоре он заговорил; доброе слово и вражью силу ломит. Да и почему бы ему не рассказать все своему учителю? Ведь тот всегда был так ласков и приветлив с ним. Потом Арно и сам удивлял-

ся, как ему сразу не пришло в голову пойти к учителю. К кистеру он теперь ни за что не пошел бы.

— Я хотел про плот сказать... Тот самый плот, что в реке потопили... я... это не Либле его потопил.

Первые слова он произнес запинаясь, но с каждой минутой все больше смелел и речь его становилась более складной.

— Плот? Откуда ты знаешь, что не Либле его потопил? — спросил Лаур.

— Я знаю... Я пришел сказать, что... что... я тогда соврал, будто мы с Тыниссоном вместе ушли домой. В ту субботу, когда мы оставались здесь вдвоем... Плот потопил...

Тут речь Арно оборвалась. Ему было страшно выдавать товарища.

— Как, как? Я не понимаю, что ты хочешь сказать, Арно. Что такое ты соврал и кто потопил плот? Говори яснее, не бойся, — поддержал его учитель, видя, что Арно снова стал запинаться.

— Я соврал, будто мы вместе домой пошли. Когда я ушел, Тыниссон еще оставался здесь.

— Ну хорошо, ты соврал, но разве это такая уж большая беда? Ах, так... неужели ты хочешь сказать, что... это Тыниссон потопил плот? Неужели это Тыниссон?

— Да, Тыниссон. — Арно низко опустил голову. У него было сейчас такое лицо, будто он признался в собственной вине. Глаза его снова наполнились слезами, он готов был расплакаться.

Учитель с минуту удивленно смотрел на своего ученика, потом начал тем же дружеским тоном:

— Откуда ты это знаешь, Арно?

— Мне Тыниссон сказал.

— Так. А говорил он тебе, зачем он это сделал? Или погоди... Тыниссон уже ушел домой?

— Нет. Тыниссон в классной. Он, наверно, меня ждет.

— Ты хотел сказать обо всем этом кистеру? И сказал уже?

— Нет.

— Почему?

— Духу не хватило. Страшно стало.

— Ага, теперь я понимаю — когда ты попался мне навстречу, ты шел от дверей кистерского кабинета. А туда ты не заходил?

— Нет.

— Хорошо. Но прежде всего успокойся, Арно. Не плачь, слезами не поможешь. Лучше расскажи мне все по порядку, тогда посмотрим, может быть, придумаем, как это дело уладить.

— Теперь нас с Тыниссоном выгонят из школы.

— Да ну тебя, глупенький! Кто тебе сказал, что вас выгонят? Как вообще могла тебе в голову прийти такая мысль?

— Я так подумал.

Учитель на минуту призадумался, затем встал и открыл дверь в классную. Остановившись в дверях, он спросил:

— Тыниссон еще здесь? — Но тут же, увидев Тыниссона, сказал:

— Ага... поди-ка сюда, Тыниссон!

Тыниссон вошел и стал у дверей. Учитель пристально посмотрел на него, потом начал:

— Слушай, Тыниссон, скажешь ли ты мне всю правду, если я тебя кое о чем спрошу?

— Скажу,— глухо, но решительно ответил тот.

— Хорошо. Подойди поближе, садись на этот вот стул и поговорим. Так. Это ты потопил плот мальчиков с церковной мызы?

— Я.

Краснощекий Тыниссон покраснел еще сильнее и опустил глаза. Видно было, что, сидя здесь, он чувствует себя очень неловко. Он все время ерзал на стуле и уселся, наконец, на самый краешек.

— Почему ты это сделал?

Молчание. Ни звука. Учитель взял со стола разрезной ножик и стал его сгибать между пальцами, словно хотел проверить его прочность. В то же время он не спускал глаз с Тыниссона.

— Почему ты молчишь? Ты же обещал ответить на мой вопрос и сказать правду. Скажи, почему ты это сделал?

— А чего они к нам во двор лезут драться? — ответил наконец Тыниссон, вертя пуговицу своей куртки.

— Вот как? Значит, ты хотел им отомстить. Мстить вообще нехорошо, но пусть будет так. А скажи, Тыниссон, почему ты отпирался, когда тебя спросили, не ты ли это сделал?

Лаур на мгновение задумался, потом спросил снова:

— Отчего ты не пришел сам и не сказал, что виноват ты, когда узнал, что звонаря увольняют с работы? Неужели тебя совсем не мучила совесть, что из-за тебя другой теряет место?

— Конечно, мучила.

— И все-таки ты ничего не сказал. А ты вообще признался бы, если бы Тали не пришел и не рассказал все?

— Не знаю.

— Говори правду, Тыниссон. Ты, конечно, знаешь, как бы ты поступил. Я думаю, что ты ничего не сказал бы. Скажи сам, откровенно, как обещал,— пришел бы ты ко мне и рассказал бы все или нет?

— Нет.

— Ну, так. Это, по крайней мере, честное признание. А ты возражал, когда Тали сказал тебе, что пойдет и расскажет?

— Да.

— Ах, нет! — волнуясь, вмешался Арно.— Правда, сначала он говорил, что не стоит идти, а потом сам сказал — иди!

— Ну вот, тем лучше,— заметил учитель, внимательно глядя в лицо Тыниссону.— Ты все же увидел и понял, что нельзя это дело так оставить? Не правда ли?

— Да.

— Ладно, больше я тебя допрашивать не буду. Ты ведь раскаиваешься, что так поступил?

— Да.

— Я тоже думаю, что раскаиваешься, так и должно быть. Очень хорошо. Мне этого достаточно, Тыниссон. Иди теперь домой, готовь уроки и не вешай голову. Я уже ради Либле улажу все это дело; наказания тебе бояться нечего. Я не буду тебя наказывать: я уверен, что ты все равно никогда больше так не сделаешь. А ты, отчего ты так приуныл?

Лаур обернулся к Арно.

— А-а, понимаю, тебе больно, что ты вынужден был пойти жаловаться на своего друга. Арно, Арно, я на твоем месте сделал бы то же самое. Тыниссон доверил тебе свою тайну, и ты его не выдал. Я уверен, что ты об этом никому еще не говорил, кроме меня. Верно?

— Нет, не говорил.

— Я это знаю. И, придя ко мне сейчас, ты поступил очень правильно. Ты пойми, ведь теперь и Тыниссону стало ясно, что дела этого так оставлять нельзя, и он сам согласился, чтобы ты пошел и все рассказал. Нет, нет, тебе печалиться нечего, ты сделал именно то, что тебе и следовало сделать. Ты думаешь, Тыниссон сердится на тебя? Тыниссон, ты же не сердишься на Тали?

— Да нет. Чего мне сердиться?

Лицо у Тыниссона постепенно прояснялось. Хмурое, даже чуть злое выражение его исчезло, и он довольно смело и открыто поглядывал то на учителя, то на Арно. Арно сидел, опустив голову, потупив глаза. Ему было грустно, он и сам не отдавал себе отчета, почему. Раньше он думал — какое было бы счастье, если бы удалось избавиться от всей этой истории с плотом, так терзавшей душу; но теперь, когда все уже осталось позади, на сердце все-таки было тяжело.

— Послушай, Арно,— сказал Лаур, беря мальчика за руку и тихонько встряхивая, словно желая его вывести из забытья.— Тыниссон вовсе не сердится. Он тебе такой же друг, как и раньше. Не грусти. Или тебя еще что-то угнетает? Ах да, ты же прежде всего обвинял самого себя. Но скажи — когда ты говорил, что вы из школы ушли вместе, ты уже знал о тайной проделке Тыниссона?

— Да нет, Тали, тогда еще ничего не знал, я ему только потом сказал,— вмешался Тыниссон, снова чуть краснея.

— Ну вот,— произнес учитель,— ты даже не знал, для чего, собственно, ты лжешь?

— Это я ему велел,— ответил вместо Арно Тыниссон.

— Ну, тогда это была, значит, до того невинная ложь, что другой такой, пожалуй, и не сыщешь. Нет, из-за нее действительно не стоит огорчаться,— сказал учитель.

После этого он отправил мальчиков домой. Уже в дверях он добавил:

— О Либле вы не беспокойтесь. Либле в следующее же воскресенье снова будет так бить в колокол, что только держись. И не бойтесь, никто об этой истории не узнает. Никто не узнает, если только сами не разболтаете.

Мальчики вышли из комнаты учителя. Ребята, находившиеся в это время в классной, посмотрели на них с удивлением, и, конечно, многим хотелось бы расспросить, в чем тут дело, но Арно и Тыниссон, не дав им даже опомниться, быстро прошли через классную. У ворот школы уже стояла лошадь. В санях высился весь закутанный в теплый тулуп бугорок — это была Тээле; рядом с лошадью стоял, покуривая, их батрак. Арно обернулся, чтобы попрощаться с Тыниссоном, но тот уже ушел своей дорогой. Из-за угла школы видно было, как он торопливо шагает по направлению к своему дому. Арно подошел к воротам, где его ожидали: в сердце его закралась новая забота — не рассердился ли все же на него Тыниссон?

Домой они поехали не сразу. Батрак сказал, что ему нужно еще заглянуть в лавку, поэтому сначала поехали туда. Батрак зашел в лавку, Арно и Тээле остались в санях. Оба молчали, каждый ждал, когда заговорит другой.

Из трактира, стоявшего невдалеке, вышел, пошатываясь и сердито ругаясь, какой-то человек, с минуту постоял посреди дороги, потом, выписывая зигзаги от одной придорожной канавы к другой, поплелся к лавке. Со стороны лавки шли двое каких-то мужиков. На полпути, но поближе к лавке, чем к трактиру, они встретились с Либле, и между ними произошел такой разговор.

— Смотри-ка, звонарь сегодня опять нализался, так и тянет его в канаву,— сказал один из мужиков.

— А то как же,— ответил другой.

Потом первый мужик сказал:

— Здравия желаем, господин Libле!

— Здравия желаем, здравия желаем, здрр... ав-вия...— ответил Libле.

— Куда это ты собрался?

— В пекло!

— Вот дурак, в пекло собрался. Чего тебе туда? На земле места не хватает, что ли?

— Не ваше дело, ик! Каждый может идти куда хочет. Я те-тебя р-разве спрашиваю, куда ты идешь, ик!

Libле остановился и вызывающе взглянул на собеседников.

— Во, во, важный какой! — сказал второй мужик.

— Важный, точно он бог весть кто.

— А сам иной раз такие штуки выкидывает, как дитя малое,— плот у мальчишек потопил,— заметил первый из мужиков.— Я бы ни за что перед всем приходом так срамиться не стал.

— Фу-ты, фу-ты, гляди-ка, до всего ему дело? Чего тебе, по правде говоря, от меня надо?

Libле шагнул к мужикам, готовясь вступить в драку.

— Ну, ты, на рожон не лезь! Драться мы с тобой не станем. Иди себе подобру-поздорову. Иди, может, еще что-нибудь на дно пустишь,— сказали мужики и быстро зашагали к трактиру.

Услышав это, Libле еще больше разозлился. Грозя кулаком вслед удаляющимся мужикам, он продолжал шуметь:

— А-а, вот вы как! Откуда такие объявились — меня попрекать!.. Ишь ты!.. Туда же!.. Гляди-ка лучше, как бы я тебя самого не утопил! Да-да, в прорубь — и делу конец! Этому ведь я теперь здорово научился, ик!

— Какой все-таки этот Libле ужасный человек,— прошептала Тээле, поворачиваясь к Арно настолько, насколько позволял тулуп, в который ее закутали.

— Почему ужасный? — спросил Арно.

— А как же не ужасный. Все время пьянствует и шатается кругом. Говорят, пастор его выгнал.

— Ничего, возьмет обратно.
— Не возьмет.
— Возьмет.
В это время из лавки вышел батрак, уложил в сани, в ноги Арно и Тээле, несколько пачек табаку, поправил на лошади хомут, вытащил из-под него гриву, чтобы лошади больно не было, когда поедут, и сани тронулись. Либле, к этому времени добравшийся уже до лавки, крикнул им вдогонку:
— Эгей, земляк! Постой, возьми и меня. Эге-е-ей!
Но батрак сделал вид, будто он глух и нем от рождения.

XVIII

Арно все-таки был еще очень слаб. Болезнь подорвала его силы, и он все никак не мог окрепнуть. Однажды, когда они с Тээле возвращались домой и началась сильная метель, он уже на полпути почувствовал такую усталость, что не в состоянии был двигаться дальше; он опустился на снежный сугроб и, печально улыбаясь, сказал:

— Не могу больше.

Тээле остановилась возле него. Ей было непонятно, как это можно так быстро устать.

Ветер завывал и гудел в проводах и вокруг телеграфных столбов, на дороге то тут, то там наметало огромные сугробы.

— Отдохни немножко, может быть, тогда сможешь идти,— помолчав, сказала Тээле.

— Может, смогу,— ответил Арно все с той же усталой, печальной улыбкой. Ему было так хорошо сидеть в сугробе; слегка откинувшись на спину, он сказал Тээле:

— Садись и ты!

Но Тээле села не сразу. Она переминалась с ноги на ногу, поправляя на голове платок. Потом заметила:

— Нам здесь долго нельзя оставаться, скоро совсем стемнеет!

— Ну и что ж! — ответил Арно.

— Страшно будет домой идти.

— Почему страшно? Кого ты боишься?

— Да не боюсь, а все как-то не по себе. Попробуй, может, поднимешься?

Но Арно и не пытался встать. Ему было так хорошо здесь на снегу, что он с наслаждением заснул бы. Его даже немного сердило, что Тээле зовет его. Им овладело сейчас то же чувство расслабленности, что и тогда, осенью, когда он стоял на берегу реки, у самой

воды. А завывание ветра — оно было словно колыбельная песня. Глаза его невольно стали слипаться.

— Отчего ты не сядешь? — спросил он Тээле.

— Не хочу сидеть,— ответила она, но все-таки села.— А если кто-нибудь пройдет и увидит, что мы так тут сидим...

— Ну и что?

— Испугается,— ответила Тээле чуть смущенно.

— Ты сядь сюда, я тебя заслоню, тогда ветер не будет продувать,— проговорил Арно, не отвечая на ее замечание, что прохожие, увидев их, могут испугаться. Да и откуда могли взяться прохожие — кругом, сколько хватал глаз, не видно было ни души.

— О, ветра я не боюсь.

— Ну и ладно. У тебя пальто, на мне тулуп. Мне ни капельки не холодно. А тебе холодно?

— Нет.

Помолчав немного, Арно снова попросил Тээле сесть поближе. Та села. Теперь они сидели вплотную друг к дружке.

— Долго мы будем так сидеть? — спросила наконец Тээле.

— Сколько захотим. Ты скажи, когда тебе станет холодно.

— О, мне-то не станет, а вот ты как бы не прозяб. Ты ведь еще не поправился как следует, скорее продрогнешь. Ты, видно, еще не совсем здоров, иначе так скоро не уставал бы.

— Я совсем здоров. А скажи, тебе было бы жалко, если бы я умер?

Так как Тээле ему сразу не ответила, он повторил свой вопрос.

— Скажи — было бы жалко?

— Конечно, было бы.

— И ты плакала бы?

— Да ну тебя! — отмахнулась Тээле улыбаясь.— Откуда я знаю, что я тогда делала бы?

— Как не знаешь? А я вот знаю — если бы ты умерла, я бы...

— Плакал?

— Да.

Со стороны кладбища сквозь ветер и вьюгу донеслись голоса и лай собак. Надвигались сумерки.

— Слышишь, на кладбище кто-то есть,— испуганно проговорила Тээле.

— Нет там никого,— вяло ответил Арно.— Это на хуторе Уду. Он как раз за оградой. Кто в такую погоду на кладбище пойдет.

— А я уже испугалась, подумала — там бог знает кто.

— Никого там нет. Ты что думаешь, там привидения?

— Нет, привидений я не боюсь, а все-таки... кладбище... да и темнеет уже.

— Ну и что с того. На кладбище бояться нечего. Летом я один ходил на могилу к дедушке да там на скамейке и заснул. Проснулся — вокруг уже темно. Прислушался, нет ли кого, а кругом так тихо, что...

— И ты не боялся?

— Нет. Сначала вроде страшно было, а потом ничего. Если бы в другой раз пришлось туда пойти, я бы уже ни чуточки не боялся. Да и чего бояться? Ничего там нет.

— Но все-таки говорят, будто там видели...

— А, не знаю.

— А наша бобылка[1] будто бы один раз видела какого-то человека в черной одежде, наклонился он над могилой, а у самого полы так и развеваются. Она перепугалась, пустилась бежать, а потом говорила: «Не убеги я оттуда, кто знает, что бы он со мной сделал». Как ты думаешь, Арно, откуда он взялся?

— Ну, может, стоял какой-нибудь человек около могилы. Ветер ему полы развевал, вот и все... Это же еще не значит, что там было привидение. А иногда просто померещится; вот попробуй в сумерки, как сейчас, долго смотреть на одну и ту же вещь — и вдруг покажется чье-то лицо, или какой-нибудь зверь, или... Но когда смотришь, ни о чем не думай, только смотри и глазами не моргай. Глаза у тебя станут тяжелые,

---

[1] Бобыль — крестьянин, который сам не имел земли, а жил на земле, купленной или арендованной другим крестьянином. *(Прим. пер.)*

странные, тогда и увидишь такое, что сама не поймешь. А ты смотрела когда-нибудь на облака? Иногда бывает облако — прямо как человек, а то будто животное... лошадь, повозка.., всякое там бывает. Ты видела?

— Сама я не смотрела, а другие говорят, будто видели.

— Неужели ты никогда на облака не смотришь?

— Нет, не смотрю. А что мне смотреть, у меня и времени нет на них смотреть.

— А что же ты делаешь, что у тебя времени нет?

— Ты разве не знаешь, что я делаю,— я матери по хозяйству помогаю.

Тээле произнесла эти слова — «по хозяйству помогаю» — с очень важным видом и бросила на Арно взгляд, в котором можно было ясно прочесть: «Конечно же, в хозяйстве помогаю — кто мне позволит шататься без дела, как тебе».

— Но не вечно же ты хозяйничаешь? — спросил Арно таким тоном, словно ему было жаль Тээле, которую постоянно заставляют работать.

— Если не хозяйничаю, то учусь,— быстро ответила девочка.

— А так, просто?

— Как это — так, просто?

— Да так... чтобы просто посидеть и подумать.

— А что мне еще думать!

— Ну, вот когда лампа в комнате горит, не случалось тебе видеть, какие удивительные тени появляются на стене? Позавчера вечером — или когда это было? — смотрю... на дверях как будто мамино лицо. Это от большого платка так падала тень, что получалось мамино лицо.

— И чего ты только не видишь!

— А почему бы мне не видеть? Но вот отчего ты ничего не видишь?

Наступило молчание. Арно, которого уже наполовину занесло, чуть пошевелился, счищая с груди и рукавов снег. Тээле же беспокойно вертелась, изредка поглядывая на мальчика. Наконец она решительно поднялась и, стряхивая с себя снег, сказала:

— Ну, пойдем уже. Больше тут сидеть нельзя, а то совсем стемнеет, ни зги не видать будет, заблудимся еще. Идем!

— Пойдем на кладбище, я покажу тебе могилу моего дедушки,— ответил Арно, поднимаясь.

Тээле с изумлением взглянула на него. Вот какой он, этот Арно: сам устал так, что и домой дотянуться не может, а хочет еще на могилу дедушки идти.

— Нет, я не пойду,— ответила она.

— Почему?

— Не пойду.

— Боишься?

— Все равно, а только не пойду.

— Не пойдешь — и не надо, я тебя особенно и не прошу. А скажи, Тээле, тебе было бы жалко, если бы я умер?

— Смешной какой ты сегодня, Арно. Почему же не было бы жалко? Конечно, было бы. Ну, теперь вставай и пойдем.

— Не могу,— сказал Арно улыбаясь.

— Дай руку, я тебе помогу.

Тээле протянула руку и помогла ему подняться. Потом она отряхнула с него снег, и они пошли по дороге.

— Как темно уже,— сказала Тээле.

Когда они дошли до развилки дороги, где Тээле надо было поворачивать к своему дому, Арно захотел ее проводить до ворот хутора Рая, как тогда, осенью. Но Тээле не согласилась.

— Да ну тебя, самому еще вон как далеко идти! Когда же ты домой доберешься, если меня еще пойдешь провожать?

— А я от вас пойду напрямик, через поле.

— Не говори глупостей! Это тебе не осень, когда по меже можно пройти. На поле сейчас такой снег, что ты совсем увязнешь. Будь хороший мальчик, иди прямо домой!

— Ну если ты так хочешь, я пойду.

— Да, иди!

— Я буду тебя здесь ждать утром.

— Ладно, только очень рано не приходи, а то озябнешь.

Они расстались, каждый пошел своей дорогой. Арно несколько раз оглядывался в сторону хутора Рая, пока темный комочек, двигавшийся по дороге, удаляясь, совсем не исчез во мгле. На душе у Арно опять стало грустно. Пока Тээле была с ним, как сейчас, когда они сидели у дороги, ему было хорошо, он не грустил, но стоило ей уйти... Он и сам не понимал, что это такое. Ему казалось, что когда Тээле с ним, он счастливее всех на свете. Даже не так уж важно разговаривать с ней, достаточно того, что она рядом.

XIX

Лаур внимательно следил за Арно и заметил, конечно, что мальчик стал все чаще грустить. Так вот оно и получалось: Арно хорошо учился и был во всех отношениях примерным, но что толку — все же, несомненно, такому мальчишке, как Тоотс, за которым, кроме веселого нрава, почти никаких хороших качеств не водилось, жилось гораздо легче, чем Арно. Если так будет продолжаться, из Арно выйдет грустный мечтатель, которого жизнь будет бросать из стороны в сторону, как лодку, лишенную руля. А Тоотс, взбалмошный и беззаботный, вечно ходивший задрав нос, лавировал среди самых трудных житейских обстоятельств с такой легкостью, точно это для него было все равно, что взять да выкупаться в речке. Но что же делать ему, учителю, чтобы наставить Арно, этого странного мальчугана, на правильный путь? Прежде всего, конечно, нельзя было давать новую пищу его печальным настроениям, как это делал кистер своими вечными издевательствами и наказаниями. А затем — настроить мысли мальчика на что-нибудь другое, более веселое.

Однажды незадолго до рождества Тоотс во время урока русского языка стал не отрываясь смотреть в окно. Учитель не раз делал ему замечание. Так все же не годится, говорил он Тоотсу, нельзя так увлекаться посторонними предметами; но видя, что слова его не оказывают никакого действия, спросил наконец:

— Что же там, собственно, такое, Тоотс? Почему ты так упорно смотришь во двор?

— Нет... ничего там нет,— ответил тот.

— Ты мне не говори, что-то там есть, иначе ты так не смотрел бы. Скажи лучше, не то мы с тобой опять поссоримся.

— Здорово тает на улице.

— А-а! Но почему тебя это так интересует?

— Да вовсе не интересует; я просто так...

— Конечно, интересует; ты, наверное, думаешь — вот хорошо бы сейчас налепить снежков и устроить битву, верно? Ну-ну, признавайся.

— Верно.

— Ну вот видишь, как мы прекрасно понимаем друг друга. Но сейчас, будь добр, сиди спокойно и слушай внимательно, как только можешь. Снежная битва — не волк, в лес не убежит. Если будешь молодцом, мы в обеденный перерыв поиграем в войну. Согласен?

— Согласен.

До обеда Тоотс сидел неподвижно, как пень, зато потом, когда разразился снежный бой, он дрался как лев.

Сражающиеся разбились на два лагеря. Ребята, расположившиеся в крепости Плевна, то есть на склоне холма, выбрали себе командиром самого учителя. Другой лагерь, разместившийся у подножья холма и изображавший русских, произвел в генералы Тыниссона.

Лауру хотелось, чтобы Тали находился как можно ближе,— так легче было за ним наблюдать: но Арно уже перекочевал в лагерь неприятеля и стоял сейчас рядом с Тыниссоном. Учителя обрадовало уже то, что Тали сам, не ожидая, пока его позовут, присоединился к ребятам.

Сначала Тыниссон отказывался принять на себя «командование»: «Да ну, что я...— говорил он,— выберите Тоотса, он лучше сумеет»,— но когда ребята начали настаивать, он наконец дал свое согласие.

Все было готово, вот-вот должен был начаться жаркий бой. Но один вояка все еще колебался — к какому лагерю ему примкнуть. Это был Тоотс. Он стоял между отрядами противников и растерянно поглядывал то в одну, то в другую сторону.

— Ну, Тоотс, иди сюда, что ты там еще смотришь, шею вытянул,— кричали ему снизу.

— А вы кто такие? — сурово спросил Тоотс.

— Русские, ясное дело. Иди, иди же к нам!

— К русским я не пойду. А те кто — там, наверху?

— Турки, турки... Ты что, дурень, разве не знаешь — это же Плевна.

Тоотс сморщил нос: ему не нравился ни один ни другой лагерь. Будь это индейцы и кентукские ребята — тогда совсем другое дело, тогда у индейцев сразу прибавился бы еще один страшный противник, а то — русские и турки!

— Тоотсу хочется быть индейцем! — крикнули снизу.

— Да ну тебя, разве он захочет быть индейцем! — возразили с другой стороны.— Он же Кентукский Лев! Он ищет своих кентукских воинов. А ну-ка, держись, Кентукский Лев!

В этот же миг снежок, брошенный из турецкого лагеря, попал Тоотсу прямо в рот. Он как раз собирался что-то сказать, должно быть, хотел ответить на насмешки ребят, но жестокий комок снега, брошенный чьей-то еще более жестокой рукой, залепил ему рот. Он смог только произнести раза два: «Ох-ох!» — и стал откашливаться.

Зато теперь он твердо решил, куда ему идти: ком был брошен с турецкой стороны, значит, турки сами искали с ним стычки. Ну что ж? Они скоро отведают его железного кулака!

Бой начался. Со свистом пролетели первые ядра. Противники были еще довольно далеко друг от друга, так что большая часть снарядов пошла на ветер, но чем ближе «русское войско» подступало к крепости, тем яростнее становилась битва и снежки все точнее попадали в цель.

Тыниссона сначала довольно трудно было растормошить, но теперь он весь был охвачен воинственным пылом. Он как бешеный лез вверх по склону холма, словно и не замечая, что его оттуда забрасывают снежками.

Лаур искал глазами Тали в толпе наступающих. Арно был все еще рядом с Тыниссоном и тоже, видно, увлечен сражением. И все же далеко ему было до Тыниссона. Тот воевал с таким азартом, словно дело шло о его жизни, Арно же всякий раз, когда получал удар снежком, тихо улыбался. Когда наступающие

взобрались на холм, Лаур очутился лицом к лицу с Арно.

— Сдавайся, Тали! — крикнул Лаур.

— Не сдамся, не сдамся! — весело смеясь, крикнул в ответ Арно. Они стали забрасывать друг друга снежками. Снежок Арно угодил Лауру в лоб, а брошенный Лауром снежок со свистом пролетел мимо Арно. Это еще больше развеселило мальчика, а увидев, как учитель, пыхтя и фыркая, отряхивает снег с бороды и вытирает глаза, он чуть не скорчился со смеху.

В ту же минуту другой отряд наступающих под командой Йоозепа Тоотса атаковал гарнизон крепости с тыла. В воздухе прокатилось громкое «ура», и на несчастных защитников крепости с двух сторон обрушился град снежков. Снежки летели им в спину, в голову, за воротник, всюду, куда попало. Тоотс был воплощением львиной силы и отваги. Рядом с ним рысцой трусил Кийр, точно оруженосец: в руках у него была картофельная корзина, наполненная готовыми снежками,— Тоотсу оставалось только вытаскивать их и кидать. Турки были окружены и бросились врассыпную; одни обратились в бегство, другие сдались в плен. Победа досталась русским.

— Ну, кто же этот хитрец, который окружил нас? — смеясь, спросил Лаур, видя, что сопротивляться бесполезно.

— Тоотс, Тоотс! — наперебой закричали ребята.

А Тоотс, как и полагается герою, гордым шагом, выпятив грудь, расхаживал взад и вперед среди своих бойцов, отдавая еще кое-какие команды и распоряжения.

— Ишь ты, какой Скобелев выискался! — засмеялся учитель.— Мы бы легко отбили атаку, а он тут как тут, с тыла навалился. Ну подожди же ты, Скобелев, давай еще один бой устроим!

Эти слова были встречены шумным ликованием. Тотчас же заработали десятки проворных рук — все снова принялись лепить снежки. В обоих лагерях были свои оружейники — их обязанность только и заключалась в заготовке боеприпасов. В войске Скобелева были и другие отряды. Одни бойцы, конечно, самые ловкие, должны были только бросаться снежками,

другие снабжали армию боеприпасами, а третьи были лазутчиками, то есть следили за тем, пора ли начать наступление; кроме того, были здесь и артиллеристы. Эти скатывали огромный снежный ком, поднимали его на руках и затем под прикрытием солдат, бросавших снежки, врывались в самую гущу врагов и обрушивали на их головы свой снаряд. Маневр этот имел то преимущество, что, когда бросали такую снежную громадину, доставалось сразу нескольким неприятелям.

Новое грандиозное сражение, по настойчивому требованию Тоотса и еще нескольких ребят, которых, конечно, только он и сумел на это подбить, должно было изображать битву между краснокожими и поселенцами. Один бог знает, откуда Кентукский Лев притащил так много красной и синей бумаги, но, во всяком случае, ее хватило для всех солдат — каждый прикрепил себе на грудь по кусочку красной или синей бумаги; краснокожие получили красный значок, поселенцы — синий. Да никого особенно и не заинтересовало бы, откуда Тоотс достал бумагу,— все были слишком заняты. Но тут Визак, проныра этакий, вычитал на попавшемся ему обрывке бумажки слова: «Учебник географии. Аугуст Визак»,— и этого было достаточно, чтобы вызвать у него ужасное подозрение. Он хотел было уже бежать в класс выяснять, в чем тут дело, и, конечно, побежал бы, если бы остальные его не удержали. Потом многие ребята жаловались, что у них и с одной, и с другой книжки бесследно исчезла обертка.

Не успели краснокожие как следует и нос вытереть, как на них налетели кентукские молодчики во главе со своим прославленным вожаком. Сражение на этот раз разыгралось в долине у подножья холма, где росло несколько деревьев и кустов черной смородины,— такая местность все же больше подходила для битвы индейцев, чем голый пригорок. Военачальники были новые — кентукское войско вел, конечно, тот, кто и должен был его вести, а краснокожих возглавлял Тыниссон. После того как Тоотс сам себя объявил командиром кентукских парней, Тыниссон перешел на сторону их врагов и учитель передал командование ему. Вместе с Тыниссоном к краснокожим присоеди-

нился и Тали. Затем из лагеря Лаура к Тоотсу перешли двое других бойцов, так что на каждой стороне по-прежнему было одинаковое число воинов.

Закипел жаркий бой. Снаряды летели так густо, что иногда сталкивались и рассыпались в воздухе. Обе стороны сражались самоотверженно, в обоих лагерях совершались чудеса отваги и ловкости. Но вот в самый разгар сражения — один бог знает, как это произошло,— вождю кентуковцев вдруг показалось, что у него стало что-то слишком много бойцов, а у неприятеля осталась их ничтожная горсточка. Но — странное дело! — его собственные солдаты с синими значками на груди стали вдруг нападать на него самого и на его людей. И, что еще хуже, эти бойцы с синими значками появлялись всюду — сбоку, за спиной, били прямо в затылок. Короче говоря, началась кутерьма, в которой уже никто ничего не мог разобрать. Кентукский Лев на миг растерялся и, остановившись, заорал:

— Стойте, черти! Что же это такое — наши наших же бьют! Стойте вы, стойте!

Он, конечно, понял, что произошло, но было уже поздно. Синие значки вдруг сменились красными, и кентукская ватага оказалась со всех сторон окруженной противником. Краснокожие стояли вокруг кентуковцев кольцом, каждый держал снежок в угрожающе поднятой руке, и все заливались хохотом. Прославленный предводитель краснокожих, Тыниссон, последовав хитрому совету учителя, достал своим людям подложные значки и таким образом окружил кентуковцев.

— Но ведь так же нельзя! — закричал Тоотс, краснея от стыда.

— Почему же нельзя? — ответил Лаур.— На войне любая хитрость дозволена, тем более когда воюют краснокожие.

Сражение кончилось. С шумом и гамом возвращались ребята в класс. Лаур еще немного задержался во дворе и стал смотреть, как девочки тоже играют в войну. Потом он увидел, что Тали взошел на крыльцо школы и стал метлой счищать снег с сапог. Лаур тоже направился к двери, чтобы поговорить с Тали и рас-

спросить, как ему понравилась снежная битва; но в это время зазвонил церковный колокол. Учитель остановился и на минуту прислушался. С башни неслись медленные, ритмичные удары: «бим... бом, бим... бом» — и дрожа замирали вдали. Потом Лаур улыбаясь взглянул на Арно.

— Послушай,— сказал он,— как Либле бьет в колокол.

Арно посмотрел на учителя и робко спросил:

— Разве это Либле?

— Ну да, Либле. О, Либле уже с самого воскресенья бьет в колокол. Что ты на это скажешь?

Арно застыл на месте от удивления и тоже прислушался, словно желая убедиться, действительно ли это Либле там, на колокольне.

От своих мыслей Арно очнулся только тогда, когда Тыниссон, тихонько толкнув его в бок, спросил, о чем учитель говорил с ним у дверей.

— Он сказал, что Либле опять звонит в колокол,— ответил Арно.

— Вот как, опять звонит? — торопливо переспросил Тыниссон.

— Да... это погребальный звон... кто-то умер,— добавил Арно.

Но Тыниссону было безразлично, какой это звон; главное — звонил Либле. Арно отлично это понял, и равнодушие товарища обидело его. Ведь тот мог бы, по крайней мере, спросить — кого хоронят под этот звон.

XX

Наступил сочельник. После обеда ребята собрались в школе, чтобы еще раз повторить разученные ими рождественские песни. Генеральная репетиция прошла отлично. Кистер, благодушно настроенный, с сияющим лицом расхаживал среди учеников; это был один из тех редких случаев, когда кистер был ими доволен и не бранился. Странное чувство испытывал в этот день Арно. Ему казалось, будто надвигается что-то очень большое, значительное, будто его можно ждать уже с минуты на минуту. Он не грустил, душу его наполняло радостное возбуждение. Весь этот сочельник представлялся ему каким-то сновидением: словно во сне маячили перед ним другие ребята. Тээле пела вместе с другими девочками, и ему казалось — она где-то бесконечно далеко от него, окутанная облаком.

Тыниссон, с черным шелковым платком на шее и напомаженными волосами, одетый во все новое, сегодня тоже казался совсем не таким, как обычно; в его улыбке сквозила жизнерадостность. На Кийре была новомодная куртка, застегнутая до самой шеи, и ослепительно белый воротничок. У Тоотса, кроме нового костюма и сапог, были и «золотые» часы на такой же «золотой» цепочке — пятьдесят шестой пробы, как он объяснил окружающим. Это был его рождественский подарок. Отец, говорил он, хотел их вручить ему только вечером, но Тоотс так пристал к старику, что тот наконец сказал: «Ну бери, ты ведь все равно покою не дашь». И Тоотс сразу же взял их.

После репетиции Тоотс стал бегать со своими часами от одного к другому, без конца повторяя то же самое:

— Купи, Тоомингас. Купи, Сымер. Купи, Визак. Чистое золото, гляди, как сверкает, сатана. И проба на них есть, видишь, пятьдесят шестая.

— Сколько ты за них хочешь? — спросил кто-то из ребят.

И обладатель часов тут же гордо ответил:

— Меньше чем за сотню не отдам.

Визак долго рассматривал блестящую металлическую вещичку и затем заявил, что это самоварное золото. Слова его привели Тоотса в такую ярость, что он, несмотря на все свое праздничное настроение, стал отчаянно браниться.

— Сам ты самоварное золото, Визак! Погляди лучше, какие у тебя штаны на ногах — они же из старых кистеровых штанов переделаны. Вон еще и дыра на них.

Он так долго дразнил Визака, что тот, устав искать дыру у себя на штанах, в конце концов разревелся. Но так как сам он дыры не обнаружил, то пошел к ребятам, стал к ним задом и, нагнувшись, начал слезно молить, чтобы те посмотрели, действительно ли у него дыра в штанах. А Тоотс между тем важно расхаживал в толпе, сияя ничуть не меньше своих «золотых» часов с цепочкой.

Остальные ребята тоже принесли уже с собой всякие елочные вещицы. У Тоомингаса была стеклянная палочка, в которой играли все цвета радуги; у Либлика конфеты с хлопушками — только начнешь снимать с конфеты обертку, сразу раздается страшный треск; у Лесты — жестяной жучок с проволочными ножками и пружинкой; заведешь — и жучок поползет так быстро, словно сам черт за ним гонится; а Тийт принес клубок серебряных и золотых ниток, которые обещал развесить на елке, чтобы она сверкала так, будто вся сплошь покрыта золотом и серебром.

Многие, конечно, ничего не говорили о своих подарках и не показывали их, но у каждого по лицу было видно: у него тоже припасена какая-то игрушка, которой он втайне радуется.

Арно подошел к Тыниссону — тот как раз вытащил из кармана кусок булки с мясом, сел на скамью и собирался закусить.

— Ну, а ты что на елку повесишь? — спросил Арно.

— Что я повешу... Ничего не повешу, у нас елку и не устраивают,— ответил Тыниссон, с большим аппетитом приступая к еде.

— Да ну?

— А зачем она? Свечей сожжешь кучу, а толку никакого. Уж лучше принести в комнату соломы, тогда можно на ней вверх ногами становиться или драться жгутами из соломы.

«Ишь ты какой,—подумал Арно,— для него елка — пустяк какой-то. А что это вообще за рождество, если елки не делать».

Затем он, чуть подумав, пригласил Тыниссона в первый день праздника прийти к ним вечером на елку; Тээле тоже придет, сказал он, и тогда... Ну, словом, пусть приходит, там уж видно будет...

Тыниссон задумался, причем жевать стал гораздо медленнее, и наконец сказал:

— Что же, можно и прийти.

— Приходи, приходи,— повторил Арно.

Когда в классной стало совсем шумно, в дверях появился учитель Лаур.

— Ну, ребята, ребята! — произнес он.— Смотрите, чтоб у вас тут потолок не рухнул от шума.

Мальчики, стоявшие поближе к дверям, поздоровались с ним, а Тоотс при этом широко распахнул полы своего пиджака, чтобы его «золотые» как-нибудь не ускользнули от внимания учителя. Лаур, конечно, заметил эту роскошную вещь, но не сказал ни слова. Он вошел в классную и стал спрашивать ребят, как они проводят праздники.

— Хорошо, хорошо! — ответили ему хором.

— Ну вот и отлично,— отозвался Лаур и обвел взглядом веселую толпу: все были налицо, все решительно. И у всех в глазах можно было прочесть одно и то же: «Рождество! Что может быть лучше!»

— И с песнями у вас тоже хорошо получается,— сказал Лаур.— Я был у себя в комнате и слушал, как вы поете,— все шло прекрасно. И все-таки сильно выделяется,— он обернулся к Тоотсу,—конечно, твой бас. Он гудит, точно из бочки. И не пой ты, пожалуйста, когда другие уже кончили, кончай вместе

со всеми; получается некрасиво, если какой-нибудь один голос вырывается из общего хора, да еще продолжает звучать, когда остальные уже молчат. Как ты считаешь?

Тоотс думал, что учитель говорит о его часах; он схватился за цепочку и тихонько ею звякнул. Когда же выяснилось, что речь идет совсем не о часах, а о его великолепном басе, он потрогал рукой свой кадык, как бы желая сказать: «Да, в этой глотке и вправду кое-что есть!»

Лаур медленно иаправился к окну, где стояли Тали и Тыниссон. Ребята тесно окружили его и, болтая, двигались вместе с ним, так что ему, чтобы пройти к окну, надо было легонько прокладывать себе путь в толпе.

Он расспрашивал мальчиков, кто чем занимается во время рождественских каникул, и они отвечали: кто помогал сено возить, кто печь топил в бане, кто катался на салазках и т. д. Только двое или трое сказали, что оии, кроме всего прочего, готовили уроки.

— Ну да, да,— ответил на это Лаур,— каникулы, конечно, для того и существуют, чтобы отдохнуть от учения, оттого я вам иичего и не задал на дом. И все-таки хоть минут на пятнадцать или на полчасика в день каждый из вас мог бы заглянуть в книжку, не то забудете все, чему учились. Имейте в виду: повторение — мать учения.

Рыжеволосый Кийр, щеголявший белым воротничком, тут же заметил, что четверти или получаса мало и что следовало бы каждый день заииматься по часу или по два.

На это учитель возразил, что, если есть охота, можно учиться хоть и весь день, иикому это не запрещается; он же хотел лишь сказать, что и понемножку заниматься тоже очеиь полезно.

— Ну, а вы, Тали и Тыииссои, как поживаете?

— Хорошо,— ответил Тыниссон.

— А ты, Тали?

— Тоже хорошо.

— Правда?

— Правда!

— Ну вот, значит, всем живется неплохо. Это чудесно. А ты чем дома занимался?

— Читал.

— Что же ты читал?

— Сказки про Старого беса,— краснея, ответил Арно. В толпе ребят послышался приглушенный смех, потом раздался голос Тоотса:

— Э, да все эти сказки про Старого беса не стоят того, чтобы... Ты бы, Тали, лучше почитал...

— О краснокожих, о краснокожих,— раздались насмешливые возгласы.

— Тише, тише, ребята! — произнес Лаур укоризненно. Что тут смешного? А ты, Тали, приходи ко мне, я тебе дам книжку получше, чем сказки про Старого беса. Кто еще хочет получить книжку?

Он пошел в свою комнату, за ним ватагой потянулись мальчишки — всем хотелось получить книги. Учитель был в явном затруднении. Книг у него было, правда, много, но большей частью на иностранных языках и для таких ребят, как эти, слишком трудные. Он сделал что мог: старшим дал русские книги, малышам — эстонские. Как бы там ни было, каждый получил книжку.

В это время пришел кистер и погнал ребят в церковь; тут он их расставил по голосам на хорах, возле органа. Так он велел им стоять, пока не начнется пение.

Было еще рано, и церковь была наполовину пуста. Стали зажигать свечи. Но елку, возвышавшуюся перед алтарем, еще не зажигали. Арно не мог устоять против искушения: он выбрался из толпы ребят и поднялся на колокольню; Либле был уже там и, выглядывая из узкого окошка башни, точно рак из норки, смотрел вниз, на людей, идущих в церковь.

— Здравствуй, бог на помощь,— сказал ему Арно, взобравшись наверх.

— Доброго здоровья, спасибо,— с комической серьезностью отозвался Либле, оборачиваясь.

— Ну что, скоро в колокол ударишь?

— Скоро, скоро, да. А ты как сюда забрался? Кистер не видел, что ты ушел?

— Наверно, не видел. Тебе, думаю, здесь скучно одному... Вот и прншел посмотреть, что ты тут делаешь...

— Вон оно что! А какая мне скука! Отзвоню, потом сойду вннз, буду орган накачивать... А как у тебя в школе дела? Какие отметкн? Да что за беда такому парню, как ты, ты же в классе первый. Верно?

— Да, отметки у меня, правда, хорошне. А ты как? Опять, значит, в колокол бьешь?

— Да куда же денешься, куда денешься, саареский хозяин. Господин пробст прямо покою не давал — однн посыльный за другим. Я сначала, правда, подумал — обратно меня так легко не заманишь, пусть-ка господин пробст мне прошение подаст. Ну, а потом рукой махнул: начни тут еще с ними счеты сводить!

— Да, это верно,— согласился Арно, и лицо его стало серьезным.— А только гляди, как получается: другие все сейчас в церкви... поют, слушают, как мы поем... а ты должен работать. Сначала звонить будешь, потом к органу пойдешь...

— Да, да, так оно н есть,— улыбнулся Лнбле.— Так оно и есть: когда у других самый большой праздннк, у меня больше всего работы. Да что поделаешь, у каждого свон буднн и свон праздники. А тебе здесь не холодно? В окошки сквозняком тянет.

— Нет, ннчего.

— Ну, тогда ладно. Иной раз, когда покойника хоронят, закроешь ставнн с одной стороны — и ничего; а сегодня, в честь праздника, так сказать,— сочельннк ведь,— ну думаю, пускай все будут открыты.

Они помолчалн, потом Арно спросил:

— А скажн, Лнбле, кого тут недавно хоронили? Так, с неделю назад... мы как раз обедали в школе, а ты начал в это время в колокол звонить. Кто это был?

— Тогда? Ребенка хоронилн... Из волости Рудина, кажется. А что такое?

— Да нет, ничего. Я просто так спросил. Думал, может, чья-нибудь мать умерла, снроты осталнсь.

— Нет, это был ребенок.

— А правда, странно, Libле, что все люди умирают, и молодые, и старые. Иной раз и не подумал бы, а человек вдруг умирает. Как это так?

Либле взглянул вниз, почесал затылок и прислонился к окошку.

— Да, так оно и есть; так было, так и всегда будет. Кто из нас может знать — вдруг и сам завтра ноги протянешь. Да что там говорить про завтрашний день — сразу же, сейчас, за несколько минут можно дух испустить. Иной человек здоров, как бык, а глядишь — помер... и ничего не поделаешь. А другой всю жизнь скрипит, точно раки в мешке, а живет.

— А отчего так получается?

— Ну, потому, что не было у него, значит, смертельной болезни. А другой на вид здоров, а поди знай, какая у него внутри хворь сидит. Будто и здоров, а на самом деле нет.

— Но бог ведь может...

— Что бог может?

— Бог ведь мог бы сделать так, чтоб они выздоровели, чтобы не умирали те, у кого дети остаются, или...

— Оно верно, конечно. Да ведь жить-то всем хочется; поди спроси кого угодно, каждый тебе скажет — мне, мол, умирать никак нельзя, у меня и та, и другая работа не доделана, у меня и те, и те вот остаются, кто тогда о них заботиться будет. А как придет смертельная болезнь, ничего не поделаешь... Помирай — и все тут.

— Но, Либле, значит, бог позволяет, чтобы все шло, как идет... значит, он не...

— Шут его знает, так будто и получается... Поди разберись, где тут правда. Тебе все такие серьезные мысли в голову лезут, прямо мудрец какой-то. А что я в таких делах смыслю? Заговорил я как-то с пробстом, начал его спрашивать, во что верить, во что не верить...

— Ну, а он что?

— Да ничего такого не сказал, осерчал только: «Ты, Либле, грешный человек, ты бога гневишь».

Я ему, правда, ответил — как же так, мол, я бога гневлю,— а он опять: «Ну да,— говорит,— у тебя вечно такие богопротивные речи на языке...» Тем дело и кончилось, я больше и не стал об этом говорить.

Арно задумался. Стемнело. Уже трудно было даже разглядеть лицо Либле, хотя они стояли друг от друга в каких-нибудь трех-четырех шагах. Снизу доносился глухой шум, в котором по временам можно было различить отдельные громкие голоса. Издали слышен был звон бубенчиков и ржание лошадей. Арно выглянул в окошко, и ему показалось, будто он где-то в облаках, стремительно летит вперед, а внизу чернеет и шумит море.

Либле как раз собирался закурить папиросу, но Арно вдруг резко повернулся к нему.

— Либле, зачем ты пьешь?

— Как? Что ты сказал? — спросил Либле, держа в левой руке спичечный коробок, а в правой спичку.

— Зачем ты пьешь? Водка же страшно горькая, неужели она тебе и вправду нравится?

— А, водка... да кой черт — нравится, а только вот...

— Зачем же ты тогда пьешь?

— Привык, бросить не могу. Иной раз прямо тянет выпить.

— И как она тогда — горькая или сладкая?

— Какое там сладкая... Мне она такая же горькая, как и всем, и если б не знал, что от нее люди хмелеют, так, наверно, и капли в рот не взял бы.

— Ты, значит, пьешь, чтобы охмелеть?

— Да как сказать: не то чтоб именно ради этого, а только вот... надо — и все... нутро требует. А выпьешь — сразу на душе полегчает.

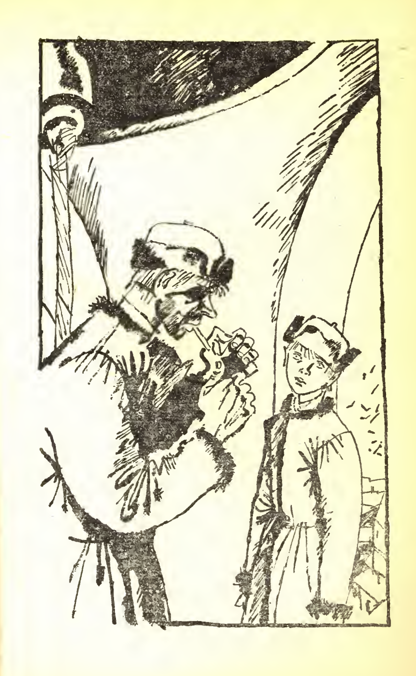
— А бросить ты не мог бы?

— Не знаю, не пробовал; а только почему не смог бы, стоит только взяться.

— Может, бросишь?

— А для чего?

— Это ведь... это ведь нехорошо...



— Ну еще бы, что тут хорошего. Иногда с пьяных глаз такую штуку выкинешь — на другой день как вспомнишь, волосы дыбом становятся. Хвалиться тут нечем, только вот...

— Брось пить.

— Ну да, тебе легко говорить. Слушай, а ты чудной парень, обо всем тебе охота думать, голову ломать! Тебе нужен бы какой-нибудь мудрец, человек ученый, чтоб с тобой потолковал. Такой бы знал, что тебе ответить и как все объяснить. А я что... Поговорим мы с тобой вот так еще немножко — до того оба очумеем, что с колокольни вниз головой свалимся. Да-да... а ты вниз не идешь?

— Да, мне надо идти. А ты звонить будешь?

— Да, да, уже пора.

Libле ухватился за веревку, бросил тлеющий окурок на пол, притушил его ногой, сплюнул и приготовился ударить в колокол.

— Постой, дай я ударю,—попросил Арно и тоже ухватился за веревку.

— Силы не хватит.

— Хватит.

Силы у него хватило, но не было уменья. Первый удар не удался. Арно не сумел сразу так раскачать язык колокола, чтобы получился чистый, ясный звук, и сверху раздался какой-то странный, забавный звон: динь-динь-динь. Либле громко расхохотался, а внизу в толпе кто-то сказал:

— Слышишь, Либле наверху в старый котел бьет.

А другой ответил:

— Видно, опять нализался, скоро грохнется оттуда вместе со своим колоколом.

И несколько парней, которые, покуривая и болтая, стояли на площади перед церковью, поглядели вверх, раскрыв рот, точно и в самом деле ждали, что Либле вместе с колоколом «грохнется вниз». Но вскоре они успокоились: с башни понеслись звонкие, мерные звуки колокола — бим-бом, бим-бом,— созывая людей на молитву, на праздник рождения спасителя. Арно наконец справился с колоколом, и теперь дело у него пошло так, словно он всю жизнь был звонарем.

XXI

А внизу церковь блистала и светилась огнями; все свечи были зажжены, и высившаяся у алтаря елка напоминала каждому прихожанину о том, какой торжественный час наступил и во славу кого собрались сюда люди.

Кучер с церковной мызы, зажигавший свечи, еще хлопотал у подсвечников, кое-где поправляя покосившуюся свечу или заменяя поломанную новой.

Сегодня ему тоже пришлось прислуживать в церкви, так как Libле накануне сочельника заявил пастору, что у него нет такого таланта — одновременно заниматься десятью делами. Пастор согласился с ним и велел кучеру помочь ему.

Арно прошмыгнул сквозь толпу школьников и стал на свое место.

— Где ты был? — спросил Тыниссон, давно заметивший его исчезновение.

— На колокольне,— ответил Арно.

— Тебя всюду хватает,— заметил Тыниссон, испытующе глядя на товарища.

Началось богослужение.

— Сегодня родился ваш спаситель,— громко возвестил пастор, и Арно вдруг показалось, будто то, о чем он говорит, произошло только сейчас, в эту минуту. Неизъяснимый восторг охватил Арно, ему почудилось, что произошло нечто великое, неожиданное, что оно должно принести ему и всем другим людям огромную радость. Арно желал в эту минуту только одного — чтобы все кругом чувствовали себя такими же счастливыми, как он.

А когда понеслись звуки стройного пения и, аккомпанируя ему, загремел орган, все смешалось перед глазами Арно — люди, люстры, свечи, елка перед алтарем; все слилось в одно огромное целое, воздаю-

щее славу и хвалу господу богу. В этой толпе не было больше ни одного плохого человека, все были хорошие. Сам Арно уносился куда-то вдаль, он пел вместе с хором ангелов на полях Вифлеемских, а вокруг сиял чудесный свет...

Чьи-то невидимые руки вознесли его ввысь. Высоко над головой он увидел его, восседавшего по правую руку от своего отца, его, чей день рождения сегодня праздновали. А песня все лилась и лилась. Казалось, что все вокруг полно этих звуков, что голоса певчих несутся над всем огромным миром, возвещая о радости рождества. Когда пастор возгласил: «Помолимся!» — Арно опустился на колени и стал горячо молиться. Поднявшись с колен, он увидел, как у людей дыхание вырывалось изо рта белым облачком, и ему вдруг представилось, что это и есть та молитва, которую каждый прихожанин посылал богу. Молитвы всех этих людей сливались в единую молитву, летевшую к подножию престола господнего, как написано об этом в библии...

Ему, Арно, теперь все было прощено, отец небесный больше на него не гневался. Да и не только он один, все люди, находившиеся в церкви, все ребята помирились теперь с богом, потому что все они только что молились. Все стали теперь лучше и с этой минуты начали новую жизнь.

После богослужения Арно вышел вместе с другими и остановился на церковной площади. Мимо него пробегали школьники. Они спешили забрать свои вещи, одежду и полученные от учителя книги и отправиться к родным, которые поджидали их с лошадьми во дворе церкви. Невдалеке от Арно прошли двое ребят, и он услышал их разговор.

— Ты, дурья башка, мне все время на ноги наступал, все пальцы отдавил,— сказал один из них.

— Чего же ты, дурак, ногу свою не убрал,— ответил другой.

— Куда же мне ее убрать, если сзади толкались, как черти.

— А, да не ругайся ты хоть сейчас. Вечно ты лаешься. Помолчи лучше.

— Дурак! А мои новые часы в лепешку расплющили... свиньи этакие...

Арно узнал ребят по голосам: это были Тыниссон и Тоотс. Но как могли они в такой торжественный день так грубо разговаривать, особенно Тоотс,— этого Арно никак не мог понять. Он постоял еще с минуту, глядя, как люди выходят из церкви. Как все-таки много их там помещалось — прямо удивительно!

Кто-то легонько потянул его за рукав.

— Арно, ты?

Арно оглянулся. Перед ним стоял учитель.

— Пойдем,— сказал Лаур, увлекая его за собой.— Мне нужно тебе кое-что сказать.

Они вошли в школу и, не заходя в класс, направились в комнату учителя. Лаур подошел к столу, взял какой-то завернутый в бумагу предмет и приблизился с ним к Арно.

— Вот,— сказал он,— дарю тебе эту скрипку; научись на ней играть, и тогда увидишь, как исчезают всякие печальные мысли, стоит только взять скрипку в руки. Пойдешь после праздников в школу — возьми ее с собой, я буду тебя учить играть.

Арно был так поражен, что в первую минуту, когда учитель протянул ему свой подарок, не решился даже взять его. Мальчик неподвижно стоял на месте, глядя на учителя влажными от слез глазами.

— Бери же, она теперь твоя,— повторил Лаур.

Тогда только Арно взял скрипку. Он не произнес ни единого слова, но в его взгляде учитель прочел горячую благодарность, и этого ему было достаточно.

— Вот так,— сказал Лаур,— теперь у тебя есть скрипка, запасись только терпением и научись играть; охота у тебя есть, это я знаю... и дело обязательно пойдет на лад. Тебя родные ждут?

Арно ответил, что отец, мать и Март поджидают его на церковном дворе, около лошадей.

— Тогда беги... и веселых тебе праздников!

И Арно побежал. Он не держал свою ношу в руках так, как следовало, для этого у него совершенно не было времени, к тому же он и не заметил, что на футляре скрипки сбоку есть медная ручка, которую

учитель предусмотрительно высунул из бумаги. Арно нес футляр так, как матери носят на руках маленьких детей.

— Что это у тебя? — спросил батрак, первым заметивший Арно.

— Скрипка, скрипка! — еще издали радостно закричал мальчуган.

— Откуда ты ее взял? — спросила мать, подходя к сыну и с недоумением оглядывая странный предмет, лежавший у него на руках.— Да говори же, откуда?

— Учитель подарил.

Арно не выпускал из рук своей драгоценной ноши.

— Покажи-ка, тяжелая она? — попросил отец. Арно недоверчиво взглянул на него, прежде чем отдать скрипку.

Все стали восхищаться подарком. Наконец мать спросила:

— А ты его поблагодарил как следует?

Дело кончилось тем, что через несколько минут наш мальчуган со всех ног помчался в школу благодарить учителя за скрипку. Только слова матери напомнили Арно о том, что он, действительно, даже спасибо не сказал. И книжку, которую учитель ему дал почитать, он тоже забыл.

— Ох ты, дурачок,— сказал учитель, когда Арно, тяжело дыша, весь красный, прибежал к нему.— И ты из-за этого вернулся! Ты уже поблагодарил меня, сам того не заметив. Поезжай спокойно домой. После праздников сразу и начнем на скрипке играть.

Взяв в классной книжку и еще раз сказав по дороге Тыниссону, тоже собиравшемуся домой, чтобы он завтра вечером обязательно пришел к ним в гости, Арно вернулся к своим.

Поездка домой была несказанно чудесной. Сани прихожан, возвращавшихся из церкви, вытянулись длинной вереницей, звенели бубенцы, слышался говор. Погода была пасмурная и мягкая. Легкие снежинки плавно скользили в воздухе, покрывая тонким бархатистым слоем одежду людей. Всюду, и вблизи и вдали, виднелись ярко освещенные окна домов... Ведь это был сочельник!

XXII

Дома, у елки, Арно получил и другие подарки, которые тоже, конечно, доставили ему много радости; но что тут скрывать — скрипка казалась ему милее всего. Обрадовался он и подаренной отцом меховой шапке, и связанной матерью фуфайке, и шелковому шарфу, и Евангелию, которое ему вручила бабушка; но стоило мальчику взять в руки скрипку, как глаза его загорались и он забывал все остальное. И не только один Арно — все домашние, начиная с отца и матери, разглядывали скрипку с большим любопытством. У батрачки Мари невольно вырвалось:

— Ох, светики мои! Музыка есть — теперь и плясать можно будет!

После того как Арно всем показал свой чудесный музыкальный инструмент и все на него вдоволь нагляделись, мальчик начал сам его по-настоящему рассматривать. Это было поздно вечером, когда остальные уже легли спать. Так как других знатоков музыки в доме не было, Арно подозвал к себе Марта. Дверь в горницу плотно закрыли, чтобы никому не мешать, и тут-то собственно и начался настоящий осмотр скрипки; только теперь стали испытывать ее звук и попробовали на ней поиграть.

Март сказал, что он когда-то играл на скрипке, но давно, когда был еще молодым парнем, а теперь и сам толком не знает, сумеет ли.

— Попробуй, может, получится,— сказал Арно.

— Попробовать-то можно,— согласился Март, вытирая руки носовым платком. Арно, затаив дыхание, следил за каждым его движением и ждал, что будет дальше. Март поднес скрипку к подбородку, взял смычок и заиграл. Послышалось странное пиликанье, звучавшее приблизительно так: киик-кяяк, киик- кяяк! Но это было только начало, а ведь всякое начало

трудно. Под конец музыканту все же удалось извлечь из скрипки нечто похожее на мелодию.

— Видишь ли, в чем дело,— с серьезным видом заметил Март,— она не настроена.

— Как так? Что с нею? — испуганно спросил Арно.

Ему показалось, что Март хочет сказать, будто в скрипке чего-то не хватает или что она испорчена.

— Не настроена...— повторил Март и сделал головой такое движение, словно вдруг догадался, в чем тут загвоздка и почему у него дело не ладится.

— И что же теперь будет? — спросил Арно.

— Постой, я посмотрю,— ответил тот.

Он стал чуть-чуть поворачивать какой-то колышек, причем лицо его исказилось такой гримасой, будто он испытывал при этом ужасную боль.

— Крак! — щелкнул колышек. Звук этот так напугал обоих, что Март тотчас же бросил настраивать скрипку, а Арно вскрикнул с тревогой:

— Ой! что ты сделал!

— О, ничего, это колок...— успокоил его Март.

— Не крути больше, попробуй так.

— Да, не стоит, а то еще струна порвется; отвык я от этого дела, не получается как следует. А все-таки она не в тоне.

— Что это значит — не в тоне?

— Ну, это... это значит, что звука настоящего не дает.

— Ладно, пусть не дает, а ты все же попробуй что-нибудь сыграть.

Март снова приложил скрипку к щеке, взмахнул в воздухе смычком, словно отгоняя какие-то невидимые существа, мешавшие ему, и затем послышалась унылая, жалобная мелодия «Неведомы деяния господни», которая никак не вязалась с этим новеньким, блестящим инструментом. Такие звуки могли бы исходить только из какой-нибудь старой, ободранной скрипицы, а в этой, наверное, таились совсем другие, более приятные звуки.

— Получается все-таки,— заметил Март, кончая играть,— только поупражняться надо; а так вот —

бери в руки да играй — конечно, не бог весть как получится. Я ведь уже черт знает сколько времени не играл. Ну, а теперь попробуй ты.

Арно осторожно взял в руки скрипку, сам не замечая, что на лице его появилась улыбка, а руки тихонько задрожали. Март показал ему, как держать скрипку, как нажимать пальцами на струны.

Когда с этим было покончено, Март велел ему играть. Арно провел смычком по струнам. Послышался тот же жалобный, скрипучий звук, как и у Марта, и Арно не мог понять, как это скрипка, издающая такие чудесные звуки, может сейчас так безобразно скрипеть.

— Не умею,— усмехнулся он и положил скрипку.

— Да, сразу не выйдет,— ответил Март.— Я тоже сначала с ней намучился, а потом пошло. А ну, дай-ка мне ее, попробую еще разок.

Теперь Март заиграл «Лабаяла-вальс», как он сам назвал эту мелодию. Он встал с места и начал отбивать такт ногой. Когда с музыкой не ладилось, он помогал себе, притопывая ногой; так он с грехом пополам и сыграл всю мелодию до конца.

Они бы еще продолжали свою пробу, но дверь горницы вдруг открылась и послышался чей-то голос:

— Да бросьте вы, чего вы там скрипите, не уснешь никак. Завтра играйте хоть целый день. А сейчас спать пора.

Арно и Март переглянулись, и Март положил скрипку на стол. Потом они, опершись грудью о край стола, стали с обеих сторон молча глядеть на лежавший перед ними инструмент.

Наконец Арно, проведя пальцем по блестящей поверхности скрипки, сказал:

— Ну и скользкая.

— Ну еще бы,— тоном знатока отозвался Март,— их ведь по несколько раз полируют. Да только не всегда те, что хорошо отполированы, и есть самые лучшие; иной раз поглядишь — прямо старье негодное, а возьмешь в руки — так, скажу тебе, заиграет, что заслушаешься.

— И эта тоже заиграет, надо только уметь.

— А как же, чего ей не играть, заиграет; я только говорю, что иная старая тоже еще очень хорошо играет. Завтра еще чуточку поупражняюсь, тогда увидишь, какие польки я из нее вытяну.

— Но, Март, польки — это же еще не самая лучшая музыка.

— Ой, конечно, лучшая, да еще марши — ух, здорово!

— Я один раз слышал, как наш учитель у себя в комнате играл, то совсем тихо, то громче и громче... ох и красиво! Мне бы тоже хотелось научиться так играть. Хоть и печальная была та музыка, зато красивая.

— Ну да, музыка бывает разная. Мой покойный старик дядя, так он, помню — я тогда еще совсем мальчонкой был,— играл «Как француз шел на Москву». И знаешь, Арно, вот это была штука! Все там было — и как русские женщины плачут, и как французы «ура» кричат, радуются. Ух, черт! Как соберемся мы, мальчишки, так бывало ватагой за ним по пятам и ходим: сыграй да сыграй! Делать нечего — берет старик скрипку и играет. А мы слушаем, аж уши шевелятся. Вот это была музыка!

— А сейчас эту вещь уже не играют?

— Да нет, кто же нынче старые песни играть станет. Их в наше время никто и не помнит. Говорят, будто эту вовсе нельзя играть — «Как француз шел на Москву». Запрещено будто. Не знаю, на ярмарке это было или где в другом месте — один парень, говорят, заиграл, а урядник тут как тут: не смей!

— Откуда же урядник сразу узнал, что это и есть та самая вещь?

— Ну, те-то узнают.

— А как ты думаешь, Март,— правда, будет хорошо, если я, когда научусь играть, выучу эту вещь. Как ты думаешь?

— Конечно, хорошо.

— А кто-нибудь еще помнит ее?

— Кто его знает. Может, и есть такие.

— Но сначала я хочу выучить ту, печальную, что учитель играл. Тоже красивая была. А ты сам помнишь это — «Как француз шел на Москву»?

— Да где там... Кое-какие куски, да и те — точно в тумане... Подожди, как это там было...

Март зажмурил глаза, несколько раз слегка постучал пальцем по лбу и затем стал тихо, про себя мурлыкать какую-то мелодию. Временами он останавливался, стараясь ее припомнить.

— Тра-ра-ра-ри-ри, тра-тра-тра-ри-ри, тир-ра-ра-ра-ра... Постой, постой, как же дальше? Ах да: три-ра-ра, три-ра-ра, три-ра-ра, трих-трах-тра. Да, так и есть. Дальше шло быстрее,— трарит, трарит, трарит-та-тат-та-тааа... Ну да, вспоминается, надо только вспомнить. Ладно, завтра попробую на скрипке, посмотрим, может, что и получится.

Было уже далеко за полночь, когда оба музыканта отправились наконец спать. Всюду было темно, только редко-редко где мелькал огонек. Погода была такая же, как вечером, тихая и теплая: за окном резво кружились снежинки. Где-то вдали залаяла собака, послышались глухие голоса, потом опять все стихло. В доме царила тишина. Из горницы доносилось тиканье стенных часов и мерное дыхание спящих.

Арно бережно уложил скрипку в футляр и отнес ее на стул, стоявший у его кровати. Прежде чем уснуть, он еще не раз выглядывал из-под одеяла — на месте ли она или, может быть, какие-то невидимые духи унесли драгоценный подарок. Но вот наконец явился сон и окутал Арно своим покровом. Все сновидения кружились вокруг скрипки, все они были как-то связаны с полюбившимся мальчику инструментом. Арно вдруг оказался на колокольне, возле него Либле играл на скрипке, делая при этом забавные движения: он прыгал вдоль стен, пускался вприсядку, стуча каблуками о пол так, что вся колокольня вздрагивала, а колокол, висевший на двух крепких балках, тихо позванивал. Потом Либле вдруг пропал. Сначала он стоял на краю окошка, все еще продолжая играть, но вдруг исчез, словно спрыгнул вниз.

«Что он — сумасшедший? Как он мог прыгнуть вниз? — с ужасом подумал Арно.— Он же разобьется сам и скрипку разобьет вдребезги». Но, видимо, ни с ним, ни со скрипкой ничего плохого не случилось: в

тот же миг снизу опять послышалась музыка, играли ту же мелодию — «Как француз шел на Москву». И действительно, взглянув вниз, Арно увидел, что Libле скачет по церковному двору. Кухарке Лийзе, как раз проходившей мимо, Либле сказал: «Иди-ка сюда, старая карга, я тебе сыграю отходную. Теперь по умершим в колокол не звонят, теперь это все на скрипке делается». Но Лийза в испуге отшатнулась от него и завопила таким голосом, каким коты по ночам воют: «Прочь, прочь от меня, ты не человек, ты сатана!» Но Либле не слушал и грозился ударить ее скрипкой.

— Не смей бить, скрипку разобьешь,— закричал ему сверху Арно, но было уже поздно: послышался громкий треск, и скрипка оказалась надетой Лийзе на голову, точно шапка с козырьком.

Потом все вокруг смешалось, Либле и Лийза исчезли. Арно вдруг очутился на озере. Он плыл в какой-то странной остроносой лодке. Приглядевшись внимательнее, он увидел, что лодка эта не что иное, как его скрипка. На ней были натянуты толстые струны, похожие на плетеные канаты; при каждом порыве ветра они издавали тихий, жалобный стон. Волны вздымались и падали, белая пена брызгала ему в лицо, его одежда и ноги были мокры. Долго ли он так раскачивался на волнах, он не знал, но когда стал уже отдавать себе отчет в окружающем, увидел, что находится на берегу. Челнок его превратился в самую обыкновенную лодку, от скрипки не осталось и следа. Зато откуда-то издали до слуха его донеслась музыка. Сначала тихо, потом все громче и громче... а потом ему почудилось, будто все это происходит в церкви и что это кистер играет на органе. С музыкой сливались голоса множества людей, голоса эти росли и ширились, словно волны на озере, а со стороны алтаря, перед которым высилась елка, струился призрачный зеленоватый свет.

«Но почему они не поют ту печальную мелодию, которую иногда играет в своей комнате учитель?» — промелькнуло в голове у Арно. В это время за спиной его кто-то запел назойливо и скрипуче: трайрит-трай-

рит-трайрит! Он обернулся и увидел Марта — тот стоял со скрипкой в руках и указывал на кистера. «Да это что, это пустяки,— говорил он,— вот завтра как заиграю, тогда будет совсем другое дело!» При этом он стал так крепко завинчивать колки, что они щелкнули, струны лопнули и скрутились, как волосы, когда их держишь над горящей лампой.

— Март, что ты делаешь? — закричал Арно сквозь сон и проснулся от собственного крика. Он страшно обрадовался, убедившись, что это был только сон, что его скрипка цела и по-прежнему лежит на стуле у кровати. Арно прислушался, вокруг стояла тишина. Кто-то словно скребнул по крыше, потом опять все затихло. «Кошка полезла на чердак спать»,— подумал Арно в полусне. Он услышал еще, как пробили часы, кто-то кашлянул, в овине запел петух и закудахтали куры.

От елки пахло хвоей. Точно кто-то подпалил ее ветку и по комнате плыло легкое, едва ощутимое облачко дыма.

Этот смешанный с дымком запах сам по себе был довольно приятен. Арно с удовольствием вдыхал его, и ему казалось, что на рождество именно так и должно пахнуть в комнате: это был настоящий рождественский запах, он появлялся каждый год в горнице, где устраивали елку: когда свечки сгорали до конца, огонь добирался до веток и те загорались, треща и дымя.

Потом Арно услышал, как поднялся с постели отец и зажег спичку, чтобы взглянуть на часы; как он нашарил свои стоптанные домашние туфли, набросил пиджак или что-то из верхней одежды, зажег фонарь и вышел посмотреть лошадей. Вслед за тем и в большой комнате кто-то кашлянул, протяжно произнес: «О-хо-хо-хой» — и стал почесываться. Зажгли огонь.

Как раз в эту минуту Арно спокойно уснул, а когда проснулся, на столе уже дымился завтрак и Мари громко говорила кому-то:

— Настоящая рождественская погода на дворе — хорошо будет людям в церковь идти.

XXIII

В церкви хозяин хутора Сааре успел сказать Либле, чтобы тот после богослужения заглянул к ним.

— Ладно, приду,— согласился Либле.

И действительно, после полудня он явился на хутор. С собой он принес бутылку водки и свое веселое настроение. Не успел он переступить порог, как началась страшная перебранка. У Мари как раз в это время разболелся живот, она сидела скорчившись у стола и горько жаловалась.

— Ох, будь ты неладно,— стонала она, держась за живот,— точно грызет что-то в середке, прямо конец приходит.

Либле, услышав это, тотчас же съязвил — язык у него был злой:

— Ну, да, а кто тебе велит столько колбасы и мяса в себя пихать: брюхо ведь не бочка, как же ему не разболеться от такой кучи всякой снеди. Так тебе и надо — ни много ни мало, как раз поделом.

— Вот еще чего выдумал! — ответила Мари.— Ты что, считал, сколько я кусков съела? Много ты знаешь, сколько я в себя пихаю. Вчера утром как подняла в коровнике ясли, надорвалась, потому и болит, а еда здесь ни при чем.

— Вот так штука! — не унимался Либле, невзирая на всю святость рождества.— А ты чего захотела? Чтобы у тебя коровью кормушку паровая машина двигала? Нажмешь на пружину — кормушка и пойдет куда нужно. Нет, брат, тут надо и руки приложить, надо и ленивые свои косточки поразмять, не то они совсем задеревенеют.

Этого Мари уже не могла стерпеть.

— Сам ты лентяй! — вспылила она.— Не знаю, чего тебе только там делать — залезешь на свою коло-

кольню и смотришь оттуда, как червяк, да свистишь еще. Это я-то лентяйка!

— Вот и врешь,— ответил Либле.— Зимой в стужу никаких червяков не бывает, а свистеть они вообще не умеют.

— А ты червяк и свистишь.

— Да перестаньте вы, черти! Вечно не ладят, как кошка с собакой,— вмешался хозяин. Разговор перешел на другое, и живот Мари мог продолжать болеть без всяких помех.

Либле вытащил из кармана бутылку и стал угощать саареских в честь святого праздника. Все выпили. Март осушил свой стакан и, хлопнув себя по животу, сказал:

— Ох ты, нечистая сила, а хороша, если ее редко пробуешь, так и кружит сейчас вокруг пупа!

Хозяйка и бабушка выпили стакан на двоих, но бедной Мари пришлось выпить целый стакан одной.

— Ну, ну, ты эти штуки брось!—обозлился Либле, увидев, что Мари хочет оставить полстакана.— У самой живот болит, заворот кишок, что ли, а гляди, не пьет. Пей живо!

Мари выпила, вытерла рот и объявила во всеуслышание, что она совсем пьяна. Бабушка заметила:

— Много пить ее не годится, можно сразу опьянеть. Иной раз, как лекарство, это дело хорошее, только тогда ее опять-таки нет под рукой. Когда в ней нужда, так ее и нет.

— Кто ее знает, помогает она от болезней или просто люди так думают, что помогает,— сказала хозяйка.

— Как бы там ни было, а можно и без вина прожить: по правде говоря, никому водка эта и не нужна. Конечно, выпить можно, да и я, случается, выпиваю, но чтобы без нее нельзя было обойтись, так это уж нет!

Произнеся это, хозяин подсел к столу и стал набивать трубку.

— А вот Мари без водки никак не обойтись,— сказал Либле.

— Брехун этакий! Сам ты без водки обойтись не

можешь, вечно пьян. Старался бы сам поменьше пить, а за меня не бойся.

— Постой, постой! — прервал ее Libле.— Вот возьму тебя в жены, да как пойдем мы с тобой вдвоем, так корчму досуха опустошим. Тогда и живот у тебя никогда болеть не будет.

— Ох ты, болтун, думаешь — так я за тебя и пошла.

— О, еще как пойдешь. Только мне не шибко хочется на тебе жениться... Была бы ты поопрятнее да лень из себя выгнала бы, может, я тебя и взял бы, а такую, как сейчас... такой до ста лет живи, а меня никогда не дождешься.

— Вот пустомеля!

— И как они так могут,— заметил Март.— Их оставь вдвоем — они неделю подряд ругаться будут; да еще и мешок с харчами им дай, не то, ссорясь, голодные будут сидеть.

Либле предложил водки и Арно, но тот в ответ покачал головой и улыбнулся. Либле тоже улыбнулся: он прекрасно понял, о чем мальчик подумал.

— Ну да, начните опять, как тогда осенью,— серьезно, но незлобиво сказала хозяйка,— а потом ищи вас по всему лесу, хоть голову себе разбей о деревья.

— Да, скверное было дело,— подтвердил батрак.— Ищешь, ищешь, а его нигде нет. Прямо страху на нас нагнал. Если б тогда этот Март-Дурачок не сказал, так и не нашли бы, пока мальчонка сам утром не явился бы. Где его будешь искать в темноте!

— Что вы старое вспоминаете,— заступилась бабушка за своего любимца.— Все это давно прошло, а что прошло, то забыто. Больше об этом и не напоминайте!

— Да нет, мы не потому... просто к слову пришлось,— промолвил Март.

Тогда Либле торжественно заявил:

— Вы за этого парня не бойтесь, он себя в обиду не даст. Водку пить он никогда не будет, я вам, если хотите, могу своей головой поручиться.

— А ну-ка, давай сюда голову,— язвительно вставила Мари.

— Ну, тебе-то я ее не дам,— быстро отозвался Libле, через плечо взглянув на девушку.— В твои руки я ее не отдам. Тебе и свою-то голову лень причесать, погляди, на кого ты похожа!

И он продолжал прежним тоном:

— У этого мальчугана в голове больше ума, чем вы думаете. Как заведешь с ним разговор, так только рот разевай. И о чем он только не думает, чего не придумает, не всякий взрослый так сумеет. Да нет, какое там! Разве взрослый сумел бы со мною так толковать, как он вчера на колокольне! Что бы там ни было, о чем бы мы там ни говорили, а я ему еще вчера там же, наверху, сказал: такому мальчонке нужен умный человек, чтоб с ним поговорил, на все вопросы ответил, которые он... ну, те, что он мне задавал. Нет, нет, из этого парня большой толк выйдет, вы не думайте. А знаешь, Арно,— обратился он к мальчику,— а что если все-таки взять да совсем бросить водку, как ты вчера говорил, а? Не околею же я от этого, а если и околею, так что за беда!

— Смерть придет, так помрешь, от чего бы там ни было, а только от того, что водку бросишь, наверняка не умрешь,— сказал хозяин.

— Бросишь пить, Libле? — спросила хозяйка. Как видно, ее обрадовало уже одно то, что Libле заговорил об этом. Она с минуту задумчиво смотрела на Libле, и в глазах ее можно было прочесть: вот было бы разумно, если бы ты бросил пить.

— Да нет, пусть пока все так и остается, сейчас я еще ничего не скажу, а потом видно будет,— уклончиво ответил Libле. Он не любил много о себе говорить и никогда не давал никаких обещаний. Во всяком случае, такие речи от него сегодня слышали впервые. Он не принадлежал к числу тех пьяниц, которые после каждой выпивки проклинают водку на чем свет стоит, а потом при первой же возможности опять напиваются. Когда окружающие принимались его журить, Libле обычно отвечал:

— Пью, конечно, пью; на свои собственные деньги пью. До самой смерти пить буду.

Арно появился из другой комнаты, взглянул на Libле и спросил:

— Libле

Часть вторая

I

Вскоре после рождества, холодным январским днем, в школе появились два новых ученика. Они, видимо, были из одной деревни, так как привезли их вместе и, как потом выяснилось, у них был на двоих только один шкафчик для книг и прочих вещей; обычно же у каждого ученика был свой отдельный шкаф. Новички подъехали к школе в то время, когда здесь шел третий урок, и им пришлось подождать в передней, пока начнется перемена и они смогут внести свои вещи. Запорошенные снегом спины приезжих и их раскрасневшиеся от мороза лица свидетельствовали о том, что приехали они издалека. Сначала все трое стояли молча. Мальчики притопывали ногами, чтобы согреться, а их возница, горбоносый старик с реденькой бородкой и глубоко запавшими глазами, курил трубку. Потом один из мальчиков, тот, что был повыше, светловолосый и голубоглазый, сказал:

— Интересно, какой у них сейчас урок.— Он улыбаясь вопросительно взглянул на товарища.— Должно быть, второй или третий, во всяком случае не первый. Узнать бы, который час.

— У них урок русского языка,— ответил другой, низенький и тщедушный мальчонка с острым личиком и черными глазами. Разговаривая, он как-то странно морщил нос, как будто ему что-то не нравилось.

— Откуда ты знаешь? — спросил голубоглазый.

— Так слышно же,— буркнул в ответ тщедушный мальчонка, снова сморщил нос и, резко повернувшись спиной к собеседнику, пошел к дверям.

— Можно бы сейчас снять с дровней кровати и шкаф,— сказал он,— потом меньше с ними возни будет. Пойдем, отец, снимем.

С этими словами он шагнул к саням и стал развязывать веревки.

На нем был поношенный серый тулупчик, узкий в плечах и слишком широкий у колен, делавший его фигуру похожей на кисточку, большие женские резиновые сапоги и такие огромные варежки, что в один палец легко умещалась вся его рука. Нетрудно было догадаться, что одежда на нем с чужого плеча. Сразу видно было, что это сын бедных родителей.

— Ну, иди же,— почти сердито крикнул он, видя, что отец замешкался.

Они сняли с дровней кровати, шкаф и котомки с провизией, а голубоглазый мальчуган ограничился тем, что осторожно взял под мышку какой-то завернутый в материю предмет и стал смотреть, как его спутники продолжают возиться у саней.

Урок кончился, и ребята с шумом и гамом высыпали во двор. Увидев приезжих, они столпились вокруг, вопросительно поглядывая то на мальчиков, то на возницу.

— В школу приехали? — спросил кое-кто из ребят, и несколько человек сразу вызвались внести в дом кровати и шкаф.

— В спальной, правда, тесновато, но две кровати, может, у окна и уместятся,— осипшим голосом пояснил один из мальчиков и закашлялся так, что у него слезы на глазах выступили.

— Издалека будете? — спросил другой и, узнав, что новички приехали из Тыукре, сказал, что у него там есть родственники.

В эту минуту к приезжим подошел и Тоотс, почему-то задержавшийся в классной дольше, чем обычно. Взглядом знатока оценил он их пожитки, осведомился, имеется ли ключ от шкафа, предложил новичкам купить у него ручку для пера и конек и пообещал, если сделка состоится, уступить им место в спальной рядом с его койкой. Одна только вещь не давала Тоотсу покоя — узелок, который с такой нежностью держал под мышкой голубоглазый мальчик. В узелке, наверное, скрывалось нечто необычное — иначе почему бы приезжий мальчуган так бережно с ним обращался. Тоотс даже потрогал этот таинственный предмет рукой. В узелке что-то странно забренчало, и теперь Тоотс прямо сгорал от любопытства.

— Что там такое? — спросил он, от нетерпения засовывая палец в рот. Он не мог дождаться, когда же этот, видимо, довольно медлительный и неразговорчивый мальчуган заговорит.

— Каннель [1],— добродушно улыбаясь, ответил приезжий и еще глубже засунул узелок под мышку.— А ты умеешь играть?

— Конечно, умею, отчего же не уметь,— отозвался Тоотс, широко расставив ноги.— Я на таком инструменте немало игрывал, у меня их было сразу целых три штуки, но мальчишка из Палу так пристал, что я ему их продал. Да мне сейчас каннель и не нужен, я собираюсь себе граммофон купить.

И, становясь с новичком совсем на дружескую ногу, он добавил:

— Пойдем в комнату. Как тебя зовут?

— Яан Имелик,— ответил тот.

— Какая странная фамилия [2]!

— Такая она и есть,— ответил Имелик и в сопровождении Тоотса, улыбаясь, вошел в дом, как будто кровати, шкаф и мешки — все это его не касалось. Его, по-видимому, интересовал только каннель, он продолжал его держать в руках даже тогда, когда старик и ребята, кряхтя и пыхтя, втащили в комнату его кровать и тюфяк. Никто еще даже не знал, как будут размещены их вещи, но едва внесли через порог и поставили на пол кровать Имелика, как он и Тоотс мгновенно уселись на нее и стали разворачивать каннель.

— Ого, так это же прямо замечательная штука! — с восхищением воскликнул Тоотс, увидев инструмент.— Ну-ка, сыграй!

Яан Имелик был, как видно, паренек сговорчивый — он несколько раз провел рукой по струнам, прислушался, настроен ли каннель, и заиграл. Постепенно вокруг них собрались почти все ребята, только несколько человек помогали второму новичку и вознице освобождать место для кроватей. Тоотс прямо

[1] Каннель — эстонский народный музыкальный инструмент, схожий с гуслями.

[2] Imelik *(эст.)* — удивительный, странный.

сиял от удовольствия, как будто и его заслуга была в том, что Имелик так хорошо играет на каннеле. На лице Тоотса можно было ясно прочесть: «Вот мы какие!». И все время, пока черноглазый мальчуган, морщась, устанавливал на место вторую кровать и шкаф, по комнате плыли тихие, нежные звуки каннеля. Арно и Тыниссон стояли за спиной у ребят и молча слушали музыку.

— Кто это такой? — спросил Арно у Тыниссона, подталкивая его локтем в бок.

— Не знаю... в школу приехал... Тоотс, видно, его знает... Сидит с ним рядом.

Но Тоотс не мог спокойно сидеть на месте. Эта мелодия успела ему надоесть; ведь его неизменным желанием всегда было, чтобы другой выкладывал перед ним все, что только есть у него за душой.

— Вот что,— сказал он музыканту, кладя руку на струны и не давая ему играть.— Теперь сыграй мне...

Он умолк на полуслове, потому что в эту минуту к ним быстро подошел черноглазый мальчик и, ничего не говоря, стал вместе со стариком сдвигать в угол кровать, на которой они сидели.

Тоотс с изумлением вскочил и уставился на неутомимого парнишку. Вначале он ему показался совсем обыкновенным мальчуганом, по крайней мере во внешности его не было ничего особенного. Но сейчас, когда он так усердствовал, Тоотсу подумалось, что будет все же очень интересно перекинуться с ним несколькими словами. Он подошел к Имелику, который со спокойной улыбкой шагал вслед за своей передвигающейся кроватью, взял его за пуговицу и шепотом спросил:

— Как его зовут?

— Юри Куслап,— ответил Имелик,— он такой странный мальчишка. Отец его у нас бобылем. Это его отец здесь с ним.

Он обернулся к Тоотсу, а вместе с тем и к другим ребятам и улыбнулся, словно давая понять, что он еще многое мог бы рассказать о Куслапе, но не к чему — они потом и сами увидят, какой он.

— Юри Куслап,— повторили про себя ребята и посмотрели в угол, где мальчик, о котором шла речь, ставил на место вторую кровать. Действительно, было в его лице нечто не совсем обычное. Сразу бросалась в глаза его странная гримаса — у него был такой вид, будто его все время что-то раздражает или мучает какая-то боль.

Перемена кончилась, учитель вошел в классную. Ни одного мальчика на месте не оказалось, а девочки предательски поглядывали в сторону спальной, поэтому учитель сразу понял, что произошло нечто из ряда вон выходящее. Выкрикивая на ходу: «Ну ребята, ребята!» — он направился в спальню.

Мальчики молча глазами указали на новичков, как бы желая сказать, что имеют право находиться сейчас здесь, а не в классе.

Отец Куслапа, увидев учителя, отвесил ему неуклюжий поклон и почтительно кашлянул; Тоотс потом еще не раз, к великой радости Кийра, передразнивал старика. Говорили даже, будто Тоотс, когда ему самому уже надоело обезьянничать, за каждый такой поклон и покашливание получал от Кийра старое перо, обладавшее свойством писать то тоньше, то толще, в зависимости от нажима. Впрочем, поди знай, так ли это,— мало ли что болтают злые языки.

Куслап-младший сморщил нос и сделал гримасу; он оторопел так, словно его уличили в преступлении. Зато Яан Имелик стоял перед учителем невозмутимо, точно какой-то бог — скорее всего, разумеется, бог-Ванемуйне[1], державший в руках каннель и улыбался. Ему все было нипочем, лишь бы при нем был его каннель.

— А-а, да это Куслап и Имелик! Что же вы так запоздали? Почему раньше не приехали в школу? — спросил учитель, разглядывая своих новых учеников.

— У меня тулупа не было,— сказал Юри Куслап поспешно и резко, словно боясь, что может запоздать со своим ответом.

[1] Ванемуйне — бог песни в эстонских сказаниях.

В толпе ребят кто-то фыркнул, но учитель так посмотрел на них, что все сразу утихли, а Тоотс, вынув и рывком развернув свой грязный носовой платок, стал тщательно сморкаться. Кийр, спрятавшись за спины других, скорчился и закрыл руками рот, как будто его душил смех, хотя ему совсем не хотелось смеяться.

У Арно на лице появилась сочувственная улыбка, а Тыниссон, казалось, прикидывал в уме, много ли нужно овчин на тулуп для такого заморыша, как Куслап: скажем, одна... полторы... ну, самое большое, две — и хватит. Два-три аршина материи, вот и все...

— Да, никак нельзя было раньше, господин учитель,— подтвердил со своей стороны старый Куслап и снова кашлянул.— Да и теперь трудновато было, не знал, откуда столько денег взять на учение, но раз уже дело начато...

— Ну ничего, это не так важно,— сказал учитель.— Наверстают, они ведь оба мальчуганы бойкие, как мне кажется. Правда? — обратился он к новичкам.

Имелик, улыбаясь, пожал плечами, а от окна послышалось торопливое и резкое «да!».

Затем все пошли в класс и начался урок арифметики. Старик Куслап некоторое время еще возился в спальной, потом на цыпочках прошел через классную комнату в коридор. У дверей он остановился, кашлянул и так же, как и раньше, неуклюже поклонился учителю.

Учитель вызвал обоих новичков. Имелик в прошлом году учился в министерской школе, но по каким-то причинам оставил ее и до рождества, ничего не делая, просидел дома — так он сам сказал учителю. Все, о чем его сейчас спрашивали, он когда-то учил, но успел перезабыть; он теперь смотрел на все эти вещи таким взглядом, каким смотришь на человека, которого, кажется, где-то видел, но все же не знаешь, кто он такой. При этом он нисколько не терял своего великолепного спокойствия.

Куслап же, по-видимому, многое знал, но, слабо владея русским языком, не мог как следует показать свои знания; между прочим, в его произношении не

было никакой разницы между буквами з, ч, ш и щ. Но он действительно знал арифметику — это видно было из того, что у классной доски он быстро решил задачу.

— Да, это у тебя получается,— заметил учитель, а Тоотс ужасно удивился: такой серый паренек, прямо мокрица какая-то, и так хорошо знает арифметику. Тоотс твердо решил вступить с ним в переговоры, втайне подумав: «Если он так хорошо решает задачи — пусть себе решает. Такому дай пару старых перьев — потом можешь у него вечно списывать».

Он, правда, обещал учителю готовить уроки самостоятельно, но обещание это было давно забыто и мысли Тоотса по-прежнему занимали индейцы, кентукские молодчики, самострелы, деревянные коньки с саженными веревками, словом, всякие необыкновенные вещи. Особенно поразительна была его способность фабриковать деревянные коньки, что, впрочем, следовало отнести и за счет большого сезонного спроса на них. Он продавал их ежедневно и по одному, и парами, но на следующий день снова приносил две-три штуки. Прошел слух, будто Тоотс изготовляет полозья для коньков из лезвий кос, причем из новых, а не из каких-нибудь старых, негодных. Однажды кто-то подслушал, как Тоотс шептал Визаку на ухо:

— Косы на чердаке лежат. Оттуда я их и беру... каждый день по одной.

Затем он сунул себе палец в рот и, грустно покачав головой, добавил:

— Вот будет дело, когда старик летом на покос соберется! Полезет на чердак за косами, а там палки одни. Хоть привязывай к ним старые подошвы да так и коси.

II

Однажды утром — погода была пасмурная, но не холодная — Арно, не дойдя примерно с четверть версты до шоссейной дороги, увидел, как Тээле быстро прошла по шоссе, ни разу даже не взглянув в сторону хутора Сааре. Никак нельзя было предположить, что она не заметила Арно. Значит, она намеренно прошла мимо, не желая почему-то его ждать. От изумления Арно так и застыл на месте. Сначала он подумал, что Тээле просто шутит; но она, не убавляя шага, уходила все дальше, и Арно понял, что это не шутка. Арно решил с ней поговорить. По дороге он тщательно продумал все возможные причины ее поступка, но так и не нашел ему оправдания. И от этого на сердце у него стало тяжело.

Вообще день этот выдался какой-то странный — на переменах Арно все никак не удавалось поговорить с Тээле. То ее окружали подружки и она оживленно с ними болтала, то потом на всю перемену девочки куда-то исчезли, а во время третьей и четвертой перемены вообще невозможно было что-либо предпринять, так как произошло необычайное происшествие, приковавшее к себе внимание всего класса, и мальчиков и девочек.

Тыниссон как-то сказал, что Куслап — настоящий «Тиукс», пискун.

Тоотс это слышал и теперь стал прыгать под самым носом у Куслапа, приговаривая:

— Тиукс, Тиукс, выйди в сад!.. Тиукс, Тиукс, выйди в сад!

Вначале Куслап слушал молча, только лицо его скривилось и нос сморщился. Стараясь отвязаться от надоедливого насмешника, он убежал в спальную комнату, но Тоотс, видимо, в данную минуту не находил более интересного занятия, чем дразнить его, и. сопровождаемый Кийром, ходил за Куслапом по

пятам. К кличке «Тиукс» вскоре прибавилось подражание поклонам и кашлю его отца, и бедняга Куслап прямо не знал, куда деваться от обидчика. Но вдруг черные глаза его лихорадочно сверкнули, узкое бледное лицо уродливо исказилось, и кентукский Лев даже опомниться не успел, как Куслап до крови укусил его за палец.

Этот необычный прием борьбы страшно испугал Тоотса; вытянув руку с окровавленным пальцем, он заорал:

— Гляди, гляди, что этот бешеный натворил! — Он вопил, оглядываясь на ребят и словно ища помощи; а ведь Тоотс умел за себя постоять, когда драка велась обычным способом, то есть когда тузили друг друга кулаками или трепали за волосы.

— Кошка! Кошка! Это кошка! — завизжал Кийр.— Он царапается и кусается, как кошка! Подальше от него! Видите, как он смотрит! И какие у него глаза. Кошка! Это кошка! Она сейчас прыгнет прямо на вас, берегитесь!

Перепуганные ребята посторонились и с изумлением смотрели на стоявшего в углу Куслапа; в темноте его глаза действительно сверкали зеленоватым блеском, как у кошки. Лицо его было по-прежнему искривлено гримасой, губы сжаты, а руки он держал за спиной, словно собираясь защищаться и пряча какое-то оружие.

Кийр как раз кончил есть яблоко и запустил в Куслапа огрызком. В цель он не попал, но спрятавшийся в угол мальчуган тряхнул головой, словно его ударили. Увидев, что у Кийра есть яблоки, Тоотс стал клянчить и себе одно, чтобы тоже потом швырнуть в Куслапа огрызком. При этом он совсем забыл о своем пальце и кровью измазал Кийру всю куртку, тот разозлился и пригрозил, что пойдет жаловаться. Но когда Тоотс раза два кашлянул и поклонился, подражая старику Куслапу, Кийр дал ему маленькое сморщенное яблоко. Запустить огрызком в Куслапа Тоотсу, однако, не пришлось; он и сам не заметил, как сжевал яблоко вместе с сердцевиной. Тогда он вытащил из кармана спичечный коробок и стал обстреливать Куслапа горящими спичками. После каж-

дого выстрела спичкой Куслап, встряхивая головой, отступал все дальше в угол. Тоотсу, вероятно, пришлось бы израсходовать весь свой запас спичек на этот «орудийный огонь», как он его называл, если бы двое более взрослых парней — Ярвеотс и Кезамаа не взялись вытащить Куслапа из угла, чтобы посмотреть, что же это за зверь. Тоотс и Кийр одобрили этот план и, прячась за спинами Ярвеотса и Кезамаа, подобно запасному войску, двинулись на Куслапа. Но не успели еще атакующие к нему приблизиться, как он вдруг присел на корточки и с ловкостью ящерицы шмыгнул под кровать.

— Лови его, лови! — закричали нападающие, и тут, словно по команде, началась охота за ползающим под кроватями мальчиком. Даже любопытные девчонки, толпившиеся в дверях спальной, не смогли остаться безучастными зрителями: чуть только из-под какой-нибудь кровати показывалась голова Куслапа, они начинали махать руками и кричать:

— Вон он где, вон он где! Брысь! Ты куда! Дайте ему по голове, чего он кусается!

Среди девочек была и Тээле. Арно, взглянув на нее, с грустью заметил, что она хохочет так же весело и беспечно, как и другие девочки, словно перед ней — играющие котята.

Арно была совсем не по душе такая охота; затравленный мальчуган ползал в пыли под кроватями, то и дело стукаясь головой об их ножки. К тому же он был такой тщедушный и жалкий, так бедно одет — у него не было даже приличного шарфа на шее. Арно подошел к Тыниссону, собиравшемуся идти в класс, и шепнул ему:

— Пойдем скажем им, пусть они его не дразнят.

Но Тыниссон пожал плечами и ответил сухо:

— Так пусть вылезает, чего он там под кроватью валяется. Не съедят же они его.

Тем временем Кезамаа удалось схватить Куслапа за голову и с помощью других ребят вытащить из-под кровати. Куслап барахтался и отбивался, как безумный, словно боялся, что едва его вытащат на свет, тут ему и конец. Он кусался, царапался, брыкался ногами и с такой силой ударил Тоомингаса го-

ловой в нос, что у того искры из глаз посыпались. Но вот сильные руки подняли Куслапа в воздух и положили на пол; здесь ребята окружили его со всех сторон и, крепко держа за руки и за ноги, потребовали, чтобы он сказал, «почему он так сделал». Вместо ответа Куслап попытался укусить державших его мальчишек, из-под его бледных губ сверкнули острые белоснежные зубы. Пленник продолжал упорно молчать, его преследователям все это уже надоело, и они ограничились тем, что лежавшему на полу мальчугану дали несколько тумаков и отпустили его. Только Кийр успел еще в последнюю минуту дернуть его за волосы и, с презрением крикнув: «Эх, ты!» — тотчас же спрятался за спины других. Куслап встал, осмотрелся вокруг каким-то пустым взглядом, укусил вдруг Кезамаа за руку, потом промчался сквозь толпу в коридор, но здесь споткнулся о полено, валявшееся у двери, упал, да так и остался на полу. Возможно, мальчишки снова стали бы его мучить, но тут в класс вошел учитель и начался урок. Один только Арно вышел в коридор посмотреть, куда же Куслап удрал со страху. Увидев, что тот лежит ничком, Арно испуганно наклонился к нему.

Арно, правда, слышал, как кто-то тихонько открыл дверь классной и, остановившись у него за спиной, шепнул: «Не подходи к нему близко! Отойди!» — но не обратил на это внимания. С ужасом смотрел он, как Куслап зубами отрывает с полена кусок бересты, а все его маленькое тельце дрожит, не то от холода, не то от злобы. Арно попробовал помочь ему встать и спросил, больно ли он ушибся, но вдруг почувствовал, как большой палец его правой руки словно зажали крепкими тисками. Он вскрикнул от страха и боли и, сам не сознавая, что делает, ударил лежащего левой рукой по лицу. При этом ему удалось освободить свой палец, но он тут же увидел, что у Куслапа из носа темной струйкой течет кровь, брызгая на полено. Как раненый зверек, лежал мальчик на полу и, весь бледный, смотрел на Арно злыми глазами, словно тот был его смертельным врагом. Куслап был весь в пыли, окровавленный, в разорванной одежде, маленький, точно червячок; холодная дрожь хватила Арно при мыс-

ли о том, как этот мальчик сейчас озлоблен. Он тотчас же забыл про свой палец, чувство злобы и отвращения к этому грязному жучку исчезло и сменилось жалостью. В эту минуту кто-то, наклонившись к его уху, снова прошептал:

— Иди в класс, я сам его уведу.

Это был Яан Имелик. Он стоял, улыбаясь как всегда, и его взгляд ясно говорил, что присутствие Арно сейчас бесполезно: если уж кто и может справиться с Куслапом, то только он, Имелик. Тщательно пряча свой палец, Арно ушел в класс. А Яан Имелик принес из угла полено, поставил стоймя, сел на него и, подперев голову руками и упираясь локтями в колени, стал тихо, нараспев говорить с Куслапом.

— Не помню, рассказывал я тебе когда-нибудь или нет,— начал он,— но это просто удивительно, как иной мальчишка всегда умеет найти меткий ответ; подумаешь — и сам не знаешь, откуда у них такие ответы берутся. Я на месте этого мальчишки и совсем не знал бы, что ответить, а он, глядишь, так отрежет, что все со смеху прыскают, даже учитель смеется... да... Ну, а мальчишке только и надо, чтобы учитель смеялся. Тогда, как говорится, «бани не будет». Не помню, рассказывал я тебе эту историю?

— Какую? — еле слышно отозвался Куслап с пола.

— Какую, какую...— ответил Имелик.— Как же я стану тебе рассказывать, если ты на полу лежишь. Летом на лугу — там можно и растянуться на животе, погреться на солнышке, а тут, в холодных, грязных сенях, люди или стоят, или хотя бы сидят, как я. Вот подумаешь потом и сам поймешь, как это некрасиво, когда человек валяется на полу, точно пьяница возле трактира. Верно?

Куслап чуть приподнял голову, словно внимательно к чему-то прислушиваясь, уставился в одну точку немигающими глазами и продолжал молчать.

— Где твой платок? — спросил его Имелик немного погодя.

Куслап вытащил из кармана большой платок с красными узорами, вытер сначала глаза, потом нос и тонкими, бледными, почти прозрачными пальцами лихорадочно смял платок в комочек. Казалось, будто

он только сейчас очнулся и начинает понимать, что происходит вокруг. Имелик, улыбаясь, вопросительно посмотрел на него и снова заговорил лениво, нараспев:

— А поди знай, был ли вообще на свете мальчишка, который умел так отвечать. Может, кто-нибудь просто это выдумал, а потом пошла молва, будто мальчик умел так говорить. Бывают же на свете такие умники — они только и делают, что придумывают разные смешные вопросы и ответы. Не помню, рассказывал я тебе уже эту историю или нет.

— Какую историю? — спросил Куслап, резким движением поднялся и сел на полу, нетерпеливо глядя на Имелика.

Но тот, видимо, не особенно спешил с ответом — он в свою очередь взглянул на Куслапа и заметил наставительным тоном:

— Ты бы лучше платок этот намочил у колодца и смыл с лица кровь, а то не сойдет.

Они пошли к колодцу. Имелик смочил узорчатый платок и стал обмывать Куслапу лицо. Тот стоял перед ним словно дитя перед матерью, когда она вытирает ему нос. Отойдя от колодца, Имелик положил руку ему на плечо. Делая большие шаги и покачивая головой за каждым шагом, словно отсчитывая их, он снова стал рассказывать:

— Вот однажды мальчик этот опоздал в школу. Учитель ему сразу: «Где ты был?» А мальчик ему в ответ: «Мне далеко идти, на дороге скользко, приходится делать один шаг вперед, два назад!» Учитель ему на это: «Как же ты вообще до школы дошел, если один шаг вперед делал, а два назад?» — «А я повернулся и стал назад, к дому шагать», — отвечает мальчик.

— Я так и думал, — сказал Куслап.

— Что ты думал?

— Ну, что он, наверно, назад пошел. Если он делал шаг вперед, а два назад — он же должен был...

Куслап опустил глаза и, быстро моргая, словно что-то высчитывал в уме.

— Да, да, но он просто пошутил, чтобы ему не по-

пало от учителя. Кто же так будет ходить, какая бы там дорога ни была, пусть хоть стеклянная.

Пролетел и обеденный перерыв, на который Арно так надеялся, но с Тээле ему поговорить не удалось. Вскоре после обеда Имелик, уступая настойчивым просьбам Тоотса, принес свой каннель и стал играть. Тоотс между тем уже успел примириться со своей участью, и со стороны могло показаться, что он скорее гордится своим перевязанным пальцем, чем страдает от боли; только когда ему кто-нибудь о ней напоминал, он, помахивая рукой, осторожно дул себе на укушенное место и с видом мученика смотрел на ребят. Мальчишки плотным кольцом окружили музыканта и с нетерпением ждали, когда он заиграет, наперебой называя ему свои любимые мелодии.

Девочки, стоявшие чуть поодаль, пошептались между собой и попросили сыграть «рейлендер». Куслап тихонько сидел на своем месте и усердно обертывал книги бумагой, изредка бросая злобные взгляды на окружающих.

Арно стоял у окна и с раздражением посматривал то на музыканта, то на Тээле; она сегодня казалась более оживленной, чем обычно, но на Арно, видимо, не обращала никакого внимания. Имелик настроил каннель, оглядел стоящих вокруг ребят, словно спрашивая, что же ему все-таки играть, потом откашлялся и заиграл — то ли действительно по чьей-то просьбе, то ли по собственному почину — именно «рейлендер». Шум затих, все с увлечением слушали, а кое-кто притопывал в такт ногой и присвистывал. Арно поражался тому, что Имелик, этот увалень, так прекрасно играет; его большие ленивые пальцы сейчас до того быстро и ловко скользили по струнам, что любо было смотреть. И чем больше Арно слушал, тем больше увлекала его музыка — он даже о Тээле забыл. Вот чудесно было бы, думалось ему, если бы он, Арно, умел так же хорошо играть на скрипке, как Имелик на каннеле. Но научиться играть на скрипке было гораздо труднее, чем ему раньше казалось. С каннелем, наверно, дело обстоит проще; едва ли Имелик потратил столько усилий, сколько Арно, упражняясь на скрипке. Нет, этому мальчугану было даже лень хо-

дить, он волочил свои длинные ноги, точно молотильные цепы; и ему ни за что не справиться бы с такой работой, какую Арно проделал начиная с рождества. Смутное чувство охватило Арно; в душе его проснулось нечто похожее на зависть к Имелику; какой-то внутренний голос подсказывал ему, что этот парень, несмотря на его лень и небрежность, когда-нибудь станет помехой на его пути. Но как бы там ни было, на каннеле Имелик играл великолепно. Даже Тоотс сначала слушал тихо, и если он действительно был одержим злым духом, как любил говорить о нем кистер, то, как видно, музыка оказывалась единственным средством, способным хоть на короткое время обуздать вселившегося в него Вельзевула; так некогда звуки Давидовой арфы умиротворяли беснующегося Саула. Но Вельзевулы, по-видимому, не любят долгой тишины. Мы знаем из библии, что однажды, когда Давид играл перед царем Саулом, тому вдруг захотелось проткнуть музыканта копьем. Но кто их знает, этих бесов, Вельзевулов, все они, в конце концов, между собой родня, и у нас нет никаких оснований полагать, что злой дух Саула не был предком злого духа, вселившегося в Тоотса; а подтверждается родственная связь этих бесов их одинаковыми кознями. Тоотсу, правда, не приходило в голову бросаться на кого-нибудь с кинжалом, но он проявлял другие признаки беспокойства — грыз ногти, перебегал с места на место; по всему видно было, что змий, обитавший в душе этого человека, не умер, а, напротив, горделиво поднимает голову. Рябоватое лицо Тоотса покрылось красными пятнами, будто он вдруг заболел корью; глаза широко раскрылись, ноздри раздулись, а у рта появилась непонятная складка — не то улыбка, не то выражение испуга. Он вдруг схватил маленького Лесту за плечи и, силой стащив его со скамьи, увлек танцевать. Леста отбивался изо всех своих жалких силенок и плаксиво кричал:

— Не пойду, не пойду!

На его счастье, Тоотс во время этой возни наступил Кийру на мозоль, тот громко завизжал, стал ругаться, и внимание Тоотса было отвлечено в сторону: что бы там Кийр собой не представлял, с его визгом

и воем нужно было считаться — самое ужасное было то, что он любил ябедничать. А этого Тоотс терпеть не мог, в особенности если ябедничали на него самого.

Теперь он мог держать Лесту только одной рукой, а другой делал всякие выразительные жесты, стараясь утешить Кийра. Свои оправдания Тоотс почти всегда начинал одними и теми же словами: «Чудак такой, я же не виноват...» — затем шло пространное объяснение, из которого следовало, что виноват весь мир, но только не Тоотс. Кийра он, кроме того, начал поучать, как избавиться от мозолей: после грозового ливня надо собрать воду, скопившуюся где-нибудь в ямке на камне и помочить ею ногу, тогда мозоли как рукой снимет, будто их никогда и не бывало. Когда Кийр спросил, откуда же зимой взять грозовой ливень, Тоотс тут же рассчитал, что до лета совсем недалеко: от рождества до сретения шесть недель, от сретения до масленицы — три, от масленицы до поминального дня — одна, от поминального дня до благовещения — три недели, от благовещения до Юрьева дня — месяц, а после Юрьева дня может в любой день разразиться такая гроза, что только держись. Но, высчитывая все эти дни и недели, бедняга забыл о своей жертве, и рука его, державшая Лесту, чуть разжалась. Этого было достаточно. Словно птичка, выпорхнувшая из клетки, которую забыли закрыть, выскользнул маленький Леста из рук своего мучителя, охваченного жаждой танца. Тоотс в это время с жаром говорил о мозолях, и, видимо, у него не было особой охоты гнаться за беглецом. Поэтому он только сделал такое движение, как будто собирался схватить Лесту, но тут же снова повернулся к Кийру и продолжал болтать. Казалось, с танцами сегодня ничего не выйдет; но, как мы уже говорили, в Тоотса вселился искуситель, а он, если уж что-нибудь затеял, в покое не оставит, пока не доведет дело до конца.

Как и можно было предполагать, Кентукскому Льву вскоре надоело толковать о мозолях, и присутствующие. к своему изумлению, увидели, как Тоотс, загадочно усмехаясь, направился к толпе девочек, отвесил Тээле уморительный поклон и «пригласил» ее

танцевать. Потом обернулся к ребятам и зычным голосом приказал Имелику:

— Давай скорее польку, пойду плясать с невестой Тали!

Все громко расхохотались.

Тээле, хотя учение и давалось ей нелегко, была одной из самых толковых девочек в классе; иногда она и сама это подчеркивала, что совсем не нравилось остальным девчонкам. Поэтому они очень обрадовались, когда Тоотс решил при всех выкинуть с ней такую шутку.

Тээле вся вспыхнула от стыда, пробормотала что-то угрожающее по адресу Тоотса и попыталась спрятаться за спины других, но не успела — Тоотс схватил ее за руку и под общий хохот потащил к учительской кафедре; ему было тем легче это сделать, что никто из девочек и не подумал прийти ей на помощь, наоборот, они еще и подталкивали ее сзади. Арно побледнел от злости; он хотел было броситься на Тоотса, но тут же понял, что тогда дело примет еще более щекотливый оборот, к тому же Тоотс был куда сильнее его. А Тоотс уже кружил Тээле в диком вихре танца, насильно волоча ее за собой. Имелик вдруг пришел в необычайно веселое настроение, его широкое добродушное лицо совсем расплылось в улыбке и чуть залоснилось, а пальцы с удвоенной ловкостью заскользили по струнам, хотя он больше смотрел на танцующих, чем на каннель: с каждым новым туром танца он бросал взгляд на струны, потом резко вскидывал голову — и ритм музыки становился еще более стремительным, азарт музыканта еще более кипучим.

Кстати, азарт этот был необходим: не так-то легко было заглушить музыкой смех и визг всего класса. Танцующая пара приблизилась к двери передней, соединявшей класс с кабинетом кистера. Арно отступил на несколько шагов от окна; он твердо решил все же прийти Тээле на помощь, ибо надеяться, что Тоотс сам прекратит свой безумный танец, никак нельзя было; танцор видел, что все в восторге от его отваги и остроумия, и это его с каждой минутой все больше подзадоривало. Но в это мгновение распахнулась дверь в переднюю. Тоотс споткнулся и, увлекая за собой Тээле

с разбегу влетел в переднюю кистерского кабинета, а там грохнулся на пол, натолкнувшись на какую-то весьма громоздкую вещь, которая, судя по глухому шуму, потеряла равновесие н распласталась на полу рядом с танцорамн. Те, кому довелось во время этого происшествия быть недалеко от дверей, рассказывалн потом, что в дверях сначала нельзя было разглядеть ннчего, кроме множества барахтающихся ног. Крик н музыка мгновенно стихли—все понялн, что пронзошло нечто непоправнмое; воздух был наэлектризован, приближалась гроза. Это было затишье перед бурей. Потом в передней, как видно, та самая вещь, которую Тоотс, падая, опрокинул, вдруг заохала, запыхтела н разразилась такой руганью, что у мальчишек мороз по коже прошел. Теперь всем стало ясно, что опрокинутый Тоотсом громоздкий предмет — не что нное, как сам кнстер. Началась суматоха — каждому хотелось спастись и поскорее очутиться на месте, за партой. Кийр мигом позабыл про свою мозоль, от которой лишь несколько минут назад, по его словам, у него чуть лн не нскры из глаз сыпались, н, от испуга не разбирая, где его парта, на бегу впопыхах ткнулся в грудь Кезамаа. Имелик схватил каннель и, прыгая через скамейкн с таким проворством, какого никто не мог бы в нем заподозрнть, нсчез в спальной, а в толпе девочек послышался треск — должно быть, кто-то из них в страшной сутолоке разорвал юбку. И вот, когда все более нли менее прншло в порядок, класс увидел такую сцену.

Из передней, с безумным испугом на лице, весь растрепанный, со странно ввалившимися глазами и огромной красной шишкой на лбу, выскочил Тоотс и на мнг остановился возле учнтельской кафедры. Он напоминал затравленного зверя, который, вырвавшнсь из леса на опушку, на секунду останавлнвается, чтобы осмотреться — в какую сторону ему бежать. Но, как мы выше говорили, сомнения Тоотса длились одно лишь мгновение, в следующую же секунду он, тяжело дыша и прижимая руку к груди, вылетел в коридор, так захлопнув за собой дверь, что в классной стены задрожали. И действнтельно, он сделал это вовремя: в дверях передней появилась сначала бамбу-



ковая трость, а за нею и сам кистер; вытирая лицо носовым платком, он сыпал ругательствами и проклятиями. За ним следом показалась Тээле. Прядь волос свисала ей на глаза. Девочка, хотя и громко всхлипывала, видимо, совсем убитая горем и стыдом, однако не забывала тщательно прикрывать рукой свою разорванную кофточку. Кистер обернулся к ней и заорал:

— Чего этот Тоотс тебя тащил?

— Он меня танцевать пригласил.

— Ага-а!

И, опять повернувшись к классу и сильно стукнув палкой о пол, кистер спросил:

— Куда девался Тоотс?

Кийр указал на дверь, ведущую в коридор. Кистер велел Тээле сесть за парту, а сам решительным шагом направился в коридор.

В классе стояла гробовая тишина, слышались только всхлипывания Тээле да злорадное шушуканье девчонок. Со двора доносились чьи-то голоса, они то удалялись, то снова приближались, а временами совсем затихали. Где-то далеко ковали железо: дзинь, дзинь, дзинь!.. В дверях спальной комнаты появился Имелик и с улыбкой спросил: «Ушел?» Получив утвердительный ответ, он тихонько проскользнул на свое место. Настроение у всех было подавленное, девочки вскоре притихли, а если кто-нибудь заговаривал чуть громче, на него сразу шикали: «Тсс!» — и снова напряженно прислушивались. Страх сдавил всем грудь, не давал свободно дышать. Арно казалось, что он видит все это во сне.

Вдруг среди мертвой тишины из коридора послышался шорох и в дверь просунулась чья-то голова с шапкой рыжеватых волос. Голова эта сначала осторожно огляделась по сторонам и только потом появилась в классной уже вместе со всем телом, а обладатель ее, с лица которого еще не исчезло выражение ужаса, стал рассказывать:

— Ох ты, дьявол, как налечу я на кистера — бац! — у него верхняя губа сразу надвое, как у зайца, а у меня шишка на голове вскочила, будто рог какой, черт подери! Потом, ох ты господи, как ринется он по

коридору, точно бес, догонять меня, а сам кричит: сейсскер да сейсскер![1] Что это значит — сейсскер? А я в чулан спрятался и из-за двери выглядываю. Боже ты мой, как он несся! Он думал — я домой удрал, да как бы не так, не дурак же я! Я запрячусь тут, пока Лаур придет,— тот из меня душу вытрясти не даст. И тут еще вот какое дело: домой пойдешь, а Юри-Коротышка потом обратно в школу и не пустит.

В коридоре послышались тяжелые шаги. Тоотс сразу же замолчал, быстро огляделся, ища, куда бы спрятаться, и юркнул под парту, шепнув сидевшему на ней Тоомингасу:

— Пусти меня, пусти!

Едва он успел скрыться, как в классную вошел кистер.

Что произошло потом, мы увидим в следующей картинке.

---

[1] Искаженное немецкое слово Scheisskerl — негодяй.

III

Ну так вот, когда кистер вошел в класс, Тоотс уже был под партой. Но — ох ты горе! — если бы он хоть там, как ни плачевно было его положение, постарался лежать тихо!

— Его здесь нет? — спросил кистер.

Все молчали. Но момент этот был для Тоотса очень опасным. Как легко мог бы сейчас кто-нибудь из ребят... ну да, так и есть, Кийр уже кашлянул... Жаркая струя пробежала по телу Тоотса — казалось, все погибло. Но он успел еще задать себе вопрос — каким способом лучше всего было бы убить Кийра. Этот дьявол прямо-таки невыносим со своими вечными ябедами! Однако здоровенный тумак, которым Тыниссон вовремя и в соответствующее место угостил Кийра, оказал на ябедника такое воздействие, что он не решился выдать Тоотса. Он только уродливо поджал губы и, наверно, заревел бы благим матом, так что в конце концов, после перекрестного допроса, беглеца поймали бы, но Тыниссон подкрепил свой тумак еще и угрозой:

— Мы тебя, Кийр, в реке утопим, попробуй только пикнуть! — проговорил он тихо, но так решительно, что Кийр испугался, как бы тот и вправду не осуществил своей угрозы. Тыниссон вообще шутить не любил, кроме того, Кийру почему-то вдруг вспомнилось, как отважно дрался Тыниссон осенью с мальчишками с церковной мызы. Кийр глотал, глотал слюну, моргал глазами и все же удержался от слез.

— Ну, так как же? — снова крикнул кистер.— Дождусь я ответа или нет? Кому я говорю — вам или печке?

Молчание. В классе, конечно, нашлись бы ученики, готовые со страху выдать Тоотса, кое у кого уже чесался язык, хотя бы потому, что этим ребятам хоте-

лось заслужить милость кистера; но они боялись «старичков» — те недолюбливали ябедников и могли еще потом порядком отдубасить.

Из девочек Тоотс больше всего опасался Тээле: она могла его выдать уже из одного чувства мести и, возможно, так и поступила бы, если б не помешали подружки, державшие сейчас сторону Тоотса. Сам Тоотс, пребывая в весьма жалком состоянии — лежа под партой у ног Тоомингаса, думал так:

«Только бы Кийр удержался, тогда все обойдется, другие так легко не выдадут. Разве еще Тиукс... Куслап этот... тоже, наверно, злится на меня, что я в него спичками швырял. Да еще, пожалуй, белобрысая (он имел в виду Тээле) может разболтать, а впрочем, поди знай...» И, почесывая нос костяшкой пальца, он продолжал рассуждать:

«Черт побери, нехорошо все-таки, когда на мозоль кому-нибудь наступишь; вот как сейчас, например,— такой враг может все дело испортить. А если еще кашлянешь или чихнешь, что тогда?»

Но и эта коротенькая нить его размышлений резко оборвалась, его опять бросило в жар; он стал прислушиваться так напряженно, точно весь превратился под скамьей в одно огромное ухо.

Кистер, наконец, совсем потерял терпение и решил избрать самый верный путь, который в таких случаях почти всегда приводит к цели. Он схватил за плечо маленького Лесту, потряс его и спросил:

— Говори, где Тоотс?

«Ну, теперь все пропало — ведь Леста тоже на меня зол!» — подумал Тоотс и от волнения сунул палец в рот. Но Леста стал заикаться и заговорил неожиданно для всех смешным старческим голосом: он, мол, ничего не знает... э-э... он был в спальне... э-э...— и так далее, словом, понес такую чепуху, в которой, как говорится, и сам кистер ничего не поймет.

«Ну и врет же, черт,— обрадовался Тоотс и перевел дыхание.— Теперь дело в шляпе, теперь я тут, как у Христа за пазухой. А когда придет Лаур, я и вырасту из-под земли, точно ель, тогда уже не так страшно; Юри-Коротышка по крайней мере драться не по-

смеет, а бесноваться — пусть себе беснуется». Мысль эта настолько его успокоила, что он, позабыв о нависшей над ним опасности, вытащил из кармана перочинный ножик и стал подрезать Тоомингасу подметку.

— Что ты делаешь! — прошептал Тоомингас, испуганно отдергивая ногу.

— Кору с черемухи[1] сдираю! — послышалось в ответ, и в то же время под партой что-то зажужжало, как будто там запустили маленький мотор. «Пум-пум-пум»,— смеялся Тоотс. Но то был его последний смех в это утро. От кистера не ускользнуло таинственное перешептывание Тоомингаса с кем-то находящимся под скамьей; согнувшись и присев на корточки, чтобы заглянуть под парту, кистер встретился глазами с Тоотсом.

— Ага-а, вот ты где!

Одного большого и одного маленького — это были Тоомингас и Леста — погнали в угол, весь класс должен был встать, а Тоотсу приказано было немедленно вылезти из-под парты, а не то... Больше не было сказано ни слова, но никто не сомневался, что за этим кроется нечто ужасное. Тоотс отлично помнил, как на прошлой перемене Куслапу, очутившемуся приблизительно в таком же положении, как сейчас он сам, удавалось довольно долго скрываться от толпы преследователей; Тоотс решил теперь использовать тот же метод, во всяком случае, не спешил вылезать из-под парты. Но бамбуковой трости кистера такая заминка явно не нравилась, трость эта нетерпеливо стучала о пол, мелькала в воздухе, шарила и рыскала под скамьями. Ее предприимчивости ничуть не помешало и то, что она опрокинула несколько чернильниц, вымазав руки кистера чернилами, и неосторожным взмахом разбила окно.

Но даже со дна морского поднимают затонувшие корабли и сокровища, так почему же было не извлечь Тоотса, который, как известно, не был ни кораблем, ни сокровищем и в пучину морскую не опускался: в какой-то злополучный момент, когда Тоотс высунул ногу

[1] Toomingas *(эст.)* — черемуха.

чуть больше, чем следовало, кистер ухватился за нее и вытащил ее обладателя из-под парты.

Минут через десять в классе можно было наблюдать новую сцену. Тоотс стоит у печки, поминутно поводя плечами и вытягивая голову вперед, и время от времени почесывается спиной об угол печки. Все его движения говорят о том, что со спиной у него что-то неладное. Мальчики по-прежнему сидят за партами, но уже с повеселевшими лицами; нет больше прежней томительной тишины — в классе оживление шушукаются.

— Какой черт тебе велел из чулана вылезать? — спрашивает Тоотса Ярвеотс.— Раз ты уж туда спрятался, так и сидел бы, пока кистер не уйдет.

— Скучно стало, делать было нечего,— отвечает Тоотс.

— Ну, так хоть бы под партой не вертелся. А то, дьявол этакий, сапог мне резать начал,— сердито замечает Тоомингас.— А теперь я еще и виноват, что спрятал тебя под своей партой.

— Да нет,— оправдывается Тоотс,— я же верх не резал, только подметку чуть с краю поцарапал.

И тут какой-то шутник замечает довольно громко, так что все слышат:

— Ну вот видите, а Кийр говорит, будто зимой грозы не бывает. Была ведь гроза, и если б сейчас пошел дождь и упало бы столько капель, сколько молний ударило Тоотсу в спину, так не один Кийр, а весь класс мог бы мозоли вылечить.

— Ну, я-то реветь не буду,— откликается из-за печки Тоотс — он прекрасно понял скрытый смысл этой шутки.— Но, черт его знает,— продолжает он,— сегодня день какой-то сумасшедший, все время не везет: палец поранен, на лбу шишки... и...

Он вдруг умолкает и, поводя плечами, трется спиной об угол печки. Но иногда молчание бывает красноречивее слов.

IV

Ясно, что в таких условиях, когда разыгрывались столь важные события, Арио не удалось поговорить с Тээле. Но он все-таки решил во что бы то ни стало сегодня же выяснить, почему Тээле в последнее время не так приветлива с ним, как раньше, почему она не подождала его утром у дороги, будто намеренно желая ему показать, как мало он для нее значит. Чтобы узнать все это, оставалась еще только одна возможность — пойти вместе с Тээле домой. Но и тут возникло препятствие: учитель, как назло, именно сегодня назначил урок скрипки последним, обычно же урок этот он давал Арио в обеденный перерыв. Необходимо было преодолеть и эту трудность. И произошло то, чему ни сам Арио, ни те, кто знал его поближе, ни за что раньше не поверили бы. После занятий Арио, подойдя к учителю, соврал ему, даже не запинаясь, что у него болит голова, и попросил перенести урок на какой-нибудь другой день. Затем он быстро завязал в узелок свои книги, и вскоре можно было видеть, как он медленно шагает к воротам, то и дело оборачиваясь и оглядываясь на школу. Наконец появилась и Тээле. Лицо у нее все еще было красное и злое. Арио был очень доволен, что выбрал для разговора именно сегодняшний день. После всех пережитых злоключений Тээле, конечно, тяжело — значит, она сейчас больше всего нуждается в утешении и сочувствии. Можно было думать, что она и к чужому горю отнесется более чутко, и Арио испытывал огромную радость при мысли, что сможет излить перед ней свою душу.

— Тээле! — тихонько позвал он, когда девочка поравнялась с ним.

— Чего тебе? — резко спросила Тээле, нахмурившись и даже не оборачиваясь к Арио.

— Ты не принимай так близко к сердцу сегодняшнюю историю. Я хотел помочь тебе, но...

— Убирайся! — прошипела Тээле, исподлобья взглянув на него.

Арно отпрянул, словно его ударили. Так отскакивает собака, которая увязалась было за своим хозяином, а тот вдруг замахнулся на нее плеткой. Все вокруг — и снег, и белая стена церкви, и дома — слилось перед его глазами в сплошную черную массу, а в голове словно иголками закололо — такое ощущение иногда бывает в ногах, когда они одеревенеют. В черневшей вокруг массе возникло вдруг зеленое пятно и, отделившись, стремительным облаком понеслось прямо на него. Еще несколько мгновений — и облако это вихрем подхватит его, как листочек, и умчит вдаль, а куда — неведомо.

— Ну иди сюда, чего уставился! — услышал он чей-то голос. Но голос этот звучал откуда-то издалека и казался совсем чужим.

Очнувшись, он увидел Тээле — она шла к нему. Арно почему-то отступил на несколько шагов, к школе. Так напуганная собака старается держаться подальше от замахнувшегося на нее человека, не идет даже на его ласковый зов, а крадется поодаль.

— Ну, не идешь — и не надо,— сказала Тээле и, резко повернувшись, быстро зашагала по направлению к своему дому. Арно растерянно поглядел ей вслед и стал думать — что же ему сейчас делать. Идти домой? Зачем?.. Пойти обратно в школу? А там что?.. На речку? Там тоже нечего делать! Там такой же снег, как и здесь, на дороге. Снег, всюду снег. Скорее бы весна!

Словно в тумане видел он, как с шумом и гиканьем высыпали во двор мальчишки, и угощая друг дружку тумаками в спину и крича: «Пятнà! Пятнá!» — рассыпались во все стороны. Некоторые неслись мимо так стремительно, что из-под ног у них вздымался снежный вихрь; указывая на дорогу, они кричали ему: «Идем, Тали!» Но Арно все стоял на месте.

С другой стороны к школе медленно подполз какой-то воз и остановился у дверей. С него слезли двое — один похожий на мальчика, но ростом уже со взрослого мужчину, другой пожилой, бородатый,— и

стали тихо о чем-то советоваться, показывая на крыльцо школы. В это время в дверях ,появился Кийр с книгами под мышкой, и один из приезжих, тот, что был постарше, спросил Кийра, как пройти к господину учителю. Кийр пристально взглянул на него, склонил голову набок и пожал плечами — казалось, он раздумывает, не зная, что сказать, потом хитро ухмыльнулся и показал рукой на кухню кистера.

Но едва приезжие скрылись за дверью кухни, Кийр запрыгал с ноги на ногу, как сумасшедший, и захихикал: «Хи-хи-хи!»

Заметив на дороге Арно, он тотчас же подбежал к нему и залопотал скороговоркой, словно рот у него был набит горячей кашей:

— Хи-хи, это, наверно, новый ученик со своим отцом. Они хотели к учителю попасть, спросили, куда идти, а я их на кухню послал. Хи-хи, пусть поищут! А кухарка их выгонит да еще крикнет: «Какой вам тут учитель!» Хи-хи! Вот потеха, верно? Тоотс завтра узнает — со смеху лопнет!

Кийр продолжал прыгать, время от времени сгибаясь в три погибели, словно у него от смеха делались колики; при этом его широкие штаны трепыхались на ветру, как будто были надеты не на человеческие ноги, а на палки. Он был уверен, что Арно тоже расхохочется или, по крайней мере, придет в восторг от его остроумия, но Арно широко раскрытыми глазами задумчиво глядел куда-то в сторону и, казалось, едва замечал его. Через несколько минут Арно повернулся к нему спиной и медленно зашагал домой. А Кийр уходил с гордым сознанием, что выкинул замечательную штуку, затмившую даже подвиги Тоотса. Свои мелкие проказы и плутни Кийр только для того и совершал, чтобы потом ими хвастаться перед другими, в то время как Тоотсу, когда он озорничал, никогда и в голову не приходило, что он озорничает; просто его беспокойная, неугомонная натура жаждала деятельности.

V

«Приду домой, лягу в постель, натяну на голову одеяло и скажу всем, что я болен»,—думал Арно по дороге.

Когда он вышел на шоссе, здесь как раз проезжал обоз с бревнами, сворачивая на дорогу, которая вела мимо кладбища. Возчиков, сидевших на первых дровнях, Арно не знал, но в середине обоза, как ему показалось, шла Кейу — лошадь с их хутора; значит, в обозе был кто-то из их домашних. Арно остановился в конце дорожки, ведущей от школы, и стал ждать. Кейу подошла поближе, и Арно увидел, что на возу, на бревнах, сидит человек в сером тулупе и коричневой шапке-ушанке; болтая ногами и грызя стебелек клевера, он мурлыкал песенку:

— У-у-д-и-в-и-тель-ное дело!..— Песня показалась Арно знакомой, вскоре он узнал и самого возчика. Это был Либле.

— Здравия желаю! — крикнул тот по-русски и, когда дровни поравнялись с Арно, хлопнул ладонью по мешку с сеном, приглашая Арно сесть рядом. Арно взобрался на бревна и спросил, куда идет обоз. Либле удивился, что Арно этого не знает, и стал объяснять:

— Да на хутор Рая, куда же еще. Раяский хозяин задумал весной большой, красивый господский дом строить; купил в Мыркнаском лесу несколько сот бревен, а теперь вот толока идет — вывозят их из лесу. Твой отец и батрак Март тоже на толоке, да, видно, немного отстали, что-то их не видать. У нас всего тридцать лошадей, а сейчас здесь не больше чем... Подожди-ка: одна, две, четыре... двенадцать. Ну да, значит, больше чем половина еще за нами следом едет, а среди них, конечно, и саареские. Меня тоже почти силком в обоз втащили, чтоб на каждую лошадь был возчик. Да и пора раяскому хозяину дом строить,— добавил

он, заворачивая кверху уши своей шапки.— Дочка, вишь, подрастает, женихи скоро свататься станут, вот тогда и надо, чтоб все было в порядке, и дом крепкий, и так далее, все честь честью. Может, еще и ты, саареский хозяин, сам когда-нибудь подкатишь к тем хоромам — сани полированные, на жеребце бубенцы звенят... и... кто его знает, что дальше будет и как дело обернется, ведь на этом свете и на день вперед загадывать нельзя.

Заметив, что Арно сделал нетерпеливое движение и собирается ему возразить, Libле умолк и стал счищать с шапки соломенную труху.

— Шапка знаменитая, прямо надо сказать, — перевел он речь на другое. — Тому, кто ее выдумал, надо бы золотую медаль дать. Все равно — вьюга, буря или что бы там ни было,— натянешь такую ушанку на голову и сразу будто ты у себя дома на печи.

С этими словами он надел шапку и стал молча грызть стебельки клевера, которые то и дело вытаскивал из мешка и совал в рот.

— А что это за дом будет — двухэтажный? — спросил Арно немного погодя.

— А мне откуда знать, какой он будет, двухэтажный или трехэтажный,— ответил Либле,— но домина будет здоровенный. Бревнам конца-краю не видно! В одной половине дома хотят крутилку такую поставить, маслобойку, как они ее называют. Там молоко крутить будут, а большую часть дома хозяева займут. Я наверное не знаю, но слух такой был. Они-то могут делать что хотят; деньги есть — строй себе что угодно. А коли времечко такое придет,— и Либле постучал кнутовищем о носок сапога,— что и девушка сама понравится, так женись и никаких! А почему бы не понравиться: щечки румяные, волосы, как лен, и толковая тоже — чего ж еще! Оно, правда, всякому своя воля — райская доля; тебе, может, такое образование дадут, такой станешь ученый, что деревенская девушка вроде бы и не пара будет,— ну, тогда дело другое!

— Ах, оставь ты! — сказал Арно и вздохнул.

Почему Libле говорит о таких вещах именно сегодня, когда он, Арно, потерял всякую надежду на Тээле!

Тихо поскрипывал снег под полозьями дровней, и салазки под тяжестью бревен взвизгивали, точно жалуясь на свою непосильную ношу. Погода постепенно прояснялась, казалось, солнечные лучи уже пробиваются сквозь завесу тумана и он, все редея, медленно тает вдали за лесом. Было так тихо, что дым из труб поднимался к небу столбом, точно из жертвенника. Со стороны кладбища деревня внизу, в долине, выглядела такой крошечной и жалкой, что казалось, ее можно было на руки взять. Даже церковь словно куда-то исчезла, и ее башня — когда вблизи на нее смотришь, голова кружится — сейчас совсем потеряла свой величественный вид и беспомощно выглядывала из-за домов и голых деревьев. Дорога пошла в гору; лошади зафыркали, мужики слезли с возов и зашагали рядом с ними по двое — по трое, разговаривая между собой и покуривая.

— Ну, а ты как, все пьешь? — спросил Арно, когда они доехали до проселочной дороги.

— Да, пью,— ответил Либле.— Иной раз бывает, что и удержишься, а потом опять как начнешь... и пошло-о, пошло-о.

— Ты бы...— Арно хотел ему еще что-то сказать, но оборвал на полуслове, спрыгнул с воза и, попрощавшись с Либле, свернул на проселок. Обоз проехал мимо, но ни отца, ни Марта среди возчиков не было. Должно быть, они не успели еще догнать остальных. Арно в раздумье остановился. Сколько милых воспоминаний было для него связано с этим местом! Сколько раз, идя в школу, он поджидал здесь Тээле! И о чем только тогда не мечталось! А когда появлялась Тээле — с каким радостным волнением он каждый раз спешил ей навстречу! Точно они не виделись много лет. А какими чудесными были те минуты, когда они, возвращаясь из школы, прощались у перекрестка. Как приятно бывало, прислонившись к стволу старой ивы, глядеть вслед девочке, пока она совсем не исчезала из виду, а потом не спеша, волоча ноги, брести домой с мыслью, что завтра

Тээле снова придет сюда и будет приходить каждый день, ведь она его друг!

А сейчас?

Арно чувствует, как что-то давит ему грудь, мешает дышать, во рту появляется горький привкус, слабеют колени; перед глазами пляшут зеленоватые круги, а в ушах жужжит песня Либле: «Уди-ви-итель-ное де-е-ло». Арно снова, как в былые времена, стоит, прислонившись к стволу старой ивы, и всевозможные мысли мелькают у него в голове. Без всякой связи, словно в бешеной погоне друг за другом, возникают они и исчезают. И какие только не встречаются среди них пустые, нелепые, совсем ненужные мысли, например: если бы церковная башня вдруг опрокинулась, достигла бы она верхушкой до их школы? Справятся ли Тоомингас и Кезамаа с Тыниссоном, если вместе нападут на него? Или такая: как интересно было бы, если б все ребята вместе отправились путешествовать! А потом вдруг он с изумлением вспоминает о том, что тысячу раз наблюдал как самое обыденное явление: у рака вырастает новая клешня, если старая обломится!

Потом в мозгу вдруг возникает какая-нибудь фраза или даже отдельное слово и жужжит, жужжит в ушах, как комар, и от него не отвязаться, делай что хочешь... Наступил канун троицы... Из этого мы видим, каким полезным животным является в нашем хозяйстве лошадь... Ягода-крушина, крушина, крушина...

Вдруг у самого уха Арно чьи-то знакомые голоса затевают спор. Они спорят и спорят. Ясно можно расслышать каждый из них, но так и не понять, чьи это голоса и о чем они спорят.

В его сознании не всплывает ни одного слова, ни одной фразы, говорящей о его потере, но всем своим существом он чувствует, что от него безвозвратно ушло что-то по-настоящему дорогое и милое.

Чуть отодвинувшись, он смотрит на верхушку ивы, проводит рукой по ее шершавому стволу и думает о том, что ива — его друг. Она видела его здесь радостным, она глядит на него и сейчас, когда ему так грустно,— ива его друг.

Так иногда вещи, которых мы раньше и не замечали, становятся милы нашему сердцу, как только мы связываем их с дорогими нам воспоминаниями.

Арно медленно поплелся домой. Входя в комнату, он твердо решил, что не будет ничего есть, сразу заберется в кровать и укроется одеялом, чтобы ничего не видеть и не слышать. Но это оказалось совсем не так просто, как он думал. Бабушка в это время возилась у плиты и, когда он вошел, тотчас обернулась к нему.

— Ну, отпустили тебя наконец,— сказала она,— прямо не знаю, чего там столько учить надо, что вас с утра до вечера держат.

Арно не ответил ни слова; он прошел прямо в горницу, бросил на стол узелок с книгами, снял пальто и присел на кровать.

— Иди скорее кушать,— позвала его бабушка,— не то остынет. С самого обеда подогреваю. Иди скорее!

— Не хочется,— сказал Арно и устало растянулся на кровати. Правильнее всего, конечно, было бы сразу раздеться, а не валяться одетым, но такая усталость или слабость его охватила, что и шевельнуться не хотелось.

— Смотри-ка, ему и кушать не хочется. Что же с тобой такое?

Бабушка ходит от плиты к столу и обратно, звякает посудой, потом появляется в дверях комнаты. Старушка благодушно настроена и очень разговорчива. На то есть свои причины: войдя сегодня в хлев, она нашла там приплод — двух черненьких ягнят, и теперь мысль об этих забавных длинноногих маленьких животных наполняет ее радостью. Бабушка очень стара и живет только интересами своего узенького мирка; все остальное ее уже не трогает. Две маленькие овечки радуют ее больше, чем все стадо. Да, было время, когда изо дня в день приходилось жить то в надежде, то в страхе, но сейчас все эти заботы легли на плечи более молодых, и для бабушки гораздо важнее подогреть Арно обед, чем расспросить, сколько картофеля в этом году свезли на винокурню.

— Так что же с тобой такое? — повторяет бабушка.— Опять заболел?

— Да нет... нет,— тянет Арно сердито.— Голова немного болит.

Старушка кладет руку ему на лоб и находит, что голова у Арно и в самом деле чуть горячее, чем обычно; но покушать все равно надо. Пусть идет скорее, не мешкает. И пусть не думает, что сегодня на столе какая-нибудь обыкновенная еда; ведь тушеную капусту с мясом и жареной картошкой Арно всегда раньше охотно ел.

И правда, Арно чувствует запах тушеной капусты, но сегодня он совсем не такой аппетитный, как всегда, он даже кажется Арно острым и противным, от него в конце концов и затошнить может. Все же Арно медленно поднимается, идет в первую комнату, садится к столу и проглатывает несколько кусков.

Сперва еда кажется совсем безвкусной, во рту оскомина, а капуста — точно опилки, но после второго и третьего глотка становится вкуснее. Арно свыкается с запахом кушанья, аппетит как будто появляется. Но вдруг что-то сжимает ему сердце, следующий кусок застревает во рту, и Арно стоит немалых усилий его проглотить. Он резко поднимается из-за стола и говорит бабушке:

— Не хочу!

Не помогают никакие бабушкины уговоры. Не помогает даже то, что старушка, выловив из капусты все куски мяса, раскладывает их в ряд и, усмехнувшись, поглядывает на Арно, словно говоря: «Да посмотри же, какие хорошие кусочки, неужели ты их не съешь?»

Не хочу, не хочу! А если еще так пристают, то и злиться начинаешь, и такой вот тушеный в капусте кусочек мяса может показаться совсем отвратительным! Пусть бабушка хоть десять раз повторяет, что в хлеву появились два маленьких ягненка, такие черненькие, хорошенькие,— этим делу не поможешь: ясно, что она только старается его развеселить, думая, что тогда он и есть будет охотнее. Нет, бабушкины уловки ему давно известны. Если бы он их не знал, тогда, может, и прислушался бы к ее рассказам, но сейчас...

Ягненок, ягненок... ну что такое, в самом деле, ягненок? Был бы это жеребенок, тогда стоило бы пойти посмотреть.

Арно чувствует вдруг, что его неудержимо тянет куда-то идти, что-то делать, но куда идти и зачем, он и сам не знает. Лишь бы уйти отсюда. Он задыхается от этого дыма, смешанного с угаром, и запаха капусты.

Вскоре мы видим Арно на дороге у межи; он стоит и задумчиво смотрит на сухие былинки, кое-где грустно выглядывающие из-под снежного покрова. Особенно стойко держатся полынь и тысячелистник: они долго еще торчат кверху, словно ждут, что в их пожелтевшие, безжизненные стебли снова вернется жизнь. Вдоль межи по полю тянутся следы полозьев. Должно быть, утром здесь проехали отец, Март и Library, отправляясь на хутор Рая. Арно осторожно ставит ногу в след полозьев — так купальщик летом, входя в реку, пробует сначала ногой, холодная ли вода; потом Арно делает еще несколько шагов по следу, останавливается, шлифуя подошвой рыхлый снег, снова идет вперед, а когда оглядывается, видит, что он уже довольно далеко от дома. Он машинально шагает дальше.

VI

Всегда, сколько Арно себя помнит, у них в семье говорили о раяской Тээле. То у Тээле животик болит, то головка, то она порезала себе ножом пальчик, то свалилась в ручей, простудилась и кашляет — все это было известно и у них, на хуторе Сааре, и всегда очень пространно и обстоятельно обсуждалось, каким образом и по чьей вине случилась с Тээле та или иная беда. Но в ту пору Арно был еще совсем малышом, и рассказы о какой-то глупой девчонке, поранившей себе палец где-то далеко, на другом хуторе, совсем его не трогали. Когда Арно стал постарше, он увидел, что хутор этот совсем не так уж далеко; часто он вместе с пастушком Мату добирался и до раяской межи, а отсюда иногда ясно было видно, как во дворе хутора прыгает белокурая девочка в красном фартучке. Он, конечно, знал, кто она, но какое ему было дело до чужих девчонок, хотя бы и светловолосых, и в красных фартучках.

Вот перед мысленным взором Арно возникает и другая картинка; Тээле тогда была еще совсем маленькая, да и он — немногим старше.

Осеннее солнечное утро... Арно уже давно заметил, что над их овсяным полем кружит в воздухе, взмахивая могучими крыльями, какая-то большая птица. Он никогда раньше не видел такой птицы, поэтому зовет мать посмотреть на нее.

— Это ястреб — кур, наверно, высматривает,— говорит ему мать, и тогда Арно хватает из кучи хвороста большую хворостину, берет ее на плечо и идет гнать прочь хищную птицу. Какой он был тогда глупый! Ястреб его ничуть не боится. Но кого он там выслеживает? Арно идет на край поля, над которым кружит ястреб, расхаживает со своей хворостиной и смотрит во все глаза, не видно ли где-нибудь в хлебах заблудившегося цыпленка. Но все тихо, только ветер

шелестит колосьями. Вдруг около камня шевелится какой-то серенький зверек. Арно на цыпочках приближается к нему... это зайчонок! «А-а,— думает Арно,— так это его ты, ястребок, подстерегаешь! А все-таки тебе его не видать. Я зайчонка сам поймаю и выкормлю». Раздвигая руками колосья, Арно подкрадывается к зайцу. Но зверек хоть и мал, но проворен: прежде чем мальчик успевает к нему подкрасться, зайчонок бросается наутек через поле, делая забавные прыжки. Арно мчится за ним, оставляя среди колосьев дорожку, которую его хворостина еще больше расширяет. Время от времени заяц останавливается, прислушиваясь, затем вприпрыжку несется дальше, и необычайная охота на овсяном поле продолжается. А в небе по-прежнему кружит хищник; кажется, будто он выделывает свои круги на одном и том же месте, но в то же время он постоянно оказывается у Арно над головой. Зайчонок и не подозревает, что сверху ему угрожает куда более опасный враг, чем этот малыш, который вбил себе в голову нелепую мысль поймать его живьем и сейчас, пыхтя и размахивая хворостиной, гонится за ним.

Вдруг Арно слышит чьи-то голоса. Он выбирается из хлебов и с удивлением видит, что в пылу охоты добежал до раяского поля; по ту сторону межи хозяин и работники косят ячмень. Арно становится стыдно, он бросает свою хворостину и хочет удрать домой, но его уже заметили, его окликают. Ничего не поделаешь, приходится идти к косарям и отвечать на их расспросы; он рассказывает им про зайца, втайне надеясь, что они помогут поймать зверька. И в самом деле, раяский работник и батрачка бегут на саареское овсяное поле, но ничего там не находят. Возвратившись и указывая на ястреба в небе, они говорят Арно, словно в утешение:

— Ничего, уж он-то его поймает!

Потом хозяин хутора расспрашивает Арно, как он поживает, научился ли уже писать и читать; вот их Тээле, та уже многое наизусть заучивает и пишет русские буквы. Арно отвечает на его вопросы, а сам в это время настороженно следит, как отворяются ворота хуторского двора и оттуда вдоль межи к косарям ка-

тится какое-то крошечное существо. Его замечают и остальные, и хозяин говорит:

— Ага, уже пришли на обед звать.

Девочка останавливается среди репейника и полыни, сама похожая на кругленькую головку татарника, и кличет звонким голоском: «Идите обедать!» Потом подходит поближе и снова зовет — она не уверена, что ее слышали:

— Идите обедать! Идите обедать!

Косари смеются. Они прекрасно знают, что откуда бы она ни звала их, все равно в конце концов подойдет совсем близко. Так и есть! Девочка подбегает к косарям, с минуту стоит на месте, но заметив чужого мальчика, стыдливо прячется за спину отца. А когда окружающие начинают ее подбадривать, она снова бросает на чужака недоверчивый взгляд и со всех ног пускается домой — ветер так и треплет ее светлые волосы.

И это была Тээле. И было это очень давно. И тогда ему почему-то казалось совсем безразличным, что Тээле делает, где бывает, куда ходит, да и вообще существует ли она на свете. Но как-то прошлой осенью, когда они вместе возвращались из школы... Тээле вдруг показалась ему такой большой, такой красивой, такой умной, такой нарядной... и такой бесконечно дорогой.

Как это произошло?..

Так иногда человек, о котором мы раньше почти не думали, волей судьбы начинает вдруг играть в нашей жизни настолько важную роль, что его запоминаешь навсегда. Арно останавливается и глядит по сторонам. Позади раскинулось голое снежное поле, впереди в нескольких сотнях шагов чернеет рощица, а за ней хутор Рая, точно оазис среди снежной пустыни. И над всем этим простирает свои крылья вечерний сумрак... Быть может, Арно сейчас стоит на том же месте, где когда-то давно, гоняясь за зайцем, он увидел Тээле. Быть может, ноги его ступают там, где тогда ступали ножки Тээле.

Но каким безотрадным кажется зимою поле, будто все вокруг вымерло. Прекраснее всего поле, когда цветет рожь.

Отец и Март, навериое, смеялись бы, если б им рассказать, о чем ои только не передумал, бродя по полю. А Libле засмеялся бы? Нет, Либле, может, и не стал бы смеяться, а сделал бы комичио-серьезиое лицо, прищурил бы глаз и сказал:

— Ну, чего ж тут еще? Нравится девчоика, так жеиись — и иикаких!

Арно подходит к хутору Рая. Во дворе полно лошадей, иа которых возили бревна; чуть поодаль, иа краю поля чериеют штабеля бревен. В воздухе пахиет смолой. Около хлёва кто-то возится, сердито покрикивая: «Да стой же ты, красиушка, ну!» Комиата хутора ярко освещена, оттуда доиосится шум голосов, из щелей окон вырываются белые облачка пара, ледяным покровом оседая иа сугробах, иа рамах, иа стене под окиами. Под стрехой что-то потрескивает, сверкающая сосулька падает иа землю, разбивается, и осколки со звоиом разлетаются во все стороны. А иаверху, иа обомшелом гребне крыши, из иеуклюжей трубы с широким карнизом веселыми клубами валит дым, и кажется, будто трубе хочется сказать: «В этом доме люди, в этом доме тепло, в этом доме очеиь хорошо живется, если только все сыты и иа душе спокойио». В сеиях Арио ударяет в иос кислый запах льиа, дыма, сала и капусты — этот неизмениый спутник наших старых эстоиских изб, перекочевавший и в новые, обшитые досками дома хуторяи, горделиво вырастающие то тут, то там как свидетельство иовых времеи.

«Но как теперь быть — войти или иет? — мыслеиио спрашивает себя Арно.— Во всяком случае,— рассуждает ои,— иичего особеииого в этом не будет». Ведь здесь его отец и Март, и сам ои зашел сюда лишь для того, чтобы поехать домой на лошади. Да никто ничего и ие подумает, разве только Тээле...

Кто-то входит со двора и, насвистывая, иаправляется в комиату — теперь иичего ие поделаешь, иадо тоже войти.

В комиате за двумя составленными в длииу большими столами, из которых одии гораздо выше другого, ужииают возчики. Лица их раскраснелись и пылают, как всегда у людей, долго пробывших на морозе

и потом очутившихся в жарко натопленной комнате; у некоторых уши издали кажутся кроваво-красными, а нос и щеки от студеного ветра стали уже шелушиться. Большинство возчиков в тулупах, подпоясаны, только меховые шапки и рукавицы отложены в сторону. На столе четыре пузатые миски со щами, такими жирными, что и пару не пробиться. Поэтому щи горячие, как пекло, и никак не остывают; хватит кто-нибудь из возчиков по неосторожности первую ложку, не подув на нее,— сразу щелкает языком и глядит в потолок, словно узрел там какое-то видение. Между мисок со щами выстроились в ряд маленькие мисочки и тарелки с мясом, точно ягодные кустики меж яблонь. Посуды у хозяев не хватает: люди едят по двое из одной тарелки, а вместо столовых ножей и вилок пользуются складными ножами, которые от жира, их покрывающего, кажутся новее, чем они есть на самом деле. Руки вытирают «начисто» о голенища, штаны или полы тулупов, а лоснящиеся от жира подбородки — руками. Время от времени двое мужиков, хлебающих щи из одной тарелки, что-то шепчут друг другу на ухо, один из них, чуть ухмыльнувшись, берет со стола жестяную посудину, подносит ее к губам, запрокидывает голову, точно смотрит в зрительную трубу на звезды или играет на рожке, на миг застывает в этой позе, потом передает странную посудину с ее таинственным содержимым соседу, и тот в точности повторяет те же движения. При этом вогнутое донышко посудины издает забавный звук: пынн-пынн. Потом оба соседа, крякнув, быстро суют в рот хлеб и мясо, переглядываются, пожимают плечами и встряхивают головой, будто их озноб пробирает. Отчего они так делают, неизвестно, но, видно, содержимое посудины с непреодолимой силой манит их к себе; а стоит им его отведать, как их бросает в дрожь.

Арно, войдя, здоровается, но его никто не замечает, кроме двух бородачей, сидящих у самой двери; однако и те не дают себе труда ответить на его приветствие, а ограничиваются тем, что, поднеся ложки ко рту, окидывают мальчика вопросительным взглядом. Арно проходит к плите, где хозяйка как раз снимает с огня котел. Жадный язычок пламени в последний раз ли-

жет его дно, точно ему жаль расстаться со своей жертвой, и не успокаивается, пока на него не ставят другой котел или горшок. Раяская хозяйка, которая одна возится у плиты, в то время как столько мужчин сидит за столом, напоминает сейчас ведьму, стряпающую для своих сыновей-разбойников.

— Добрый вечер! — говорит она Арно.— Ты бы прошел в горницу. Там Тээле и еще один мальчик из школы.

— Еще один мальчик? — удивляется Арно.— Кто же это может быть?

Он открывает дверь в соседнюю комнату и не верит своим глазам. На столе у окна горит лампа, и при свете ее Тээле и Имелик, весело смеясь, перелистывают какую-то книжку; они стоят так близко друг к другу, что головы их чуть ли не соприкасаются. По другую сторону стола сидит маленькая сестренка Тээле и водит по доске грифелем. Все трое поднимают глаза на вошедшего, и густой румянец заливает щеки Тээле.

— Добрый вечер! — тихо произносит Арно и останавливается у двери. Он с испугом думает о том, что он здесь лишний, и горько жалеет, что пришел.

— Здравствуй! — отзывается Имелик.— А ты как сюда попал?

— За отцом пришел... и за Мартом, они сюда бревна возили... Вместе домой поедем,— бормочет Арно. Он чувствует, что причина эта недостаточно серьезна и если не у других, то у Тээле, наверное, вызовет сомнение. И он действительно замечает на лице Тээле какую-то тень усмешки, которая, правда, сейчас же исчезает. Но все же Тээле усмехнулась. Арно с болью в душе видит, что Тээле начинает злиться: она ни с того ни с сего вырывает у сестренки из рук грифельную доску и треплет малышку за волосы, а та с визгом залезает на кровать; потом Тээле хватает со стола исписанные листки бумаги, злобно рвет их на мелкие клочки и бросает под стол, исподлобья поглядывая на Арно.

Но порыв гнева быстро проходит; Тээле берет стул, чуть отодвигает его от стола и, обращаясь к Арно, все еще стоящему у дверей, говорит:

— Ну что ж, садись!

Имелик своей благодушной улыбкой тоже как бы приглашает его сесть, словно он, Имелик, здесь в гораздо большей мере свой человек, чем Арно. И подумать только, этот чудак и сюда притащил свой каннель, видно, и здесь играть собирается.

Но Арно отказывается сесть. Во-первых, ему вообще не хочется сидеть, а во-вторых, стул поставлен очень неудачно, между Тээле и Имеликом и на слишком освещенном месте. Нет, у дверей, возле печки, гораздо лучше: здесь, по крайней мере, не видно его лица, а он может наблюдать за всеми их движениями.

— Что с тобой такое сегодня? Почему ты не пошел домой вместе со мной? — вдруг спрашивает Тээле.

Это словно гром с ясного неба.

Как? Она еще спрашивает, после того как не сочла даже нужным несколько минут подождать его утром у проселка, а потом около школы прямо, что называется, окрысилась на него. Что это значит? Да ведь это самая злая насмешка! Арно удивленно глядит на Тээле, и ему кажется, что эта девочка вовсе не такая хорошенькая, какой он себе представлял ее, бродя по полю. В школе немало таких курносых девчонок, и, насколько он подметил, все они готовы смеяться любой шутке. О Тээле этого, пожалуй, сказать нельзя; к тому же у нее такие светлые голубые глаза, правда, небольшие, но смотрят они иногда таким удивительным взглядом, из них словно льются лучи. И все-таки... ничего особенного в этой девочке нет.

Арно молчит. Да и что ему ответить на такой вопрос?

— Ты сердишься? — снова спрашивает Тээле, обмениваясь с Имеликом многозначительным взглядом, из которого можно заключить, что сегодняшний случай для Имелика не составляет тайны.

— Нет,— отвечает Арно, ощущая в сердце острую боль.

— Отчего же ты такой грустный?

— Я не грустный.

— Как же не грустный? Подойди сюда, Имелик тебе сыграет, тебе веселее станет.— И, словно желая приманить его поближе, Имелик действительно берет каннель и с увлечением играет ту самую польку, под

звуки которой в обеденный перерыв Тоотс и Тээле отплясывали свой злополучный танец. Пока он играет, Тээле — Арно замечает это — пристально смотрит на музыканта и время от времени одобрительно улыбается. Арно отступает еще дальше к дверям, оглядывает горницу, как бы прощаясь, и, не говоря ни слова, выходит в первую комнату. Здесь ему попадается навстречу хозяйка хутора и начинает что-то объяснять; он из ее слов понимает только, что Яан Имелик через множество всяких дядюшек и тетушек доводится им, раяским хозяевам, дальним родственником и что она, желая повидать родича, велела Тээле позвать его на хутор. Возможно, так оно и есть, но Арно нестерпимо скучно это слушать. К счастью, отец и Март уже поели, можно ехать домой.

«Когда же он еще успевает заниматься, этот Имелик? — думает Арно по дороге.— На завтра, например, заданы две страшно трудные задачи, ему их ни за что не решить, скорее поседеет, чем решит!»

И тут ему вспоминается маленький, невзрачный мальчуган.

— Ну, конечно же, Куслап, Тиукс этот, сделает за него и задачи, и все остальное! — вполголоса говорит он самому себе.

VII

Портной Кийр славится на все Паунвере своей отличной работой и добросовестностью. Если уж он сказал, что к такому-то сроку костюм будет готов, то можно быть уверенным, что так оно и будет. Весьма распространенное мнение, будто все портные лгут, в данном случае, как видите, неуместно. Особого внимания заслуживает способ, при помощи которого Кийр снимает мерку; кроме сантиметра, он пользуется еще огромным деревянным угольником, заставляя своего заказчика стоять под ним до тех пор, пока все цифры длины и ширины не будут занесены в книгу с синим переплетом. Цель этой операции заключается в том, чтобы заказчик все время стоял, не меняя позы, которая, хотя многие портные этому и не верят, при снятии мерки якобы имеет огромное значение. Если иной раз случается, что костюм где-нибудь «морщит», мастер Кийр уверяет, будто главный виновник этого — сам заказчик: он двигался, когда с него снимали мерку.

Господин Хейнрих Кийр — мужчина скорее высокого, чем среднего роста, худощавый, с рыжеватыми усами и живыми серыми глазами. Он вечно улыбается, шаг у него быстрый и легкий, речь плавная и складная, так что словечки «во всяком случае», которыми неизменно начинается каждая его фраза, совсем не режут слух, а, наоборот, всегда кажутся вполне уместными. Со своей низенькой, толстенькой супругой Катариной Розалией он пребывает в счастливом браке.

Господь бог благословил это супружество, ниспослав им уже двух сыновей, из которых старший, Хейнрих Георг Аадниэль, посещает приходскую школу, а младший, Фридрих Виктор Оттомар, еще только усердно учится по букварю.

Но недавно семью Кийров снова навестил аист и принес с собой еще одного славного мальчонку; радость родителей и детей, разумеется, безгранична. Озабочены они только тем, какое бы имя подыскать новому обитателю земли. Не могут же, в самом деле, супруги Кийр дать своему детищу простое, обычное имя или же такое, которое уже когда-либо встречалось в Паунвере; нет, они скорее оставят его совсем без имени или назовут, скажем, так: Божий дар № 3. Но имя все-таки найти надо, имен ведь в мире бесконечно много, нужно только поискать и подумать. И сейчас этим занято все семейство Кийров. Папаша Кийр купил целых три календаря, и его супруга Катарина Розалия, еще не встающая с постели, их тщательно изучает. Сам папаша Кийр уже третий день бродит, перебирая в уме всевозможные имена: Адальберт, Альбрехт, Арвед, Бруно, Бенно, Бернхард, Эльмар, Хуго, Каспар, Людвиг... Но ни одно из этих имен не подходит, всегда оказывается, что он их уже где-то раньше встречал; а если и мелькнет имя, которое, с точки зрения папаши Кийра, подошло бы, то оно категорически отвергается его супругой, с пренебрежением заявляющей:

— Фи, Хейнрих — разве это имя!

Временами придумывание имен заводит папашу черт знает куда: Мартин, Маттеус, Натан, Оскар, Освальд... и вдруг откуда-то — Понса, Томми, Самми, Пнтсу! Черт знает что такое! Не думал же Хейнрих Кийр искать какую-то собачью кличку, бог ему свидетель!

И лезет же такая дребедень в голову, что ты сделаешь! В голове уже звенит от всех этих имен, во сне — и то они звучат в ушах. Иные из них даже очень благозвучны, а как проснешься — оказывается, что все забыл.

Ох, хотя бы уже кончились эти поиски имен!

Как мы уже говорили, в поисках имени принимает участие вся семья. Рыжеголовый Хейнрих Георг Аадниэль, тот, что учится в приходской школе, тоже не находит себе покоя; он мечется, точно курица с обожженными ногами, и все время бормочет какие-то непонятные слова. Иногда он вдруг остановится перед

кем-нибудь из ребят, многозначительно воззрится на него и скажет:

— Придумай какое-нибудь красивое мужское имя!

А когда тот называет самое, на его взгляд, красивое имя, Аадниэль грустно покачивает головой и, что-то бормоча себе под нос, подходит к другому мальчишке, но вскоре и его покидает с разочарованным видом. Так он опросил уже почти всех ребят, осталось только несколько человек, в том числе и Йоозеп Тоотс. От них, правда, едва ли услышишь что-нибудь путное; но случается ведь, что и слепая курица зернышко найдет или же мышь забежит спящей кошке прямо в зубы; так лучше уж для успокоения совести опросить и остальных.

В один прекрасный день Тоотс стоит и разговаривает с новым учеником, Антсом Виппером, которого Кийр когда-то вместо комнаты учителя направил на кухню; судя по жестам, Тоотс сейчас говорит о каком-то большом круглом предмете. В это время к ним с грустным видом приближается рыжеголовый Кийр и задает свой обычный вопрос:

— Скажите какое-нибудь красивое мужское имя!

Антс Виппер — он ко всякому делу относится с полной серьезностью и всегда готов помочь, но при этом где только можно отстаивает свои собственные вкусы — в раздумье глядит на Кийра и говорит:

— Красивое мужское имя... Если так, то оно непременно должно быть эстонское. Еще лучше — какое-нибудь старинное эстонское имя, например, Лембит, Каупо, Вамбола.— Но тут он в изумлении умолкает, так как Хейнрих Георг Аадниэль отчаянно машет руками и отступает к стене, словно бес от креста.

— Какое же имя тебе нужно?

— Только не такие, только не эти, не эстонские имена! — говорит Кийр. Он отлично помнит, как его мамаша, когда искали имя для брата Фридриха Виктора Оттомара, решительно заявила папе: «Любое имя, только не эстонское!»

— Ну, бери тогда какое-нибудь другое, если эти не годятся,— отвечает Виппер, чувствуя себя обиженным; он надувает губы и бросает на Кийра полупрезрительный взгляд.— Возьми тогда какое-нибудь рус-

ское или немецкое имя, кто тебе запрещает! Что кому нравится. Возьми из библии, если хочешь, там же много всяких имен... Давид, Голиаф, Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф, Даниил, Самуил, Соломон, Павел...

Но этот совет Кийр считает для себя просто оскорбительным и не хочет больше даже разговаривать с Антсом Виппером; хорошо, что он этого насмешника послал тогда на кухню!

Теперь он обращается прямо к Тоотсу; тот, заслышав имя «Иосиф», навострил уши. Кийр объясняет ему, в чем дело, и просит подсказать что-нибудь подходящее... Тоотс задает несколько вопросов, чтобы уяснить себе положение вещей, потом отвечает с обычной таинственностью:

— Да, я знаю одно имя, но тебе не скажу.

— Почему не скажешь? — пристает к нему Кийр.

— Ну, почему... Вот чудак, зачем мне говорить, если оно мне самому понадобится.

— Самому понадобится? Хи-хи-хи! А к чему оно тебе, у тебя же есть имя. Скажи!

— Нет, я не могу сказать.

— Почему?

— Потому что не могу — и все! Это такое имя, что... Его теперь уже никто не знает, и если назвать ребенка этим именем, так — ой-ой-ой! Тогда все сразу подумают — да, из этого мальчишки будет толк! Себе я его, конечно, взять не могу, а если бы мог, взял бы обязательно, имя Йоозеп мне совсем не нравится. Это такое... черт его знает — вроде я еврей. А вот то имя — оо! — Тут он поднимает указательный палец и глядит на Кийра такими сияющими глазами, как будто в кармане у него лежит ключ, открывающий все пути к человеческому счастью. Это еще больше разжигает любопытство искателя имен; Кийр, как послушный и разумный сын своих родителей, хотел бы порадовать их каким-нибудь необыкновенным именем.

— Ну скажи наконец, что это за имя?

— Да, скажи, скажи... а если я не могу!

— Почему не можешь?

— Сказал же я тебе— оно мне самому понадобится. Ну, придется, например... Видишь ли, Кийр, что я

тебе скажу: этим именем я назову своего старшего сына.

— Своего сына? Хи-хи-хи! Когда он еще будет!

— А все равно, когда-нибудь да будет. Если я тебе отдам это имя, так скажи на милость, где мне потом другое достать? Такие имена на деревьях не растут, как яблоки,— подойди да потряси, они и посыплются — бах, бах! Я целых три года думал, пока придумал. Но зато и штука, лучше не надо!..

— Тоотс, если скажешь, я принесу тебе два яблока.

— Два яблока!..

— Ну, три! За каждый год по яблоку.

— Ох ты, чудак, отдать за три гнилых яблока такое имя! Что я — рехнулся, что ли! Так вот, если и вправду хочешь — беги домой и неси шесть яблок, да чтобы все крупные, хорошие. Тогда посмотрим...

— Чего ж тогда еще смотреть?

— Ну, посмотрю на яблоки, стоит говорить или нет...

— Нет, ты тогда должен будешь сказать.

— Беги, беги домой и тащи яблоки!

Беда, как говорится, и быка в колодец загонит, но Кийр не бык и в колодец ему лезть незачем; через некоторое время он предстает перед Йоозепом Тоотсом со своими шестью яблоками. Тоотс оценивает яблоки таким взглядом, словно всю жизнь им торговал, и заявляет, что половина их никуда не годится. Это, однако, нисколько не мешает ему пожирать прежде всего именно эти никуда не годные яблоки, и Кийр с ужасом видит, как яблоки одно за другим исчезают, перемолотые мощными челюстями Тоотса. А обещанного имени так и не слышно.

— Скажи же наконец это имя, ты ведь обещал,— умоляет Кийр, хватая за руку обжору в тот момент, когда тот собирается впиться зубами уже в пятое яблоко.

— Может, я бы и сказал, если б ты принес яблоки получше, а то принес малюсенькие, как орехи, кто их есть будет! — отвечает Тоотс, почесывая нос и хмуря брови, и, как бы между прочим, отправляет в рот яблоко.



— Я выбрал самые лучшие. А если имя и вправду такое красивое, как ты расписываешь,— мы тебя и на крестины позовем.

— Ага, вот как, Ну иа крестины-то я приду. А скажи, чего там есть дадут? Студеиь будет?

— Как же, как же, студень будет и... колбаса... и жаркое...

— А булки с изюмом тоже испекут?

— Испекут.

— Ну так вот,— и Тоотс хватает Кийра за пуговицу пиджака,— ты им скажи, чтоб оии побольше изюма клали, чтоб изюминка к изюминке. А то ищи их по всей булке, выковыривай иожом, как дурак, пока несколько штук выловишь. Моя мать иа праздниках всегда ругается: будто моль, говорит, булку пожрала. А я разве виииоват, пусть кладут больше изюма, тогда и булка цела останется.

— Я попрошу столько положить, чтобы прямо черно было от изюма. А ты скажи имя!

— Ладио, но смотри, сдержи слово. Видишь ли, Кийр, у меия их, собствеиио, целых два... Первое — это и есть настоящее, иу прямо-таки замечательиое, ио и другое тоже очеиь красивое, а если обоими сразу назвать — такого имеии ие сыщешь даже у помещичьих сыиовей из Сууремаа, тогда... тогда... Пойдем к окиу, подальше от ребят, не то еще услышат и разболтают. Так вот, запомииай теперь.

Ястребиные глаза Тоотса беспокойно блуждают по сторонам, речь переходит в едва слышный шепот, словно он открывает Кийру какую-то мировую тайну, а вокруг все кишит предателями.

— То, первое, замечательное имя — Колумбус!

— Колумбус!

— Да. А второе — Хризостомус!

— Хризостомус!

— Да.

Первое имя Кийр, конечно, уже слышал раньше, ои очеиь хорошо зиает, что за человек был тот, кто носил это имя, и что ои совершил, зато со вторым именем дело оказывается куда сложиее. Во время урока Кийр судорожио пытается удержать в памяти это имя, но оно, как иазло, иоровит выскочить у него

из головы, и он все больше запутывается. Хризостомус, Хризостомус, Хриппостосус... Хриппоссосус... Хриппопоссум... Хри... Хи... Ги... Гиппопотамус! Затем следует целая куча чудовищ, которые давно исчезли с лица земли, и Георг Аадниэль с ужасом думает, не назвал ли Тоотс имя одного из них.

— Птеродактилус... Плезиозаурус... Ихтиозаурус... Заурус... Заурус...

Он сидит как на горячих углях; его охватывает безотчетный страх — не превратится ли его маленький братик и сам в одно из тех существ, которые так назывались; после урока он бежит к Тоотсу и просит еще раз сказать второе имя. Но тут его постигает новое несчастье — дело в том, что Тоотс уже сам успел забыть это имя и теперь, прищурив глаза и засунув палец в рот, начинает молоть всякую чепуху: Кристохвус, Кримпстохвус, Климпстохвус, Криукстохвус, Ниукс — Пиукс — Тиукс — прохвост...

— Прохвост! — вскрикивает Кийр и пятится назад.

— Нет, нет! Я потому сказал «прохвост», что вспомнить его не могу, это имя.

В конце концов они припоминают забытое имя и записывают его, чтобы больше не было недоразумений. В записной книжке Кийра, под рубрикой «Важнейшие дела», появляются два слова, начертанные красным карандашом, затейливыми, вычурными буквами: Колумбус Хризостомус. И с этого дня между Тоотсом и Кийром завязывается трогательная дружба, дающая остальным ребятам богатую пищу для всякого рода предположений, дружба тем более загадочная, что ни Тоотс, ни Кийр ни одним словечком не дают понять, в чем тут, собственно, дело. Они теперь всегда неразлучны, и даже ходят слухи, будто Тоотс зачастую бывает в гостях у Кийра — ест там и пьет, как у себя дома.

Это весьма возможно, потому что Георг Аадниэль и в школу приносит с собой немало лакомств и съедает их вместе с Тоотсом; при этом приятели беседуют так дружески, что прямо не нарадуешься, на них глядя. Весьма возможно даже, что придуманные Тоотсом имена одобрены и самой супружеской четой

Кийров, а если так, то подобные угощения надо считать вполне заслуженными.

Но время и случай вносят ясность даже в такие дела, которые долго пребывали под покровом тайны, и развязывают иногда такие запутанные узлы, что только диву даешься; при этом время действует медленно, кропотливо распутывая нить за нитью, а случай нетерпелив, он любит разрубать таинственный узел одним ударом.

VIII

Перенесемся мысленно вместе с читателем на дорогу, ведущую в деревню Киусна. Здесь иа полпути между Киусна и Паунвере, иа земле хутора Супси, шагах в двухстах от шоссе, мы увидим деревянный домик, окруженный кустами и деревьями. В домике этом живет портной Кийр со своей семьей. Сегодня он справляет крестины своего третьего сына. Уже издали заметио, что сегодня жизнь здесь вышла из своего привычного русла; в этом обычио таком тихом уголке царит оживление — тут собрались и стар и млад. Войдите в домик, и первое, что вас встретит,— это густой чад от горелого сала; из кухни он обильно струится по всем трем комиатам. У кухоиной плиты, в облаках дыма и пара, идет усилеииая стряпня, и госпожа Кийр, под верховиым комаидоваиием которой здесь все варится и печется, очень походит на жрицу: едва ли в Древнем Риме во время жертвоприношений могло быть больше дыма и пара, чем здесь. Время от времеии кухия преображается и становится похожей иа адскую виокурию, как ее обычно описывают в старииых киижках: то ли у горшков и горшочков вырастают невидимые иожки, то ли пол преисподней притягивает их к себе с такой огромиой силой, ио только вдруг — бац! — и горшки с шумом летят на камеиный пол и разбиваются вдребезги; тут поднимается яростиая ругань, и кого-ибудь из жриц в течение одной мииуты иаделяют таким миожеством почетных прозвищ, какого ииаче не выпало бы иа ее долю и за долгие годы. Затем другая жрица с шумом перебегает от кладовки к плите, оглашая воздух душераздирающим криком: «Боже ты мой, что тут пригорело!» Глупо, коиечно, спрашивать, что пригорело: кто может знать, что там пригорело. Плита сплошь уставлеиа всякими кастрюлями и кастрюльками, здесь что-то шипит, там что-то шипит, где

же в такой суматохе разобраться, что надо помешать, а что совсем снять с огня. Иногда еще и какая-нибудь тряпка или мочалка попадает на раскаленную плиту, и тогда все вокруг наполняется таким ужасным запахом гари, что хоть лопни от злости. А тут еще одно наказание: дети. Их сегодня собралось множество, и все они так шныряют взад и вперед, что просто не знаешь, какой бес в них вселился; хоть сто раз гони их в комнату играть, они все лезут обратно и так и вертятся под ногами; чудо еще, если не опрокинешь на кого-нибудь миску с горячим компотом. Георгу Ааднимэлю было строго приказано — как только придут гости, завести граммофон, чтобы развлечь их, но рыжеголовый мальчуган, обычно такой послушный, сегодня ведет себя немного странно; кажется, будто ему все некогда. Вместе с Йоозепом Тоотсом, уже с утра появившимся в доме, они блуждают из комнаты в комнату, потом идут на кухню, оттуда в чулан, и всюду Кийр демонстрирует перед своим школьным приятелем неисчерпаемые запасы яств и напитков, заготовленные к сегодняшнему знаменательному дню. При этом оба беспрерывно жуют, что именно — так и остается неизвестным; но из карманов поминутно что-то вытаскивается и кладется в рот, и друзья все грызут и грызут, как будто у них челюсти казенные. Давайте немножко последим за ними.

Сейчас они совершили уже третий рейс в кладовку и с любопытством останавливаются перед батареей бутылок, выстроившейся на верхней полке, под самым потолком.

Стоит ли описывать выражение их лиц? Кто читал басню о лисе и винограде, тот и сам поймет, как эти лица выглядят; а кто этой басни не читал, тот пусть представит себе: наверху — бутылки с пестрыми этикетками, а внизу — Йоозеп Тоотс. Через минуту Тоотс подталкивает приятеля локтем, глотает слюну, причем кадык у него забавно двигается вверх и вниз, и спрашивает:

— Интересно, зачем их так высоко поставили?

— Ну, чтобы не могли их достать...

— Кто?

— Ну, мало ли кто тут ходит... Дети и... Разбить могут, вот почему. Хи, а здесь довольно дорогие бутылки есть, по рубль семьдесят пять копеек... А эта вот... видишь, та, которая вся будто в песке...

— Да, да, вижу, вижу. Ну?

— Она целых два рубля стоит. Это вино поднесут только самому кистеру и крестиым, да тем, кто поважнее — арендатору с церковной мызы, купцу... А таким, как чесальщик с шерстобитни или судейский посыльиый, тем по рубль семьдесят пять копеек. Видишь, с белыми иаклейками и золотыми буквами... Лати... лати... патс.

— Что это значит — «Лати патс»?

— Хи, не знаю. Может, название вина.

— Нет. А, я знаю... постой, у меия дома была такая бутылка: «лати» зиачит по-французски — настоящее, а «патс» — сладкое: иастоящее сладкое. Да, да, это оно и есть. Я теперь узиал эту бутылку.

— Хи, вот как, настоящее сладкое?

— Ну да, ведь рубль семьдесят пять копеек — это куча денег, почему же ему не быть сладким! Так и есть; те же самые бутылки. Я теперь ясно вспоминаю: такие же золотые буквы, а на горлышке красиая жесть. Те же самые, да. А теперь скажи, миленький Аадниэль, что это за сорт там вот, около самой стеики? До чего же иаклейки красивые!

— Это по девяносто пять копеек... Для родственников и... для деревенских... Хи, хи, много оии поимают — им что ии дай, лишь бы послаще да похмельнее.

— Лишь бы послаще да похмельиее...— повторяет про себя Тоотс, задумчиво глядя вверх; при этом он зажмуривает один глаз, грызет ногти, а другой рукой иетерпеливо дергает косточку, торчащую из миски со студнем.

— А как же ваши сами их оттуда достаиут? — спрашивает ои иакоиец.

— Хи, так у иих же лестница есть,— отвечает Кийр, прыгая по кладовке.

— А, лестиица! Ну да, тогда дело другое. Что же, с лестиицей можио и с неба бутылки достать... ио... эти ведь можио и так достать, без лестиицы.

Тоотс вопросительно смотрит на Кийра, ожидая, не выскажет ли он сомнений на этот счет, но Кийр только многозначительно улыбается; ссутулившись, он засовывает руки в карманы брюк, потом, лязгая зубами, словно ему вдруг стало холодно, наклоняется над каждой миской, пробует пальцем — застыл ли уже студень,— и так и не отвечает на вопрос. По любому другому поводу Кийр обязательно стал бы спорить и доказывать, что такая проделка невозможна, но сейчас он почему-то молчит. И это еще больше подзадоривает Кентукского Льва.

— А в самом деле,— начинает Тоотс через несколько минут,— я бы достал их без всякой лестницы; если не все, то хотя бы одну.

При этом взгляд его становится беспокойным, глаза приобретают странный маслянистый блеск, а изо рта слюнки так и текут. Но Кийр все молчит. Тогда Тоотс хватает его за рукав и шепчет ему что-то на ухо. В то время как правый глаз Тоотса прикован к белоснежному воротнику приятеля, левый тщательно измеряет высоту кладовки, с особым умилением останавливаясь на верхней полке. Кийр выслушивает его до конца, по-прежнему улыбаясь, задумывается на мгновение, потом глубоко втягивает голову в плечи и несколько раз поворачивается на каблуках.

— Нельзя,— говорит он, тряся головой.

Но на свете есть много вещей, которых нельзя делать, а их все-таки делают. Спустя несколько минут мы видим, как Тоотс, словно белка на дереве, упираясь ногами в нижние полки, тянется к самой верхней. Кийр стоит внизу и передвигает миски и горшочки, чтобы освободить место для ног Тоотса, не то нога может угодить, скажем, в миску с молоком, а кому нужна такая неприятность!

На душе у Кийра не совсем спокойно: предприятие, в которое он впутался, далеко не безопасно, к тому же он, как мы уже говорили, послушный сын и ему не так-то легко нарушить запрет родителей. То, что он сейчас принимает участие в этом темном деле, объясняется тремя причинами: это, во-первых, неотразимое красноречие Тоотса, которое проявляется всякий раз, когда ему нужно привлечь кого-либо себе в

соучастники; во-вторых, желание Кийра показать, что и он способен на любую шалость. В-третьих, Кийр, как натура колеблющаяся, старается утешить себя мыслью, что бутылки все же расположены слишком высоко и Тоотсу при всем желании до них не добраться, а потом совсем не плохо будет посмеяться над ним — вот, мол, Тоотс молодец только на словах, а не на деле. Но Тоотс оказывается молодцом и на деле: он, точно лунатик, лезет все выше и уже протягивает руку, чтобы схватить ближайшую бутылку.

— Только не эту! — кричит ему снизу Кийр: он с испугом видит, что Тоотс подбирается как раз к той двухрублевой, которая предназначена для кистера и крестных. Тоотс оставляет двухрублевую и хватается за следующую.

— Нет, эту тоже нельзя! — снова кричит Кийр.— Эта за рубль семьдесят пять. Бери ту, что у самой стенки!

Но чтобы достать ту, что у самой стенки, необходимо адское напряжение сил, и в голове у Тоотса мелькает мысль, что бутылки расставлены совсем неправильно: обычно самые лучшие вещи достаются труднее всего, а здесь как раз наоборот. Почему это так?

Он встает на цыпочки, кряхтя вытягивается всем телом, как только может, и шарит у стены на ощупь, так как ему туда не заглянуть. Но дело дрянь, ему удается коснуться бутылок только кончиками пальцев; самое большее, что сейчас можно было бы сделать,— это толкнуть бутылки, чтобы они легли. Но тут другое несчастье: он ощущает вдруг в спине какой-то толчок, а правую ногу сводит судорога.

— Ох, черт, кажется, позвонок оторвался,— доносится сверху жалобный голос.

— Слезай! — кричит Кийр.— Еще разорвешься пополам!

У нашего рыжеволосого приятеля в эту минуту возникает странное представление об устройстве человеческого тела, а именно: верхняя и нижняя его части держатся вместе потому, что их соединяет спинная кость, или хребет, как его называют, и стоит позвонкам разъединиться, как человек распадется на части.

А в том, что и Тоотс человек, сомнений быть не может. Скверно будет, если он там наверху начнет разваливаться на части: куски полетят вниз и разобьют все вдребезги.

— Нет, нет, подожди! — отвечает голос из-под потолка.— Я еще раз попробую. А ты потри мне икру на правой ноге, ее, окаянную, судорогой сводит.

Видя, что друг непоколебим как скала, Кийр принимается тереть ему икру.

— Ай, скотина, да не щекочи ты! — орет Тоотс, и в тишине кладовки раздается дребезжащий смех, напоминающий блеяние козы.

— А что же мне делать?

— Подожди!

Тоотс, делая последнюю отчаянную попытку достать бутылку, подпрыгивает. На полке дребезжат миски и тарелки, вся кладовка содрогается, с потолка сыплется штукатурка. Паук в испуге забирается в самый темный угол и там ломает себе голову — что может означать этот грохот? В конце концов, чего доброго, подберутся и к его паутине, уничтожат все плоды его трудов и, что еще хуже, его самого. В руке у Тоотса поблескивает какой-то предмет, затем рука, держащая предмет, делает в воздухе несколько беспомощных движений. И Тоотс летит вниз. Падение его поистине величественно. Он низвергается вниз не по частям, как того опасался Кийр,— нет, Тоотс падает целиком, во всю свою длину и толщину. По дороге обнаруживается, что несколько мисок почему-то сочли своим долгом сопровождать торопливого путника, а мышеловка будто только и ждала этого момента, чтобы с треском захлопнуться.

Во всяком случае Тоотс может утешать себя мыслью, что падает он не один.

Очутившись внизу, он видит, что левая нога его попала в миску со студнем, а правая со всеми ее судорогами — к Кийру в карман, один край которого разорвался по шву; второй край и донышко кармана еще кое-как держатся. В первую минуту оба друга немеют и остекленевшими глазами смотрят наверх, словно ожидая, что оттуда еще что-то полетит вниз.

Но все, что могло и хотело упасть, уже упало, и, Тоотс обретает наконец дар речи.

— А смотри, достал все-таки! — говорит он, вытягивая руку с девяностопятикопеечной бутылкой.

— Теперь давай выбираться из кладовки.

Приятели отчаянно спешат, и хотя их всего двое, ног у них оказывается такое множество, что Тоотс не находит для своей ноги другой опоры, как мозоль Кийра. Кийр корчится от боли и дрыгает ногой, точно кошка, пробирающаяся по грязи. В дверях им попадается навстречу кто-то с дымящейся миской в руках, но им некогда разглядывать, кто это и что у него в миске.

— Кошка, дрянь такая! — говорит Тоотс, словно оправдываясь, и судорожно прижимает к себе спрятанную под полой бутылку.

Через несколько минут оба друга оказываются во дворе и заворачивают за угол дома. Здесь они останавливаются, прислушиваясь, и обмениваются вопросительным взглядом. Затем Тоотс осторожно извлекает из-под полы бутылку, оглядывает ее со всех сторон, взбалтывает вино и рассматривает на свет.

— Да... Вино хорошее,— говорит он.— Смотри, какое прозрачное. Настоящее русское...

Из-за угла доносится какой-то звук. Тоотс торопливо прячет «настоящее русское» под полу куртки, и приятели с испугом ждут появления врага. Но у страха глаза велики, а когда еще и совесть нечиста, то всяких преследователей, и врагов, и предателей бывает такое множество, что хоть пруд пруди. Но никого нет, должно быть, просто с крыши упал комок снега или сосулька. Постепенно друзья смелеют, и хотя Кийр все еще озирается по сторонам и прислушивается, его разбирает любопытство, ему не терпится поближе познакомиться с содержимым бутылки. Между тем Тоотс уже орудует штопором, который он на всякий случай и сегодня захватил с собой. Кийр внимательно следит за его движениями, хвалит его ножик и спрашивает, откуда он достал такую великолепную вещь; но Кентукскому Льву, который обычно в ответ на подобные вопросы дает самые пространные и обстоятельные разъяснения, сейчас не до того. Он про-

бует вино на язык, причмокивает губами, встряхивает головой, улыбается и многозначительно смотрит на Кийра; потом снова подносит бутылку к губам и не особенно торопится от нее оторваться. В горлышке бутылки что-то булькает, и при каждом глотке кадык Тоотса, точно насос, ходит вверх и вниз. Затем бутылка передается Кийру, тот отпивает маленькими глоточками, но зато несколько раз подряд. Некоторое время друзья еще стоят на ногах, потом усаживаются в снег, опершись спиной о стену дома.

— Хорошо так сидеть,— говорит Тоотс.

— Да, а вдруг увидят, что...— с сомнением произносит Кийр.

— Ничего! — утешает его приятель.— Я ведь сказал, что это кошка...

IX

Но оставим на время наших друзей за их занятием, заглянем в дом и посмотрим, что там происходит.

Хотя приготовления к крестинам продолжаются в прежнем лихорадочном темпе, им все еще не видать ни конца ни края; ясно одно — если бы крещение можно было откладывать с одного часа на другой, то ребенок так и остался бы некрещеным до самого светопреставления, ведь женщины могут до бесконечности возиться со своей стряпней и всякими другими делами. Известное замешательство вносит и происшествие в чулане, явно замедляя быстроту проворных рук и ног. То там, то тут раздаются вопросы: кто же мог это сделать, когда, каким образом? Но вопросы эти повисают в воздухе — никто не в состоянии дать на них точный ответ, а для более подробного расследования ни у кого нет времени.

Папаша Кийр успел уже переиграть гостям все граммофонные пластинки, а некоторые даже по два, по три раза, благодаря чему стал, конечно, центром всеобщего внимания. Он стоит, точно король, среди гостей, время от времени вертит ручку чудесного аппарата и меняет иголки и пластинки, сопровождая каждое свое движение каким-либо замечанием, относящимся к музыке. Гости роем облепили его и молча слушают, причем некоторые из них считают, что звуки эти издает какой-то маленький человечек, сидящий в граммофоне; ведь машина, что бы она там другое ни делала, петь никак уж не может. Кто-то имеет неосторожность высказать это суждение вслух, после чего несколько малышей испуганно шарахаются в сторону от музыкального инструмента и, уткнувшись лицом в грудь своим мамашам, начинают реветь.

Наконец наступает назначенный час и на торжество прибывает кистер. Общество разделяется на три

части; каждая состоит из тех лиц, которых юный Кийр упомннал, говоря о сортах вин. Одиому только чесальщику с шерстобнтни удается, беседуя иа ходу с арендатором, пробраться в соседнюю комнату, куда портиой с вежлнвыми поклонами прнглашает только гостей «первого сорта». В этой комнате, самой просторной во всем доме, н должеи совершнться обряд крещення. В первой комнате у одиого окна остаются подмастерье Кнйра, его ученик, пекарь, волостной посыльный н какой-то приехавшнй на побывку солдат, а у другого окна хуторяие, толкуя между собой жалуются на плохие времеиа и иа то, что прнходится так миого платить батракам. Жеищины разошлнсь — кто на кухню, кто в детскую — н стараются всячески помочь хозяйке дома. Какая-то старушка снует с пелеиками в руках взад и вперед, видимо, что-то разыскивая. А другая толстая бабушка, держа в руке две свечкн, ищет коробок со спнчкамн н с озабочеиным вндом ходнт нз комнаты в комнату, бормоча себе под нос: «И куда к бесу я могла его засунуть?» К счастью, по дороге она сталкивается со средннм сыном портиого — он, ковыряя в зубах, как раз выходнт из кухнн — н велит ему принести спички. Фридрнх тут же направляется с этнм поручением к папаше, но тот увлечен беседой с гостямн н даже не замечает его. Наконец, узнав, в чем дело, папаша Кийр тороплнво бормочет: «Да, да!», машниально шарит по карманам н подает сыиу коробку с папиросамн. Откуда-то доиосится плач иоворождеиного и чей-то ласковый голос: «Ох ты, бедиенький! Ох ты, маленькнй! Ну ие плачь, ие плачь!»

Но присутствие духовного лнца оказывает свое действие: женщнны заканчнвают наконец свон прнготовления н можно приступать к священному обряду. Голоса сразу затнхают, все начннают ходнть иа цыпочках; в обеих дверях показываются торжествеииые фнзиономнн гостей, н большая комната наполняется пестрой толпой. Папаша Кнйр встает, закаичивая беседу словечками «да-да», прнглаживает усы н, отвесив кнстеру поклон, с чуть прннужденной улыбкой пронзносит:

— Начнем... пожалуй.

Кистер тоже быстро встает — он готов приступить к исполнению своих обязанностей.

Но сперва он берет хозяина под руку, отводит его в сторону и спрашивает, какое имя решили дать ребенку.

— Да, да! — отвечает папаша Кийр, вытаскивает из кармана сложенный вдвое листочек бумаги и растерянно улыбается, словно чувствуя себя в чем-то виноватым.

— Колумбус Хризостомус.

— Как, как? Колумбус... Хри?..— переспрашивает кистер и подносит ладонь к уху, стараясь не пропустить ни одного звука.

— Да, Колумбус Хризостомус,— повторяет портной уже непринужденнее и вопросительно смотрит на кистера.

— Ах, так, Колумбус Хризостомус... А-а! Так-так. Гм... гм... Да, да, теперь понятно... Но... видите ли... Подходят ли эти имена, ведь... Колумбус, например,— это же фамилия, а не имя. Да и Хризостомус — тоже... очень странное иностранное имя, давно уже нигде не употребляемое. Не подобрать ли вам другое... те все-таки не пойдут. Может быть, вы скажете об этом вашей супруге, возможно, она выбрала и еще какие-нибудь имена.

Господин Кийр бледнеет, силится что-то ответить, но не может; губы его, правда, шевелятся, но, как видно, он не в состоянии произнести ни слова. Когда к нему возвращается наконец дар речи, он, заикаясь, торопливо бормочет:

— Ах, так, ах, так? Не подойдет, значит? Совсем не подойдет? Так, так, так!

И с этими словами, отвешивая кистеру низкие поклоны, он пятится к дверям, в которых как раз в эту минуту показывается торжественная процессия: мать ребенка, крестные и избранные гости. У дверей Кийр поворачивается лицом к шествующим и делает им знак, чтобы они вернулись в детскую.

Все возвращаются в детскую, и здесь господин Кийр, запинаясь, рассказывает супруге историю с именем, делая отчаянные жесты, точно все уже по-

гибло. Супруга в ужасе всплескивает руками: где же сейчас, в последнюю минуту, раздобыть другие имена! Это невозможно!

Но неизбежности надо покориться, говорит философ; новые имена все равно необходимо найти, как бы мало времени для этого ни оставалось. Всех, кроме двух теток, приехавших из города, и сестры госпожи Книр, просят на минутку покинуть детскую, так как с выбором имен случилась маленькая ошибка, которую нужно обязательно исправить. Дверь запирают на ключ, и начинается лихорадочное обсуждение имен, причем вкусы тетушек, прибывших из города, оказываются до того противоположными, что дело доходит до ожесточенного спора; припоминаются старые обиды, сыплются взаимные упреки, и обе заявляют, что тотчас же уезжают домой. После долгих споров согласие наконец достигнуто и священный обряд может начаться.

X

За домом царит глубокий покой. Друзья выпили бутылку почти до дна и теперь спят невинным сном, как два ангелочка. Тоотс склонил голову Кийру на плечо, обняв его левой рукой за шею, а в правой держит на коленях бутылку.

Это два усталых путника, возвращаясь из дальних стран, безмятежно уснули в прохладной тени деревьев и видят сны о своей прекрасной родине.

И Тоотс действительно видит сон.

Он пасет свиней на паровом поле. Солнце так печет, что даже голове больно и глаза щиплет. С земли поднимается прозрачный пар, он тянется вверх нескончаемой зыбкой пеленой и тает в синеве неба. Словно состязаясь между собой, звонкой трелью заливаются жаворонки, и чуть волнуется ржаное поле. Все тихо вокруг, только с дальних лугов долетает порой разноголосое пастушье «ау, ау», мычание коров и лай собак. Тоотс только что сплел себе новенький кнут и выбирает, на какой бы из свиней лучше всего его испробовать. Выбор падает на огромного борова Пыпу, который, несмотря на свою страшную толщину и лень, умудряется с непостижимой быстротой забраться в рожь: Пыпу должен первым почувствовать на своих толстых окороках, как хорошо Йоозеп умеет плести кнуты. Тоотс уже взмахивает рукой, кнут уже свистит в воздухе, но Пыпу вдруг смотрит на Тоотса такими странными глазами, будто хочет спросить: «Ну, ну, а дальше что?»

Черт побери, как этот Пыпу глядит! Откуда взялись у этой глупейшей скотины такие умные глаза! Рука Тоотса невольно опускается; сегодня он не в состоянии ударить Пыпу.

«Ну, тогда вместо него достанется Ыссу»,— твердо решает Тоотс и подбирается к старой свинье с отвислым брюхом, разгуливающей по полю в поисках

осота и лебеды. Ыссу, наверное, много старше Тоотса: когда он еще под стол пешком ходил и боялся пауков, Ыссу уже была точно такой, как сейчас.

Но — час от часу не легче! Свинья еще издали смотрит на Тоотса и хохочет. При этом обнажаются ее гнилые зубы, которые у нее всегда были крепкие и белые, какие только могут быть у свиньи, а пятачок забавно двигается, словно вращаясь на какой-то оси.

«Что за дьявольщина! — думает Тоотс.— Что такое стряслось сегодня со свиньями?»

Но тут он в испуге отступает на несколько шагов; свинья оказывается вдруг не кем иным, как... как... Да кто же это? Знакомое лицо, он тысячу раз его видел... Ох, нечистая сила, да ведь это та самая, эта, как ее... Ну, прямо на языке вертится ее имя... Вечно ходит к ним, жалуется на свою судьбу — то денег нет, то муж запил, загулял, и сюда столько-то плати, и туда столько-то плати, и не будь детей, убежала бы на край света... как же ее зовут? Он так и не может вспомнить — хоть хлещи себя кнутом по ногам. Но это еще не все. Ноги у свиньи вдруг вытягиваются, обвислый живот ее поднимается, словно на подпорках. Вскоре все стадо начинает расхаживать, будто на ходулях; один маленький пятнастый поросенок умудряется даже прыгать на одной ножке, потешно размахивая остальными тремя, точно дирижируя оркестром. Тоотс знает этого поросенка — это большой задира, он вечно отгоняет от корыта других поросят и при этом ощетинивается, словно еж. Сейчас, прыгая, он сталкивается с молодой свинкой Мимми и кувырком летит на землю, а Мимми невозмутимо ковыляет дальше на своих коротеньких, кривых ножках, точно какой-нибудь старый моряк. Эта Мимми всегда удивляла Тоотса: день-деньской она бегает, грызет кости и всякую дрянь и даже не подумает поесть травы, пусть осот и чертополох хоть выше головы растут. Дома она тоже не ест, только и делает, что визжит да грызет другим свиньям хвосты; но всегда она сыта, живот у нее надут, а иную свинью сколько ни корми — она все плоская, словно камбала.

«Странное дело! — думает Тоотс.— Интересно, что дома будут говорить, когда я все это расскажу».

Но вдруг — о ужас! — он со страхом видит, что свиньи заводят хоровод; они пляшут под жужжание шмелей, окружают Тоотса и с каждым кругом все приближаются к нему. Умные глаза животных становятся совсем крошечными, плутоватыми, и кажется, будто свиньи высматривают, с какой стороны лучше всего напасть на пастушка. О том, чтобы их ударить, сейчас и речи быть не может; Тоотс думает только, как бы ему самому отсюда выбраться. В отчаянном страхе он бросается наутек. Но сколько он ни перебирает ногами, ему не удается продвинуться ни на шаг. Ноги как будто увязают в глубоком, рыхлом снегу или густой грязи; а иногда ему кажется, что ноги совсем ослабели и не держат его.

Вдруг позади его раздается топот и хрюканье. «Ветер чуют!» — едва успевает подумать беглец, и в ту же минуту кто-то подхватывает его к себе на спину и начинается такая бешеная скачка вдоль всего поля, какую Тоотс себе и представить не мог. Ветер гудит у него в ушах, мухи и жуки на лету шлепаются о лицо, а ржаное поле проносится мимо, как зеленая ткань. Он уже не в состоянии ничего различить вокруг, ни камней, ни цветов,— все слилось в какие-то пестрые полосы, и ему кажется, будто он мчится по полосатому ковру. А когда наездник, чуть опомнившись, бросает взгляд на своего коня, то видит, что конь этот не кто иной, как та же старая Ыссу. На спине у нее седло, и Тоотс восседает в этом седле, точно средневековый рыцарь, уверенно засунув ноги в стремена, и скачет неизвестно куда. Единственное, чего не хватает, это уздечки, но зато Ыссу обладает огромными ушами, и наездник судорожно держится за них. Но как раз в тот момент, когда Тоотс начинает задумываться, к чему может привести такая скачка, он каким-то чудом раздваивается. Половина его по-прежнему несется дальше на спине Ыссу, а другая вдруг оказывается дома, у хлева, возле лужи и измеряет хворостинкой ее глубину.

А солнце все время печет так, что у обоих Тоотсов — и у всадника, и у того, что измеряет сейчас лужу, такое чувство, словно в голову им напихали горячей каши.

Между тем откуда-то сверху что-то сыплется и по одной штуке и по две — это мыши и крысы; и некто, кого сперва и не узнать, потом превращается в кистера и вопит диким голосом: «Сейсскер! Сейсскер!»

Теперь наездник снова становится наездником и очертя голову мчится через ворота во двор, прямо к луже.

— А сюда зачем? — в отчаянии вскрикивает Тоотс.— Я же там ослепну!

В это мгновение он чувствует, что взлетает в воздух, потом летит вниз головой в лужу. В ушах у него шум, в груди так мучительно жжет, словно там кусок раскаленного железа, во рту скверный привкус, потом начинает вдруг так тошнить, что кажется — конец ему пришел, а дыхание... да где тут еще дышать! К счастью, в ту минуту, когда ему становится совсем плохо, он снова летит куда-то вниз, и здесь ему делается легче. Оглядевшись, он видит, что лежит в овине, на постели. Постель эта почему-то устроена на полу, в самом углу овина; холодный, пронизывающий ветер врывается в ворота и раскачивает подвешенное к балке большое решето, полное мякины. Голова Тоотса все еще пылает, хотя солнце уже зашло и он весь дрожит от холода.

Красное полосатое одеяло, которым он укрыт, тоже все в больших дырах, как решето, и ничуть не греет, а тут еще рядом примостился кто-то другой и пытается сорвать с него и это покрывало. Тоотс сворачивается калачиком, так что колени его касаются подбородка; он скрутился бы хоть в морской узел, только бы согреться.

Но согреться он никак не может.

Откуда-то доносится пение. Сначала совсем тихо, потом громче и, наконец, так громко, точно мимо марширует пожарный оркестр. Голоса звучат где-то близко, так ясно, что... что...

Тоотс открывает глаза и испуганно озирается. Ему, конечно, сразу становится понятно, что все виденное и слышанное было только сном, но он очень изумлен — почему песня все еще продолжает звучать и наяву.

Кто это поет? И где он сам сейчас находится? Его растерянный взгляд падает на Кийра... Ага-а, ну да, он же на крестинах у Кийров. А как же?.. Ну да, ну да, конечно, все это было наяву, бутылка еще и сейчас валяется на земле. Черт, как это они могли тут заснуть? Тоотс медленно поднимается, морщится, отплевывается, ерошит свои растрепанные волосы, потягивается и задумчиво смотрит на Кийра, как бы обдумывая, что лучше всего предпринять сейчас с этим человеком.

Наконец он трогает приятеля за плечо и трясет его:

— Кийр, Кийр, вставай! Уже поют! Пошли туда!

Но приятель глубоко вздыхает, бормочет непонятные слова, делает такое движение, словно хочет натянуть на себя сползшее одеяло, и, сопя, снова засыпает.

«Не встает... Такого хоть ломом поднимай,— думает Тоотс, убеждаясь в бесполезности своих усилий.— Ничего не выйдет. Ишь ты, дохлятина... пить не умеет... Вот я, например...»

Он поднимает бутылку, рассматривает ее со всех сторон и еще раз читает по складам: «Настоящее русское»...

«Странно,— рассуждает он про себя,— настоящее русское, а стоит девяносто пять копеек, а лати патс стоит рубль семьдесят пять — какая разница! И «лати» означает на их языке — настоящее, а «патс» — сладкое, какой смешной язык! И что это может быть за язык?»

«Не иначе как латынь»,— утешает он себя под конец и зарывает бутылку в снег, настороженно посматривая за угол. Затем он окидывает взглядом свое недавнее ложе в снегу, щиплет себя за нос, покачивая головой, глядит на спящего приятеля и неуверенным шагом выходит за угол. Помедлив с минуту на пороге дома, он через переднюю медленно пробирается в кухню и прислушивается. Тишина стоит такая, как во времена Ильи-пророка. Нигде не видать ни души, не слышно и пения. Но чуть приоткрыв дверь, ведущую в горницу, он слышит, как в следующей, проходной комнате кто-то говорит громким заунывным голосом.

Тоотс на цыпочках входит в комнату, останавливается у печки и продолжает прислушиваться. Ему не терпится узнать, о чем там говорят. До слуха его долетают слова:

— Нарекаю тебя именем... Бруно Бенно Бернхард.

«Что это значит? Прууну Пенну Пернарт? — в испуге думает Тоотс и с недоумением оглядывается по сторонам.— А как же Колумбус Хризостомус?» Он подходит ближе и приникает ухом к дверям. Но там уже говорят совсем о другом и никто больше не повторяет этих имен.

«Нет, этого быть не может! Там, наверное, есть еще какой-то ребенок, кроме Колумбуса,— решает Тоотс и, уверенный, что нашел наконец правильное объяснение происходящему, машет рукой.— Но как же...— И тут ему вдруг становится не по себе.— Да по мне, пусть назовут его хоть Балтазаром, какое мне дело. Я постараюсь отсюда...»

Но как раз в то мгновение, когда он, весь съежившись и ссутулившись, собирается шмыгнуть за дверь, взгляд его, в последний раз скользнув по комнате, задерживается на граммофоне. Несмотря на тошноту, Тоотс останавливается, и в голове у него мелькает мысль: а что общего между игрой на граммофоне и ездой на повозке? Что-то есть, это ясно, иначе почему бы это пришло ему на ум. Ездить приятно только тогда, когда сам можешь править лошадью, а играть на граммофоне, когда... Ой, ой, как чудесно было бы хоть разок самому, без посторонней помощи, его завести!

Но за дверью совершается сейчас такая церемония, которой никак нельзя мешать, а если он, Тоотс, заведет эту штуку, в другой комнате обязательно будет слышно. Ну... а может, не будет.

В душе Йоозепа Тоотса борются силы добра и зла. И как всегда, разумеется, побеждает зло. В торжественную тишину комнаты врываются скрипучие звуки граммофона, и незримый хор горячо и вдохновенно запевает: «На выс-о-о-кий холм взойди-и-те!»

Лица у гостей сразу вытягиваются, все с недоумением переглядываются, и даже кистер на минуту умолкает. Сначала никто не может понять, откуда взялись

эти звуки и что это вообще такое, но когда папаша Кийр, как безумный, распахивает дверь и бросается к месту происшествия, всем становится ясно, откуда раздается эта столь неуместная сейчас музыка.

Но длится она теперь уже считанные минуты; до слуха гостей доносится еще один скрипучий звук, и ловкая рука портного ловким движением поворачивает именно ту пружину, которая останавливает все остальные пружины и прекращает музыку.

Тоотс в это время стоит уже в дверях, грызет ногти и следит за каждым движением портного; и едва тот с разъяренным видом делает к нему несколько шагов, Тоотс стремительно выскакивает за дверь: внутренний голос подсказывает ему, что у хозяина дома намерения далеко не благие. Очутившись шагах в двадцати от дома, он оглядывается: портной стоит на пороге и грозит ему кулаком.

«Смешно! — думает Тоотс.— Ничего ведь не случилось, чего тут злиться».

Хозяин скрывается за дверью. Тоотс и сам не знает, как ему теперь поступить: идти ли прямо к себе домой или, описав круг, подкрасться к дому портного с другой стороны и посмотреть, что делает приятель. Немного поразмыслив, Тоотс все же решает убраться отсюда — ведь там, в этом доме, осталась еще и та бутылка, из-за которой могут пойти всякие разговоры, и разбитые миски и... вообще, как подсказывает Тоотсу его жизненный опыт, если уж дело начало оборачиваться плохо, то плохо оно и кончится; а зачем самому лезть на рожон, если можно и без этого обойтись.

Итак — домой! Ведь недаром говорится: дома на печи всяк в почете и в чести.

XI

В этот же день и приблизительно в это же самое время в классной комнате состязались между собой двое мальчиков.

После обеда Арно Тали пришел в школу — ему хотелось посмотреть, много ли мальчишек уже вернулось из дому. Но, кроме маленького Юри Куслапа, то есть Тиукса, здесь никого не было.

Имелик вместе со своим возницей отправился не то в лавку, не то еще куда-то, и Тиукс в полном одиночестве сидел на кровати в спальной и что-то читал или писал, повернувшись к дверям спиной и сгорбившись.

— Здравствуй! — сказал Арно входя.

— Здравствуй! — едва слышно ответил Куслап, взглянул мельком на вошедшего и снова склонился в той же позе. Тиукс решал задачу. На коленях у него была большая грифельная доска в красной рамке с обломанным уголком, а на краю другой кровати лежал перед ним раскрытый задачник.

— Что ты тут делаешь? — спросил Арно, подходя поближе.

— Задачу решаю на завтра.

— Ты тут вообще один?

— Нет. Имелик в лавку ушел.

— А задача у тебя выходит?

— Нет.

— Не выходит? А что в ней такого? Я, правда, еще не смотрел ее, но что там может быть особенного. Ты просто не умеешь.

Тиукс поморщился, вздохнул, затем отложил грифельную доску и взял в руки задачник.

— Переведи мне вот отсюда,— сказал он, указывая на номер задачи. Арно перевел ему задачу и чуть призадумался. Как трудно Куслапу, если для каждого пустяка ему нужен переводчик.

— Ага,— произнес Тиукс, взял доску, стер с нее все прежде написанные цнфры и, водя по книге пальцем, строчка за строчкой, принялся решать задачу заново.

Крошечный, жалкнй огрызок грифеля, зажатый в его тоненьких пальцах, так скрнпел по доске, что у Арно мурашкн по телу побежалн. Но самого Куслапа этот скрнп ничуть не трогал, он продолжал выписывать одну цнфру за другой, подводнл под ними черту н, не моргая глазами, все счнтал н счнтал. Арно долго наблюдал за ним.

— Ну, тебе, видно, с ней не справнться,— сказал Арно наконец.— Давай сюда, я тебе помогу!

Он взялся за рамку доски, в полной уверенностн, что Куслап выпустнт ее нз рук. И действительно, вначале Тиукс особенно не сопротнвлялся, он только подался всем телом в сторону Арно и продолжал писать, не обращая вннмания ни на собеседника, нн на его слова. Но когда Арно захватил уже почтн всю доску и Куслапу стало неудобно пнсать, он резко рванул ее обратно, к себе на колени.

— Ну, если не хочешь,— сказал Арно обнженно,— так решай сам.

Он медленно побрел в классную н стал смотреть в окно на реку. Все еще знма. И река еще не вндна: лишь ряды деревьев и кустарника на ее берегах указывают, где продолжает она свой неустанный бег под покровом льда. А вдали, у камышей... Не чернеет лн там уже лед, как осенью, когда они с Тээле провалились в воду? То место выглядит сейчас необычно, не так, как в середине знмы. Там на дне лежнт н плот мальчишек с церковной мызы, тот злосчастный плот, который доставнл Арно столько огорченнй. Почему он тогда так мучился? Ну, да н было о чем тревожиться: напрнмер, Лнбле... Что сталось бы с Либле, еслн бы его уволнли?

Зато как легко сделалось на душе, когда вся эта история с плотом свалилась с плеч! Но нет! Ему только во время болезни казалось, что все будет хорошо. А едва он вернулся в школу, как появилнсь новые огорчения. Беда, окаянная, всегда впереди тебя по-

спеет, куда бы ты ни шел! Разве Либле не прав, говоря это?

Арно распахнул окно и оперся грудью о подоконник.

Да, да, оттуда, с реки... оттуда шли первые весточки весны... Там, наверно, и начиналась весна, а потом шла дальше, неся с собой тепло и сияние солнца... и зелень лугов, и цветы, и распускающиеся почки, много цветов и распускающихся почек! Разве уже в самом воздухе не веет дыханием весны? Оно чуть-чуть заметно, еле уловимо, но Арно его чувствует. Дыхание весны чувствуют сейчас лишь немногие, а может, таких людей и вовсе нет, но Арно его ощущает. Весна идет, она уже в пути... Приди же скорее, весна!

Вдруг Арно послышались в классе шаги, ему показалось, будто кто-то его окликнул.

Он быстро обернулся. Но в комнате не было ни души, только на другом конце дома хлопнули дверью и оттуда донеслись далекие, едва слышные голоса. Старые стенные часы в классной тикали медленно и грустно, словно утомленные своей долгой жизнью. Под ученическими шкафами и ящиками попискивали мыши, скреблись и гонялись друг за дружкой.

«Редко видишь классную комнату такой,— подумал Арно,— завтра в это время здесь будет шуму хоть отбавляй. Один Тоотс будет орать за десятерых. Да и не только он, многие будут галдеть. Некоторые как будто считают своим долгом кричать на переменах, угощать друг друга тумаками в спину и драться книжками».

Арно в этой дикой возне не видит никакого смысла. Однажды он тоже попробовал подражать драчунам и с криком помчался вокруг парт, но это показалось ему самому таким нелепым, что он, устыдившись, замолчал и тихонько залез на свое место. Он совсем не считал, что тихони лучше шалунов, но ему было понятно, почему тихони не шалят; а что за удовольствие вечно галдеть и орать — этого он никак не мог себе уяснить. Будь в классе все ученики такие, как он, Тиукс и Тыниссон,— зачастую было бы, пожалуй, слышно, как муха летит, но тогда, наверно, стало бы скучнее.

Арно закрыл окно и вернулся в спальню. Тиукс по-прежнему сидел, скорчившись над задачей, словно окаменев в этой позе.

— Так и не получается? — спросил Арно и, не дождаясь ответа, принес из классной первую попавшуюся под руку грифельную доску, сел рядом с Тиуксом и стал решать задачу. Долго в спальной стояла тишина, прерываемая только скрипом грифелей, потом Арно вдруг ожесточенно плюнул на доску, стер все написанные цифры и начал заново. Тиукс поднял голову, и на его бледном лице появилось нечто вроде злорадной усмешки.

— Чего ты смотришь! — крикнул Арно, заметив его взгляд.— У меня-то скоро будет готово, а ты возишься уже полчаса — и ни туда ни сюда.

— Ну так реши,— тихо ответил Тиукс.

— И решу, вот увидишь.

И снова наступила тишина. Куслап уже не писал беспрерывно, как раньше; черкнув в уголочке доски несколько цифр, он останавливался, щурил глаза и, грызя кончик грифеля, задумчиво смотрел перед собой. Арно же продолжал лихорадочно работать, но часто стирал с доски все написанное. Им, как видно, все больше овладевало нетерпение — красные пятна на щеках его никогда не предвещали ничего доброго. Он старался как бы через силу справиться с задачей.

Лицо Тиукса вдруг оживилось, казалось, будто он прислушивается к таинственному шепоту — к шепоту невидимого существа. Может быть, какой-то добрый дух открывал ему сейчас великую тайну задачи. Он резко обернулся к Арно и спросил:

— Получается?

— Получается, обо мне не беспокойся, ты смотри, чтобы у тебя самого получилось,— хмуро ответил Арно.

— А у меня уже готово.

— Покажи.

Арно недоверчиво посмотрел на доску Тиукса. Но никакого решения задачи он там не увидел.

— Здесь-то нет, но я теперь знаю, как ее нужно решать,— сказал Тиукс.

— Мало ли что ты знаешь!

Оба соперника снова склонились над досками; Арно никак не мог подавить в себе чувство злобы против сидевшего рядом невзрачного человечка, от одежды которого пахло чем-то кислым, смешанным с запахом гари. И он еще хочет быть умнее Арно и справиться с задачей раньше его! Нет, не бывать этому!

Но потом... Взглянув на доску Тиукса, он в один миг все понял. Да тут-то и была загвоздка; теперь и ему стало ясно, что надо делать дальше, и он быстро, словно его кто-то подгонял, начал решать задачу с того места, которое ему удалось тайком подсмотреть у Тиукса, найдя таким образом правильный путь. Но, волнуясь, он допустил ошибку там, где, как ему казалось, был силен; он снова все стер и начал заново, думая, что все-таки решит задачу раньше Тиукса. Вдруг у самого его уха прозвучал странный тоненький голосок — как будто в классной комнате пискнула мышь: «Готово!»

Арно захотелось ударить Тиукса. Прошло довольно много времени, прежде чем он, нацарапав на доске еще несколько ничего не значащих цифр, ответил:

— Подумаешь, невидаль! Смотри, у меня тоже готово!

Тиукс взглянул и покачал головой.

— Ну да,— сказал он,— это и есть то самое место, где задержка была, иначе я бы давно решил.

Но у Арно уже не было охоты говорить о задаче, и он резко спросил:

— На вашей хибарке труба есть?

Куслап с минуту смотрел на Арно, потом ответил виноватым тоном:

— Нет.

— Потому-то у тебя одежда и пахнет дымом.

Куслап промолчал. По-видимому, он считал это вполне естественным; он ведь всегда, сколько себя помнит, жил в дыму.

— А правда, странно,— снова спросил Арно,— что в классной сейчас так пусто и тихо, а завтра тут будет такой шум, хоть уши затыкай.

И когда Куслап вместо ответа только поморщился и зашевелил губами, Арно повторил свой вопрос:

— Ну скажи — странно или нет?

— Нет,— ответил Куслап.

— Класс пустой, за партами никого нет...— задумчиво продолжал Арно.— И та парта, где сидит Тээле, тоже сейчас пуста. А завтра там будет Тээле...

Звено за звеном тянулась цепочка его мыслей. Вдруг он схватил Куслапа за локоть и так крепко сжал его руку, что тот скорчился от боли.

— Не смей показывать Имелику эту задачу,— сказал он.— И вообще не смей больше ни одной задачи ему показывать.

— Почему?

— Не смей, понимаешь. Пусть сам делает.

— Он не умеет.

— Тогда пусть и не делает, а ты не смей показывать. Не покажешь?

Куслап ничего не ответил, только лицо его сморщилось и он попытался высвободить свою руку.

— Не смей ему задачи показывать,— снова возбужденно заговорил Арно, все сильнее сжимая худенькую руку Тиукса.— Не смей! Если только ты покажешь Имелику задачу и дашь ему списать, то... то я тебя поколочу. И еще учителю пожалуюсь. И тебя тогда выгонят из школы. Ничего ему не показывай. Что с того, если он не умеет, пусть и не делает, пусть его после уроков оставляют, тебе какое дело. Не будешь показывать?

— Буду.

— Будешь? Зачем? Не смей. Если будешь показывать, я тебя сейчас побью! Вот как дам тебе!

Арно замахнулся на него. Куслап скорчился и зажмурил глаза, точно кошка.

Причины, заставлявшие Юри Куслапа помогать Яану Имелику делать уроки да и вообще прислуживать ему — стряпать, убирать его постель, приносить воду для мытья,— были гораздо серьезнее, чем Арно мог думать. И никакими угрозами нельзя было Куслапа удержать от этого, пока он был жив.

— Как дам тебе сейчас! Как дам!

Но вместо того чтобы ударить Куслапа, Арно схватил его обеими руками за худенькую шейку и стал душить.

— Пусти! — прохрипел Куслап.

— Не пущу, пока не пообещаешь, что не будешь показывать Имелику задачи. Не будешь?

Арно душил все сильнее. Собственно, ему следовало бы сейчас душить совсем по-настоящему, и вот почему.

Как-то летом Арно, пытаясь поймать бабочку, нечаянно оторвал у нее крылышко и потом тут же быстро покончил с ней, чтобы напрасно не мучилась...

XII

В передней хлопнули дверью: кто-то вошел в классную и, отряхивая снег, постучал ногами о пол.

Болезненная дрожь прошла по телу Арно, у него было такое чувство, будто он очнулся после кошмара; чтобы скорее прийти в себя, он резко оттолкнул Куслапа. Но это было лишнее — Куслап и так мигом очутился в углу и прижался спиной к стене, словно хотел весь в нее уйти.

В спальню вошел Имелик. Очень довольный самим собой и всей вселенной и находя, что всюду и всегда в этом мире дела обстоят превосходно, он тихо улыбнулся и медленно направился в глубь комнаты.

«Сейчас Куслап пожалуется ему и он возьмется за меня»,— было первой мыслью Арно.

Но Куслап и не думал жаловаться. Он притаился в углу неподвижно, как еж, и не издавал ни звука. Нет, Куслап и не думал ни на кого жаловаться. Ведь это было в порядке вещей: каждый, кому не лень, обижал его; он был сын бобыля и лишь случайно попал сюда, в среду детей зажиточных хуторян. Каких прав мог он здесь для себя требовать? Для него уже и то было счастьем, если его мучили чуть поменьше.

— А, Тали, и ты здесь,— сказал Имелик, протягивая Арно руку в знак приветствия. Но Арно в эту минуту был так поглощен перелистыванием своего задачника, что не обратил на жест Имелика никакого внимания, а тот нашел, что и это в порядке вещей: как Арно мог видеть его протянутую руку, если он, Имелик, не сказал ему «здравствуй».

— Хочешь конфетку? — спросил он, шаря у себя по карманам.— Мы с батраком в лавку ходили, конфет наелись, мед пили. На, бери!

С этими словами он бросил Арно на кровать несколько конфет, потом повернулся к Куслапу.

— Ну, Тиукс, ты чего это в угол забился. Тоотса же здесь нет, никто в тебя артиллерийским огнем шпарить не станет. Вылезай-ка лучше конфеты лопать. Гляди!

Имелик вытащил из кармана конфеты и держал их на ладони, протягивая Куслапу.

— Вылезай, вылезай, приятель, ты ведь не еж. Это только ежи днем в угол заползают, а по ночам бродят; а ты ученик Паунвереского приходского училища. Или, может, вы с Тали поссорились? У тебя опять такое злое лицо... У обоих у вас потешные лица... Небось повздорили, а? Ну, прямо скажем, отчаянные забияки собрались. Да бросьте вы, а то Тоотс, как узнает, обидится, что вы у него хлеб отбиваете, для него ведь ссоры и драки — прямо хлеб насущный. Этот парень, видно, и утром и вечером только и молится — ежели вообще он, бес этакий, умеет молиться: «Милый боженька, сделай так, чтобы опять случилась какая-нибудь славная драчка, кулаки чешутся, мочи нет терпеть». Так как же вы? Поссорились? Ну, поссорились — так поссорились, а теперь идите мириться, вместе конфеты есть будем. А? Вы же не петухи какие-нибудь, чтобы так долго злобу таить. Жаль — Тоотса здесь нет, я бы попросил у него индейскую трубку мира. У него такое добро всегда в запасе есть, да и всякие другие вещи, индейские или вообще такие, чтоб страх нагонять. Вы только подумайте, ребята, приходит вчера этот окаянный Тоотс ко мне, вытаскивает из кармана простую, ну самую обыкновенную коровью кость и говорит, будто это человеческая. «Какая это тебе человеческая кость! — говорю я ему.— Это же обыкновенный мосол коровий».— «Нет, говорит, ничего ты не понимаешь, это не коровий мосол, это кость мертвеца. Купи ее у меня, выйди с ней в полночь в первый четверг после новолуния на перекресток дорог из Рудивере и Паунвере, положи ее на землю и тогда увидишь, как она начнет трепыхаться, с обоих концов кровавую пену пускать и кричать: «Умблуу! Умблуу!» Ну, разве не дурья башка, такую чушь нести? Прямо смешно иной раз его слушать. А попробуй сказать, что это брехня, он сразу начнет уверять — в такой-то и такой-то книге, мол, вычитал.

А уж если он что-то в книге прочел, будет как скала стоять на своем — это, мол, все правда. Вылезай-ка, Тнукс, что ты там в углу глаза таращишь, стоит ли из-за каждого пустяка в углу торчать. Так ты из угла никогда и не вылезешь, ежели на каждый пустяк обижаться будешь. Выходи, я сыграю тебе на каннеле, я дома одну новую замечательную штуку выучил. Тири-рири-римпам, тири-рири-римпам...

Но оба, и Куслап и Тали, по-прежнему молчат. Конфеты лежат на кровати нетронутые, и напрасно подбрасывает Имелик у себя на ладони те, что предназначены для Куслапа. Лицо у Куслапа, правда, как будто уже проясняется, но Тали все еще хмурится, как дождливая осенняя ночь. Имелик прямо не знает, что ему делать, как растормошить этих угрюмых парней. У него самого сейчас превосходное настроение, и так приятно было бы посидеть втроем, болтая и грызя конфеты. О, он готов притащить еще конфет, лишь бы те двое вылезли наконец из углов и стали разговаривать. С Куслапом-то он в конце концов справится, это ясно, но Тали — парень совсем особого склада. Неделями с ним не разговаривает, да и вообще ужасно молчалив. На то должна быть своя причина: либо дома с ним плохо обращаются, либо его вечно гложет какая-то другая забота. Или, может, болезнь на него повлияла — он ведь перед рождеством хворал; это же не шутка, человек несколько недель был между жизнью и смертью. А может, он и сейчас еще болен? Он, Имелик, и раньше не раз замечал, что Тали как будто плохо слышит. Возможно, правда, что Имелик ошибается; да и разве это может иметь отношение к болезни Тали?

— Тали!

О-о, если он слышит даже, когда его так тихо окликают, то ни о какой глухоте не может быть и речи; скорее уж о Куслапе можно подумать, будто он плохо слышит, — того приходится иногда по нескольку раз звать, пока ответит.

— Тали, тебе всегда нравилось слушать игру на каннеле, ты и сам музыкант... Хочешь, я тебе сыграю?

Имелик принес из классной каннель, сел на край кровати и заиграл.

Да, это было чудесно. И когда русые волосы Имелика во время игры густыми прядями падали ему на глаза и он, встряхивая головой, откидывал их назад, это тоже было красиво.

Арно хотелось подойти к нему и попросить, чтобы он играл так долго, долго. Но разве мог Арно это сделать, разве мог он открыто признать, что и Яан Имелик способен на что-то хорошее. Ведь Яан Имелик — лентяй, человек совсем никудышный!

Но чем дольше он играл, тем больше смягчались сердца слушателей. Куслап зашевелился в своем углу. Арно уже встал, чтобы подойти к музыканту поближе и сказать ему что-нибудь дружеское; но вдруг в глазах его мелькнуло злобное выражение, и прежде чем Имелик успел заметить его жест, он схватил с кровати конфеты и швырнул их музыканту в лицо.

— Чего это ты? — спросил Имелик, прерывая игру и серьезно глядя на Арно.

— Не возьму я их! — выпалил Арно и весь покраснел.— Ешь сам, если хочешь, а я не буду.

— Ну, не хочешь — не бери, а зачем же швыряться?

— Потому что ты у Куслапа списываешь. Нельзя у других списывать, ты сам знаешь.

— Не твое дело.

— Нет, мое дело. Еще раз спишешь — пойду учителю пожалуюсь.

— Иди жалуйся, мне-то что.

— И пожалуюсь.

— Жалуйся, жалуйся.

Имелик сбросил попавшие на каннель конфеты, вытряс одну из них, застрявшую внутри, тронул несколько раз струны и снова тихо заиграл. Арно покраснел еще сильнее: злоба против Имелика, которую он долго в себе подавлял, все больше и больше овладевала им. Сейчас его особенно раздражало то непостижимое спокойствие, с каким Имелик встретил его угрозы.

— А тогда тебя выгонят отсюда,— начал он снова дрожащим от волнения голосом, в котором уже ясно слышались слезы. Это был его последний козырь, им только он и мог испугать Имелика; а если и это не

поможет, то... Что он мог еще сделать? Уже и то получилось скверно, что конфеты, которыми его угостили, он бросил Имелику в лицо и пригрозил на него пожаловаться.

— Ну и что ж, выгонят — так выгонят,— ответил Имелик.— Не твоя забота. Раз уж ты пойдешь жаловаться, то чем мне будет хуже, тем для тебя лучше. Но я не думаю, чтобы меня за это выгнали; кроме меня, то же самое делают и другие ребята, и учитель прекрасно знает, что на уроках списывают. Так всегда было, так и будет. Неужто все начнут сами задачи решать — этого еще не бывало. Не все же такие умники, как ты, чтобы самим все уроки делать. А выгонят меня — пусть выгоняют, что ж, я уйду. Но из-за одного этого еще...

Он махнул рукой и усмехнулся. Ну, выгонят — и пускай. Что тут особенного: школ на свете мало, что ли? Вот он и сейчас уже в третьей школе учится — и что за беда? Как-нибудь да обойдется. О, Яан Имелик всюду пробьется, главное — никогда не унывать. Уйдет, возьмет с собой свой каннель и Тиукса и заживет себе по-прежнему. Не везде же есть такие плохие ребята, которые из зависти или кто их знает из-за чего идут ябедничать. Да из-за списывания не так-то часто и жалуются; чаще — если кого-нибудь поколотят, книгу изорвут, или что-нибудь пропадет, или...

И что на него нашло, на этого Тали, почему он вдруг обозлился? Раньше о нем такого и подумать нельзя было, о нем все очень хорошо отзывались. В школе ходил слух, будто осенью он крепко заступился за Тыниссона и за звонаря Libле или что-то в этом роде; во всяком случае, оказал им большую услугу — только благодаря ему звонарь остался на своей должности, а Тыниссона не исключили из школы.

— Ну, хорошо,— сказал Имелик, кладя руки на каннель и без всякой враждебности глядя на Арно,— раз уж на то пошло, иди и скажи, что я списываю у Куслапа, только смотри, чтобы тебе самому хуже не стало: видишь, как все смеются и издеваются над

Кийром за его ябедничанье. Так и с тобой может случиться.

Он склонился вместе с каниелем в сторону Арио и, заглядывая ему прямо в глаза своими голубыми глазами, спросил:

— Скажи, что я тебе плохого сделал, почему ты так злишься?

— Ничего ты мне не сделал,— пробормотал, опуская глаза, Арио и потом тихо, почти шепотом, добавил: — А списывать не смей!

— Почему? Почему именно мне нельзя, а другим можно?

— Не смей.

— А если я все-таки буду списывать?

— Тогда...

— Тогда пожалуешься?

— Да.

Имелик улыбнулся.

— Раньше ты на кого-нибудь жаловался?

— Жаловался.

Имелик смерил Арио с головы до ног вопросительным взглядом и снова улыбнулся. Врет! Ни на кого он не ходил жаловаться, да и не пойдет никогда. Просто мальчишка сегодня не в духе и ищет ссоры с первым попавшимся; так он и с Тиуксом поссорился. Он, Имелик, был прав, думая, что Тали дома чем-то рассердили. К тому же ябедника сразу можно узнать, а Тали совсем не похож на ябедника. Он просто сегодня не в духе, и больше ничего. Только сейчас Имелик это понял, а раньше чуть было и сам на него не обозлился. И, отложив в сторону каниель, он подобрал с полу конфеты, тронул Арио за плечо и смеясь сказал:

— Тали, Тали, ты же совсем не такой злой, притворяешься просто. Сначала я не понял, думал — ты такой и есть. А сейчас вижу, что... ох!.. Давайте все помиримся и... гляди-ка, Куслап тоже вылезает из своего угла, точно рак из норки после захода солнца. Тиукс уже не такой надутый, как ты. Ну, давай руку!

Имелик почти насильно схватил руку Арио в свои ладони и крепко потряс ее — он был явно доволен, что все хорошо обошлось.

— И он еще ябедничать собирается, а? — сказал он, весь сияя.— Ох ты, лягушонок! Да нет, нет, не обижайся — ты добрая лягушка, не злая, а добрая маленькая лягушка. Вот ты кто! Правда?

Он обнял его, крепко стиснул и, приподняв на руках, закружился с ним среди кроватей, насколько позволяли узкие проходы между ними.

Арно был совсем обезоружен. Вначале его ошеломило спокойствие Имелика, теперь его покорили ласковые слова. Ему стало даже неловко, что он был так несправедлив к Имелику и что тот сейчас обращается с ним, как с маленьким ребенком. Единственное, что его утешало,— это сознание, что Имелик все же прав: несмотря на все угрозы, Арно никогда не пошел бы на него жаловаться.

Из передней донеслись голоса, дверь распахнулась, и на пороге спальни показался Тыниссон. Он произнес только «о-о!» — и снова исчез. Когда через несколько мгновений он опять появился, в одной руке у него был кусок пирога с капустой, а в другой узелок, который он сейчас же бросил на свою кровать.

— Ну, тыукреские уже здесь,— сказал он.— Хоть и из дальних мест, а прибыли первые.

— Самым дальним и нужно раньше всех приезжать, а то возчику придется поздно домой возвращаться,— отозвался Имелик.

— Ну да,— согласился Тыниссон и уселся рядом с Имеликом, который к этому времени уже прекратил свою дикую пляску с Арно и сидел на краю постели, держа на коленях каннель. Арно писал что-то на доске, время от времени исподлобья поглядывая на Куслапа,— тот уже пододвинулся к окну и, морща лицо, смотрел на улицу.

— Ну и аппетитик у тебя,— заметил Имелик, тихо поглаживая струны.— Только что из дому, а уже опять жуешь.

— Я же только в обед поел, после того ни крошки в рот не брал, а времени-то сколько прошло,— растягивая слова, сказал Тыниссон.— С едой плохо: ешь тут всю неделю всухомятку — нестоящее это дело. Кабы можно было здесь суп варить, тогда бы еще ничего. Весной надо будет каждый день домой ходить,

все-таки это самое лучшее. Я и сейчас ходил бы, да иной раз дорогу заметет, побарахтаешься немало, пока доберешься.

— А может, мы и здесь суп можем варить. Купим завтра котелочек или кастрюлю да и начнем. Когда я в министерской школе был, мы там часто суп варили с изюмом.

— Суп с изюмом? Это что такое?

— А чего там? Вскипяти молоко, брось туда изюму, повари еще чуточку — и готово. Здорово вкусно.

— Соли тоже кладут?

— Да ну тебя, кто же это в суп с изюмом соль станет класть? Тогда и в кофе и в чай надо соль сыпать.

— Ну, кофе и чай — это совсем другое дело. А все же этот суп с изюмом — одна жижица, ею не наешься. Я такого не хочу, мне самое лучшее, если вот... настоящий суп с картошкой или щи. Положи туда соли как следует и ешь сколько влезет — тогда знаешь, по крайней мере, что сыт. Да и где там, изюм ведь дорого стоит, кто его может купить.

С этими словами Тыниссон отправил в рот последний кусок пирога, вытер подбородок, всегда у него лоснившийся во время еды, и некоторое время сидел молча, не двигаясь. Затем он взял доску Куслапа, осмотрел сначала рамку и обломанный уголок на ней и, наконец, пришел к выводу, что написанные на ней цифры представляют собой не что иное, как заданную на завтра задачу. После краткого обозрения ее он принес из классной свою доску и стал списывать задачу.

Имелик расхохотался.

— Смотри,— сказал он Тали, указывая на Тыниссона.— Смотри, что тут делается. А ты еще со мной ругаешься.

— Ему можно,— ответил Арно, все еще стараясь казаться сердитым,— он иногда и сам решает. А ты никогда. Кроме того, эту задачу могут списывать все, кто хочет,— ее все равно никому не решить, хоть умри.

Тыниссон поднял голову и с таким невинным видом посмотрел на окружающих, словно то, что он сей-

час делал, было вполне естественным и само собой разумеющимся. И спустя несколько минут, решив, повидимому, что речь идет совсем не о нем и на него никто и внимания не обращает, он опять принялся спокойно списывать. Наступила тишина, которую тихий звон каннеля делал еще более торжественной.

Вдруг из классной комнаты донесся чей-то страшный голос. Кто-то орал во всю глотку:

— Видрик, Видрик, где ты?

Кто там кричал и что было дальше — все это мое скромное перо попытается описать в следующей картинке.

XIII

Из классной комнаты донесся чей-то крик: «Видрик, Видрик, где ты?»

Ребята испуганно переглянулись. Голос показался им одновременно и чужим, и очень знакомым. Имелик положил каннель и уже встал, собираясь пойти заглянуть в классную, но в это время в дверях показался и сам крикун. Это был не кто иной, как их товарищ Йоозеп Тоотс.

— Тоотс, черт! — воскликнул Имелик.— Какого такого Видрика ты ищешь?

— Какого Видрика я ищу? — ответил Тоотс и, пошатываясь, подошел ближе.— Я сегодня пьян в стельку и мокрый, как ряпушка. Черт возьми, ребята, знаете, я сегодня в Киусна так шлепнулся в речку — бултых!

Тоотс поднял ногу и хлопнул себя по мокрой штанине. Он действительно промок и, видимо, на своем коротком пути из Киусна в Паунвере и еще кое-что пережил.

— А что тебе там в речке надо было и где ты так нализался? — полюбопытствовал Имелик.

— Слушай ты его брехню! — сказал Тыниссон, бросая на Тоотса презрительный взгляд.

Но тот и внимания на него не обратил; ухватив Имелика за пуговицу куртки, он продолжал пьяным голосом:

— Ну да, в речку, чудак! Да что я... да разве я нарочно туда полез! Свалился, ну и давай скорее выбираться. А ты думаешь, я купаться, что ли, туда пошел. Не такой уж я дурак. Пьян я, это да, и сейчас пьян, но не топиться же мне из-за этого.

При этом Тоотс качался, делая вид, что вот-вот упадет, плевал куда попало и поглаживал свои несуществующие усы. Тараторя без удержу, так что слюна

брызгала Имелику в лицо, он стал рассказывать историю своего падения в речку.

— Возвращаюсь это я, значит, с пирушки у Кийров, пьяный вдрызг, и думаю, где бы, черт побери, курева достать. Смотрю, а впереди в канаве мужик какой-то идет и курит.

— В канаве?

— В канаве, в канаве, да, да. Черт возьми, Имелик, я же тебе врать не буду. У тебя самого голова на плечах. Иду я это и смотрю — по канаве мужик топает.

— И курит?

— И курит, да! Ну, думаю, может он и мне закурить даст, надо бы его догнать и спросить. Догоняю — а это, оказывается, Либле, сатана. Здороваюсь с ним честь честью, бог на помощь, говорю, и все такое... Спрашиваю, чего это он по канаве бредет, на дороге места не хватило, что ли. А он мне: «Место-то есть,— говорит, а сам пьяный, как и я.— Почему же месту не быть, место везде найдется, а только по канавам ходить уж больно хорошо. Держись себе за край канавы да и ходи молодцом, и бояться тебе нечего, что упадешь, и вообще».— «Верно,— говорю я ему и тоже залезаю в канаву.— Оба мы пьяные — давай пойдем вместе!»

— И вместе пошли по канаве?

— Ну ясно, по канаве. Ох, и хорошо по канаве идти, если б ты знал. Впереди Либле, будто огромный броненосец, черт, а сзади я, этаким крошечным миноносцем. Прошу папироску, Либле дает, да еще и огня, прикурить. Здорово толковый мужик этот Либле! Ну, идем мы, значит, и идем все дальше, к Паунвере, вдруг — трах! — и Либле пропал!

— Что ты мелешь? Куда ж он девался?

Рассказ Тоотса становился все занимательнее. Тали и Тыниссон тоже прислушивались, грызя свои грифели. Даже Куслап отошел от окна, присел на кровать поодаль от других и уставился Тоотсу на ноги.

— Куда девался! В том-то и дело, куда он девался,—продолжал рассказчик.—Разом — трах! — и пропал. Был человек, и нет человека. Ищи свищи!

— Ну трах-трах — это ты уже говорил, но куда же он пропал? Не мог же он совсем исчезнуть? Потом он все-таки появился?

— Вот чудак, конечно, появился. Отчего ему не появиться, если я за ним два раза под лед нырял.

— Под лед? Как так — под лед?

— Ну да, под лед! Ты что, не знаешь, что такое лед?

— Постой, постой, вы ведь были в канаве — как же вы подо льдом очутились?

— Тоотс врет,— сказал Тыниссон и снова принялся писать.

— Тоотс врет! Как бы не так! А когда он тебе врал? Ты дай мне сначала рассказать, а потом и говори. А если не веришь, спроси у Библе.

Замечание Тыниссона обозлило Тоотса, он даже обиженно надул губы, но это ничуть не помешало ему продолжать свой рассказ.

— В канаве, да, в канаве-то мы были, это правда,— пояснил он и нечаянно сплюнул Тыниссону на сапог.— Почему же нам не быть в канаве, никто и не скрывает, что мы были в канаве, да только...

— Садись спокойно на кровать, не топчись тут и не плюйся людям на ноги. Ты совсем не так уж пьян, просто притворяешься,— сердито проворчал Тыниссон, соскребывая плевок подошвой другого сапога.

— Ого-го! А ты попробовал бы столько вина выпить, как я сегодня, тогда бы... Мы с Кийром вылакали целых две двухрублевых бутылки, а ты что думаешь! Чудак, да если б ты столько вина выпил, ты бы давно окочурился. А я, вот видишь, жив. А что качаюсь, так ничего удивительного, другой бы на моем месте давно на полу растянулся, да там и остался бы.

— Ну, если вы с Кийром пили, то Кийр сейчас уже, наверно, помер? — насмешливо заметил Тыниссон и усмехнулся собственной шутке.

— Вот чудак, а чего ему помирать? — возразил Тоотс.— А впрочем, кто его знает, может, и помер; я когда уходил, он за домом лежал. Правда, дышал еще, но что с ним сейчас, не знаю. Может, и помер.

— Где это он за домом лежит?

— Да у них за домом. У них сегодня крестины. Может, он уже сейчас и помер: когда я собирался уходить, так... так у него изо рта уже кровавая пена повалила. Да!

— Ну, уж это ты врешь! — крикнул вдруг Имелик.— У тебя любая вещь кровавую пену испускает: вчера ты говорил, что кость ее испускала, сегодня Кийр, а завтра у тебя из кольев на заборе кровавая пена побежит. А Кийр не барахтался и не вопил «умблуу, умблуу»? [1]

— «Умблуу, умблуу!» — передразнил его Тоотс.— Кийр же не кость мертвеца, чтобы «умблуу» кричать. И что ты за чудак такой! Что, я тебе врать стану? У тебя самого голова на плечах.

— Ну, ладно, пусть будет так, но куда же девался Либле? Трах! — был и исчез, а дальше? — Ах да, ты еще несколько раз под лед нырял, вытаскивал его. Но объясни ты мне, как это вы оба под лед угодили и что это за лед? Вы ведь были в канаве.

— Ну да, в канаве, но мы же не стояли на месте. Мы шли вперед. Пьяные, не понимали, где мы и что делаем. Только когда Либле в воду бахнулся, огляделся я и вижу — мы около Киуснаского моста. Ну, так вот. А под мостом река уже вскрылась. Либле — бултых в воду!

— И ты за ним туда же, под лед?

— Ну да, чудак! Не мог же я его бросить. Сначала я, правда, подумал — а ну его к черту... А потом все же вытащил. Раза два лазил, но вытащил. Речка под мостом страшно глубокая, сатана. Дна будто и вовсе нету.

— Вот чудеса — как же ты сам сухой остался, если два раза под лед лазил? Одна только штанина у тебя мокрая, остальное все сухое.

Имелик ощупал одежду Тоотса — кроме штанины, все было сухое.

— Чудак, долго ли я под водой торчал! Раз — туда! Раз — и обратно... Да и моя одежда не так-то

[1] По старинному поверью, кость мертвеца, погибшего в результате несчастного случая, завывает на месте своей гибели, испуская при этом кровавую пену. *(Прим. пер.)*

легко промокает, ты не думай. Это такая плотная матерня, что... Да ты не смейся, я тебе врать не стану. Можешь у Библе спросить, еслн хочешь.

Рассказчик, войдя в азарт, совсем забыл, что он пьян, и довольно спокойно стоял на месте. Ногн у него, вндно, не подкашнвалнсь — он уже не качался из стороны в сторону.

— Плотная матерня, плотная материя,— продолжал свой допрос Имелнк,— а отчего же тогда штанна промокла?

— Штанна? Штанина есть штаннна. Штаннна, наверно, больше протерлась. Чудак, ты разве не знаешь, что потертая материя скорее промокает, чем целая. Она же как сетка.

— Гм... Может, н так. Но ты, когда начал рассказывать, говорил, что упал в реку. А о том, что под лед лазил, и речн не было.

— Ну да, я сначала и не думал об этом рассказывать, а то еще болтать начнете, дойдет до кнстера, тот ругать станет. Юрн-Коротышка — это же такой сумасшедший, чуть что — сразу орет. Я н то боюсь, как бы он за меня не взялся... Он тоже на крестннах был и... Я там граммофон завел... Да, да.

— Ну и что же с того, что ты граммофон завел?

— Да, но как раз, когда там крестнли. А откуда мне было знать, что он, нечистая снла, так завопнт. Да еще как! Сначала замекал, как овца, а потом как затянет: «На высо-о-окнй холм взойдн-и-те!» Ну, как выскочнт тут старый Кнйр, точно разъяренный бизон, да кулаком на меня как замахнется. Я и давай бог ногн.

— Ха-ха-ха! Слышнте, ребята, Тоотс во время крестнн граммофон завел. Что вы на это скажете? Ну, за это тебе, голубчик, от кнстера достанется, будь покоен.

— Чудак, да я же по-настоящему н заводнть его не хотел, так просто поставнл, а он, черт его знает, сразу и понес.

— Сразу н понес — ха-ха-ха! Уж завтра мы у Кнйра все узнаем, как там на самом деле было. А кто у ннх — мальчнк илн девочка?

— Мальчишка, гад.

— Как его назвали?

— Колумбусом.

— Колумбусом?

— Нет, нет, не Колумбусом. Сначала хотели назвать Колумбусом, а потом раздумали. Черт его знает, как это они его назвали? А, вспомнил — Пес!

— Пес? Ребенка назвали Пес?

— Да, так оно и есть... Не то Пес, не то Песси... или Пессу... Да я и сам не знаю.

— Как бы там ни было, только не Пес.

— Ну, значит, не Пес. Значит, какое-то другое имя. Но что-то вроде этого. Кто их разберет, там даже как будто их целых две штуки было, ребят этих. Один, может, Колумбус, а другой Пес... или же... или... не знаю, не знаю. А может, был всего один... только Пес этот или как его там...

— А он...— начал Имелик, но тут же громко расхохотался.— А он кровавую пену не испускал?

— Кто?

В ответ ему рассмеялся не только один Имелик — расхохотались все мальчишки. Тоотс понял, что над ним издеваются. Он помрачнел и отошел в сторону, глухо пробормотав:

— Сам ты кровавую пену испускаешь.

Через несколько минут, когда смех улегся, Имелик сказал:

— Глядите, Тоотс совсем протрезвился. Когда пришел, был под хмельком, а сейчас ему впору хоть по канату ходить. Ясное дело: такая приятная беседа всегда освежает голову.

Но не успел Имелик закончить свою фразу, как Тоотс стал шататься еще сильнее, чем раньше. При этом он отчаянно плевался, таращил глаза и болтал что-то несусветное. Теперь ему никто не страшен, пусть хоть со всего света кистеры соберутся, тогда он им и выложит, что... И вообще, какое ему дело до всей этой заварухи, все равно он скоро уедет в Россию управлять имением, запряжет пару лошадей и укатит, погрозив Паунвере кулаком. А если кто посмеет сейчас к нему приблизиться и что-нибудь сказать, так он уж не растеряется и... А Имелик, если ему угодно, пусть свяжет свои длинные ноги узлом,

чтоб не совал нос куда не следует. А что кость мертвеца вопит «умблуу, умблуу» и кровь... все это он видел своими собственными глазами, а дураки могут смеяться сколько хотят, все это ни капли не меняет дела.

Много еще подобных мыслей было высказано Тоотсом, и, вероятно, он бы высказал их еще больше, но в эту минуту распахнулась дверь кистерского кабинета и чьи-то грузные шаги направились к спальне. Это сразу прервало поток его красноречия.

— Идет, гад,— тихо проговорил Тоотс, странно горбясь, и взглянул на ребят, словно ища совета. Имелик повернулся на каблуках и, прыснув со смеху, спрятал лицо в носовой платок. Если это кистер, то он явился как раз вовремя! Ведь Тоотс имел сейчас полную возможность доказать, что он вообще никого не боится и, в частности, всех кистеров со всего света, вместе взятых.

У Тоотса подкосились ноги; в последнюю минуту он чуть было не полез под кровать, но было уже поздно — кистер стоял в дверях спальной.

Мальчики поздоровались.

Кистер ответил на их приветствие и осмотрелся по сторонам; потом направился прямо к Тоотсу, схватил его за лацканы пиджака и, глядя ему в глаза, начал громко и размеренно:

— Тебя, Тоотс, всевышний создал в гневе своем в наказание людям за их грехи. Точно так же, как посылает он на землю неурожай, град и ливень, так и тебя он создал, как устрашающий для всего мира пример того, как низко может пасть человеческое существо, когда оно перестает заботиться о душе своей. Так карает нас господь за грехи наши, показывая кого-либо из нам подобных, дабы мы знали, что корень всех бед и несчастий в нас самих. Если бы мы стали подсчитывать все твои проделки за последние месяцы, то солнце в небе закатилось бы раньше, чем мы успели бы составить список всех твоих проказ. Скажи, что мне с тобой делать?

Глаза у Тоотса ввалились и горели, как угли.

Тали, Тыниссон и Куслап стояли серьезные, боясь даже кашлянуть. А Имелик еле сдерживал смех и

раза два чуть не фыркнул, глядя на жалкую фигуру Тоотса. Куда девался теперь великий и всесильный управляющий имением, только что запрягавший пару лошадей и грозивший Паунвере кулаком?

— Отвечай же, что мне с тобой делать? — повторил кистер.— Подумай только, что ты сегодня натворил: ты заводишь музыку во время обряда крещения и нарушаешь священнодействие. Ты же знаешь, что такое крещение? Или ты этого еще не знаешь? Нет, ты все знаешь и отлично понимаешь, что есть добро и что есть зло, но ты не желаешь бросить свою богопротивную жизнь и жить так, как тебя изо дня в день поучают. Что мне с тобой делать? Ага, ты молчишь, ты не знаешь, как ответить на мой вопрос. Даа... я и сам не знаю, что ответить на этот вопрос. Но я подумаю и постараюсь принять решение. Завтра я сообщу его тебе.

Он отпустил Тоотса и подошел к другим ребятам.

— Ну, а вы...— сказал он.— Вы тоже уже здесь. Ты, Имелик, конечно, больше занят игрой на каннеле, чем уроками, и только и ждешь, как бы скорее денек прошел. Тыниссон... Ага, решай, решай задачу... И Тали? Пришел товарищей навестить? Ну, навещай, навещай. Ты, Куслап, возьмись за книгу и учись; ты же знаешь, что у тебя с русским языком не ладится.

— Конечно,— добавил он,— на досуге можно и побеседовать, даже на каннеле побренчать, во всяком случае это более полезное времяпрепровождение, чем у Тоотса,— у того в мыслях одно только озорство,— но никогда не следует забывать: всему свое время.

Едва за кистером захлопнулась дверь, Тоотс с шумом выскочил из угла и, размахивая руками, заявил:

— Ох ты, черт, и кто мог подумать, что он сюда явится! Я бы лучше удрал. Да что там, игра на граммофоне — это еще полбеды, вот если б он знал, что мы с Кийром бутылку вина стянули, перебили несколько мисок со студнем и напились в дым,— что бы он тогда сказал! Но, черт побери, из всей его проповеди я ничего не запомнил, кроме одного — что я не забочусь о своей душе. Но скажи мне, Имелик, как мне о душе заботиться? И где вообще она, душа эта? Как о душе заботятся?

— Привяжи ее ниточкой себе на шею.

XIV

Как видно, мне выпало на долю писать больше о людских неудачах, чем об успехах. Да и что такое вся жизнь, как не бесконечная цепь неудач, и разве каждый день не является лишь звеном в этой цепи? Счастлив тот, кто не дает себя заковать в эту цепь.

Одним из таких звеньев был день, последовавший за происшествиями, описанными в предыдущей картине.

Сам по себе понедельник этот начался совсем не так уж скверно, но затем события стали развиваться с такой мрачной последовательностью, что невольно мог возникнуть вопрос: кому же в этот день было доверено распоряжаться судьбами людей?

Совсем не плохо было, например, то, что Тоотсу удалось так легко отделаться от кистера; идя утром в школу, Тоотс опасался худшего. Но случилось так, что кистеру во время перемены удалось выгодно продать свою свинью, и, по-видимому, сделка эта обрадовала его и ублажила его сердце. Во всяком случае, Тоотсу это оказалось на руку, и его мрачным предчувствиям был, как говорится, переломлен хребет.

Перед уроком арифметики Тоотс нигде не мог найти свою грифельную доску, несмотря на все поиски и расспросы. Но и в этом особой беды не было: когда он, наконец, обнаружил в спальне свою доску и присмотрелся к ней, то увидел, что какой-то добрый человек написал на ней решение сегодняшней задачи. Как потом выяснилось, сделал это Тали — он вчера взял из классной наугад одну из досок.

Тоотс ничего против не имел: пожалуйста, пусть берут его доску. Пусть берут ее и в другой раз, если нужно. Короче говоря, пусть берут его доску всегда.

Но этим и ограничились светлые стороны сегодняшнего дня. А плохое началось так.

После урока арифметики Тоотс с четырьмя или пятью товарищами вышел во двор и начал учить их считать от единицы до десяти: раста, дваста, каукариста, кягуреру, ариспатса, икерурите, кугеуру, кагеуру, кяоруру, кеэру. Сам он шел впереди, а рядом и следом за ним тянулись его верные последователи, едва слышно бормоча таинственные слова.

Кугеуру, кагеуру, икерурите... Как только более смышленые ребята справились с этой задачей, мастер сразу же задал им новую:

— Кивирюнта-пунта — энта — паравянта — васвилинги — суски — товаара — асс — сарапилли — ясси карлитери — юнни -- айкукури — лейонни.

Это был крепкий орешек. Выпучив глаза, мальчишки старались зазубрить чудодейственные слова, но те никак не запоминались.

— Что значат эти слова? — спросил кто-то из ребят.

— Га-а,— ответил Тоотс, взглянув на него через плечо.— Попробуй сказать их в ночь под Новый год, ровно в двенадцать часов, тогда и увидишь, что они означают.

— А что ж они все-таки значат?

— Что значат, что значат... Во всяком случае, что-то да значат, не напрасно же я их наизусть заучивал.

— Ну, а что?

— Если скажешь их в новогоднюю ночь, сразу кто-то и появится.

— Кто?

— Появится... такой вот... с копытцами... Наш батрак один раз их сказал. Пошел в баню один и сказал.

— Ну?

— Что — ну? Тот и появился.

— А какой он из себя?

— Какой?.. Волосатый. Весь в шерсти, как баран. И черный. Сначала закудахтал в углу, как курица: ко-о-ко-ко... Батрак подумал: черт знает, откуда здесь курица взялась? А тот как шагнет из угла, у батрака и дух захватило.

— Почему?

— Почему?.. Ну, с испугу. Он из бани бегом и — домой! Обернулся назад и видит: тот, волосатый, стоит в дверях бани, а у самого глаза горят как угли. А вы, дурачье, что думаете — шутка это, что ли, если такой появится? Но я... в следующий раз сам пойду... посмотрю.

— Пойдешь?

— Пойду, ну да, пойду. А вы, дурачье, думаете — испугаюсь? Ну конечно, с голыми руками не пойду, не такой уж я болван, захвачу свой громобой, тогда и пойду. Оо, я еще заряжу его серебряной пулей, пусть тогда сунется. Как бацну... он у меня сразу так и кувырнется, пусть тогда попробует: ко-о-ко-ко...

— А разве нужно непременно одному идти?

— Вот чудак, конечно, одному! Как же ты вдвоем пойдешь.

— А что он сделает, если вдвоем пойти?

— Если вдвоем... Ну, может, через щелочку в стене подсматривать будет, а вылезти побоится.

— А батрак его, значит, видел?

— Ну да. После несколько дней болел. И бывало, чуть стемнеет, так он — хоть убей его, а к бане ни на шаг.

— Что-то больно уж много несчастий всяких с этим вашим батраком случается,— заметил один из наиболее недоверчивых слушателей.— Осенью ты говорил, будто змея ему вокруг шеи обвилась, а теперь он у тебя с чертями возится... Что это за человек такой у вас?

— Да так, один мужичок из Мыркна.

Когда прозвенел звонок и все упомянутые нами лица уже собрались идти в класс, перед ними вдруг словно из-под земли выросла фигура кистера. Ребята струсили.

— А ну, говорите, чему это вас Тоотс опять учил? — рявкнул кистер.— Наверно, опять какая-нибудь дурацкая песня или ругательства!

— Ничего, ничего такого не было,— попытался возразить Тоотс.

— Молчать! — крикнул кистер, так сильно топнув ногой о пол коридора, что у Тоотса душа ушла в

пятки, а оттуда через рваные задники чуть было совсем не удрала от своего хозяина.

— Сымер, говори ты!

— Раста, дваста, кяорурукеру, икереуруритс,— пролепетал перепуганный Сымер.

— Молчать! Это что за вздор?

— Не знаю, Тоотс так говорил.

— Ну да, а ты только и знаешь, что наизусть заучивать. Ты, оболтус, лучше бы песнопения учил и библейские истории. Их ты никогда не знаешь. А ты,— кистер повернулся к Тоотсу,— если сегодня еще хоть раз покажешься мне на глаза, то берегись! Встреча наша будет неприятной, постарайся ее избежать. Помни — ты и так в школе держишься, точно на лезвии ножа. Еще одна такая выходка, как вчера, и ты вылетишь отсюда на веки вечные. Марш в класс!

Тоотс не заставил себе дважды повторять эти слова.

Происшествие это, однако, ничуть не помешало ему на следующей перемене организовать новый заговор. Сопровождаемый несколькими ребятами постарше, он появился во дворе и немедля занялся весьма важным делом.

Возле забора лежали опрокинутые дровни кистера. Они были вынесены со двора, и все три «Черных капитана» — такое наименование Тоотс успел уже присвоить себе и своим единомышленникам — уселись в сани и со страшной скоростью понеслись вниз со школьной горки. Остановились сани лишь на другом берегу реки, на поле хутора Кооли. Только теперь, оглянувшись, наши пассажиры заметили, какой длинный путь они проехали. И всем это очень понравилось. Сани снова втащили на гору, и смелые путешественники с гиканьем помчались вниз; чудесная поездка приводила их в восторг.

Но их уже подстерегала неудача. Сначала из школы вышел один мальчуган, за ним второй, третий... Четвертый позвал пятого, пятый побежал и крикнул на весь класс, чтобы все шли смотреть, как поезд мчится с горы. И вскоре мальчишки заполнили весь школьный двор.

Ребята, скользившие на санях с горки, как раз вернулись из третьего рейса и собирались своей компанией совершить и четвертый, но тут явились непрошеные гости; на санях вмиг выросла целая живая груда мальчишек.

В самом низу под этой грудой хрипел Тоотс; он кричал, что если ребята сейчас же не слезут, то нога у него сломается, как кнутовище. Никто, конечно, не обратил на это внимания, никому и в голову не пришло слезать; только Имелик насмешливо спросил:

— А как у тебя нога сломается — вдоль или поперек?

Сразу же после этого кто-то подтолкнул сани, и они понеслись вниз.

Маленький Леста — он один только остался на горке и наблюдал эту поездку — потом описывал ее так:

— Ох ты господи! Кезамаа только толкнул сани — а они как понесутся — вж-ж-жик! Сначала как будто подпрыгивали, а как у реки очутились, чуть повернули да прямо об дерево — трах! Полозья поломались — аж треск пошел, а ребята кричать начали, ужас как, а у речки ребят было на земле прямо как травы на покосе, один головой вниз торчит в снегу, другой по реке на четвереньках ползает, а сам все: «ай, ай» да «ай, ай»! Я сначала подумал, что теперь они все помрут, и испугался, а кистер как пришел, они все сразу ожили и побежали наверх. А я в класс пошел и сказал Тали — ох ты господи, ну и зададут им теперь трепку!

И им действительно задали трепку. И не только кистер — многих покарала сама судьба.

У Имелика из носу текла кровь, словно вино из бочки, как он сам говорил. У Кезамаа над бровью вскочила огромная синяя шишка, у Тоомингаса было ободрано колено, а Тоотс охал, что он сейчас умрет. У него была немного оцарапана нога около щиколотки.

Кистер же долго стоял в раздумье у реки, а потом стал бродить вокруг своих поломанных саней, как привидение среди развалин замка.

XV

Во время урока, последовавшего за «поездкой по железной дороге», в школу явился Кийр. Он был бледен и, видимо, перенес немало мучений. Походка у него стала какой-то потешной, кособокой, точно у собаки. Тоотс многое дал бы за то, чтобы сейчас же с ним поговорить. После такого насыщенного приключениями дня, как вчерашний, ему надо было столько рассказать Кийру, да и самому его расспросить, что он никак не мог дождаться конца урока. Нарисовав на клочке бумаги бутылку, он надписал на ней «Лати патс», кинул записку под самый нос Кийру и стал следить, какая мина будет у Кийра, когда тот увидит его послание. Кийр, взглянув на записочку, сделал кислое лицо, зевнул и начал как-то странно фыркать, словно объевшаяся кошка.

— Позвольте... позвольте выйти,— сказал он и, не дожидаясь ответа учителя, выскочил в коридор. Тоотс хихикнул и нетерпеливо заерзал на месте, словно сидел на горячих углях. Вот бы... вот бы тоже как-нибудь выбраться из класса!

— Разрешите выйти!

— Пожалуйста, иди! — послышался совсем неожиданный для него ответ учителя. Весь класс засмеялся, а Тоотс уже в дверях обернулся: чему, собственно, они смеются.

— У Тоотса сегодня опять девять занятий, а десятым, наверно, будет то, что ему придется после уроков остаться,— сказал учитель.— Скверно, когда человек хочет быть таким разносторонним: он берется за много дел сразу и все делает плохо. Я не думаю, чтобы ему принесло удачу то, что он сейчас вышел из класса, но как ты запретишь человеку, раз он так серьезно просит? А если бы я и запретил, мысли его все равно блуждали бы где-то далеко и он едва ли даже замечал бы, что мы здесь делаем. Вот если бы

мы по географии дошли уже до Америки, тогда, пожалуй, можно бы еще надеяться, что это его заинтересует,— там ведь и живут все эти знаменитые Кентукские Львы и краснокожие; но, к сожалению, мы с вами дошли еще только до России. А что ему за дело до России!

— О-о, он же как раз вчера говорил, что поедет в Россию и станет там управляющим имением,— сказал Имелик.

— Ну да, видно, уже наскучило быть вожаком краснокожих. Ему хочется разнообразия. Мы же с вами на первых порах удовольствуемся тем, что познакомимся немного с Россией, а там посмотрим, как будет с должностями управляющих.

Урок продолжался своим порядком, и никому даже в голову не приходило, что во дворе в это время происходит нечто необычное. Кийр и Тоотс что-то очень долго не возвращались в класс, но поди знай, почему.

Выйдя из класса, Тоотс буркнул про себя: «Смейтесь, смейтесь, дуракам только и дело, что смеяться»,— и отправился на поиски Кийра.

Но Кийр пропал вместе со всей своей рыжей шевелюрой, и Тоотс решил, что того уж очень скрутило и ему пришлось удрать домой. Вдруг со стороны бани церковной мызы послышались странные звуки, похожие на карканье.

«Подстреленная ворона! — подумал Тоотс.— Надо посмотреть, может, удастся поймать».

Он побежал на звук за угол бани и к своему величайшему удивлению обнаружил, что существо, каркающее, как подстреленная ворона,— не кто иной, как Кийр. Он кряхтел и пыхтел, упершись головой в угол дома, словно задался целью таким способом опрокинуть баню.

— Что с тобой? — спросил Тоотс.

— Тошнит,— ответил Кийр.

— Отчего тебя тошнит?

— Все вчерашнее... вчерашнее...

— Ах, вчерашнее вино? А как ты домой попал?

— Папа привел.

— Что он сказал?

— Грозился тебя убить.

— Меня? При чем тут я?

Тоотс был страшно поражен, что человек, которому он никогда не причинял зла, собирается его убить. Ну, если бы еще он, Тоотс, взял двухрублевую бутылку, тогда дело другое... А та, девяностопятикопеечная,— подумаешь, эка важность! Неужели и вправду жизнь его стоит всего каких-нибудь девяносто пять копеек да еще несколько мисок студня! Нет, если ему когда-нибудь доведется встретить старика Кийра, он ему прямо все выложит... Но сейчас пусть маленький Кийр поскорее убирается отсюда, здесь его может увидеть кистер, а чего доброго, и сам пастор. Пусть идет куда угодно, пусть, по крайней мере, куда-нибудь спрячется. Кому это нужно — смотреть, как человека тошнит. Потом еще разговоры пойдут, что вот, мол...

— Куда же идти?

— Идем в баню.

Верно! В бане лучше всего можно спрятаться. Как это глупо, что он, Тоотс, сразу не сообразил!

Кийр, пошатываясь и опираясь на Тоотса, побрел в баню.

— Жаль только, что баня не топлена,— сказал Тоотс,— а то забрался бы на полок, попотел бы чуточку и все бы как рукой сняло.

Но даже и сейчас Кийру лучше всего залезть на полок, там, во всяком случае, теплее, чем внизу; не мог же субботний пар за один вчерашний день весь улетучиться.

— Полезай на полок, полезай,— убеждал Тоотс Кийра.— Ложись — и увидишь, тебе сразу лучше станет. Да знаешь что: ты разденься, а я пойду принесу из предбанника хворосту и затоплю печь.

— На полок-то ладно,— ответил Кийр,— но раздеться... как же я здесь разденусь?

— Вот чудак, раздевайся, сразу отрезвеешь.

— Я же и так трезвый, тошнит только.

— А тогда и тошнить не будет! Раздевайся!

Тоотс отправился в предбанник, принес охапку хворосту и стал разводить огонь.

— Ну раздевайся же! Раздевайся! — продолжал он уговаривать Кийра, засовывая в печь хворост и в то же время искоса одним глазом следя за приятелем.— Скоро совсем тепло станет, ты попотеешь чуточку, потом окатишься холодиой водой и увидишь, как тебе будет хорошо. Я после выпивки всегда так делаю. Самое лучшее лекарство. Старик мой тоже говорит, что это лучшее лекарство. Ну, живо, раздевайся!

Ои иаложил полную печь хвороста и начал раздувать огоиь с таким рвеиием, словио работал кузнечными мехами. Но огонь сперва иикак не хотел разгораться, и наш истопиик решил было, что дело тут в сыром хворосте; ио когда из печки вдруг повалил чериый, густой, как смола, дым, Тоотс понял, в чем вся беда.

— Ох, черт, вьюшка-то закрыта! Потому дым сюда и валит. А я-то думаю, думаю...— закричал ои и полез иа скамью открывать вьюшку. Огоиь сразу запылал, послышалось потрескивание хвороста, и истопиик от удовольствия даже потер руки — дело явно шло иа лад.

Тем временем Кийр медлеино разделся и лег на полок.

— Ну, теплее стало? — крикиул через некоторое время Тоотс.

— Нет еще,— откликнулся Кийр, от холода лязгая зубами, как волк.

— Скоро, скоро будет тепло, успокаивал его Тоотс, подбрасывая в печь иовую охапку хворосту. Если действительно сейчас кто и потел, то это был сам истопиик.

— Скоро, скоро будет тепло,— успокаивал его сем красиая, а камии в ней прямо трещат — так раскалились.

Теперь можио и попробовать плесиуть водой на камеику — и сразу видио будет, как обстоит дело с паром. Хлюп! Шайка холодиой воды обливает холодиую камеику; вода журча растекается меж камней. Ну да, пока тепла еще нет, это правда, но скоро потеплеет. Скоро, скоро! Тогда Кийр увидит, как с иего хлыиет пот и здоровье сразу станет лучше. Вино —

это вообще штука упорная, как засядет в человеке, трудно ее выжить, но уж если начнет выходить — только держись! Пиво и водка — те гораздо легче потом выходят, но откуда же возьмешь пиво и водку, раз в теле вино сидит. Сейчас главное — спокойно лежать на полке и ждать, а уж он, Тоотс, все сделает и устроит честь честью. Если б он сам все это на себе не испытал, что Кийр мог бы подумать... Но — ох черт! — разве мало он сам попадал в такую беду!

Так лисица еще долго поджаривала жучка на углях давным-давно потухшего костра, а потом опять спросила:

— Ну, теперь теплее?

— Не-е-ет,— отозвался Кийр, весь дрожа.— Как будто даже холоднее становится.

— Что за чертовщина! За это время уже должно бы потеплеть. Ну и ты тоже чудак! Холоднее делаться никак не может, а потеплеет непременно, для этого нужно только немножко времени. К тому же ты сильно озяб да и вином с ног до головы полон, вот тебя тепло и не берет так скоро.

— Вина во мне, наверно, уже ни капли нет, и вообще после этой рвоты у меня внутри совсем пусто. Здесь холодно, поэтому и мне холодно. Ой, как холодно! Я лучше оденусь.

И Кийр собрался уже было одеваться, но Тоотс вовремя предупредил его, выхватил у него одежду и укоризненно сказал:

— Вот чудак! Сейчас, когда ты вот-вот уже начнешь потеть, одеваться вздумал. Дай-ка сюда одежду!

Он отнес одежду в предбанник, вернулся, пошуровал в топке и похлопал печку ладонью. Печь была теплая; чего он там, наверху, скулит, что ему холодно. Если он и сейчас не пропотеет, тогда сомнительно, умеет ли он вообще потеть.

— Не могу я здесь потеть, чего ты упрямишься,— ответил Кийр.— Я тут скорее к доске примерзну, чем потеть стану. Слышишь, как трещит? Это мой зад к доскам примерзает.

— Потей, потей! Это полезно для здоровья. Лучшее средство против тошноты.

На каменку выплеснули еще одну шайку воды. Позади в углу что-то тихо зашипело.

— Ну, разве я не говорил! Ага! Идет! — воскликнул Тоотс, бросая наверх торжествующий взгляд.— Идет тепло? Жарко?

— Нет, не идет.

— Но все-таки стало теплее, чем раньше?

— Нет.

Что такое! Куда же мог деваться этот жар. Целая вязанка хвороста уже на исходе, а все еще холодно. И что это за ледяная глыба там, наверху, ничто на нее не действует! Ну погоди же, он сам полезет, посмотрит.

— Ну как же ты говоришь, что холодно? Чего же ты еще хочешь? Тепла тут хватает. Еще одну шайку воды опрокину на каменку, тогда сможешь себя ополоснуть холодной водой.

С этими словами Тоотс обрушил на каменку третью шайку воды, а сам при этом согнулся в три погибели: сильный пар мог ударить ему в глаза.

— И теперь еще нет тепла?

— Теперь как будто есть.

— Ну, тогда быстро слезай и ополоснись холодной водой.

— Да что ты болтаешь, я и потеть-то еще не начал, чего же мне ополаскиваться. Смотри, какой я!

— Какой ты?

— Синий весь.

— Синий? Отчего же ты синий?

— От холода!

Синий, синий, синий... Тоотс, задумавшись, посмотрел в огонь. Разве этот уголек, что выпал сейчас из печки, не напоминает человеческую голову? Конечно же, он похож на человеческую голову. Глаза, нос, рот, уши — все есть. И такое знакомое лицо. Это же... это же... да это же Юри-Коротышка, скотина этакая! Ишь ты! Да, да, Юри-Коротышка ругал его сегодня в школе. Да и когда, собственно, он не ругается? А сейчас? Сейчас он тоже в школе. А ведь сейчас... ох ты, дьявол, синий, красный, черный или серый! Сейчас ведь урок географии! И он, Тоотс, вышел всего на несколько минут. А оказался здесь, в бане, и топит

печь. Ну тебя ко всем чертям, Кийр, вместе с твоей тошнотой!

Тоотс стрелой вылетел в предбанник, зачем-то сунул под мышку одежду Кийра и во весь дух бросился к школе. У дверей в классную он остановился и прислушался: все еще идет урок географии или уже начался новый? Нет, нового быть не могло: во время перемены крики ребят донеслись бы и в баню. Вероятно, продолжается тот же урок, что и тогда, когда он уходил из класса.

В классе стало вдруг шумно. Сомнений больше не было: урок географии только что кончился. Тоотс взглянул на сверток, торчавший у него под мышкой, и ужаснулся: одежда Кийра! Бог ты мой! Как она к нему попала?

Времени для размышления почти не оставалось, необходимо было мгновенно на что-то решиться, если он вообще хотел что-либо предпринять. И, словно его кто-то подтолкнул, Тоотс одним мощным прыжком очутился в кладовке и засунул одежду Кийра в первый попавшийся под руку мешок для провизии.

Едва он успел это сделать, как в кладовку вошли двое мальчуганов и с изумлением уставились на него.

— Ты черта когда-нибудь видел? — спросил один из них.

— Нет, не видал,— ответил другой.

— Тогда погляди! —снова сказал первый, указывая на Тоотса.

Тоотса с шумом вытащили из кладовки и повели в спальню, а там кто-то сунул ему под нос свое зеркальце. Лицо у Тоотса было так вымазано сажей, что нельзя было даже понять, покраснел он или нет.

XVI

Однако вернемся поскорее к Кийру, не то бедняга в этом ужасном пару может вместе с вином выпотеть и всю свою душонку.

Не успел Тоотс выскочить из бани, как Кийр принялся во весь голос звать его обратно. Видя, что это не помогает, Кийр слез с полка и направился в предбанник за одеждой. Но несмотря на самые тщательные поиски, из всей одежды он обнаружил только ботинки и шапку. Таким образом, налицо имелись покровы лишь для самой верхней и для самой нижней части его тела, среднюю же часть чья-то коварная рука заставила довольствоваться пиджаком и брюками праотца нашего Адама. Кийр надел шапку, натянул на ноги свои замечательные ботинки на пуговичках и, прикрывая себя, наподобие фигового листка, старым веником, выглянул за дверь. Во дворе было совсем тихо, не видать ни души. Медленно падали крупные хлопья снега, покрывая крыльцо бани бархатисто-мягким снежным ковром. Где-то вдали, должно быть, возле трактира, заржали лошади. Со стороны шерстобитни долетал шум падающей воды и однообразный стук машин: тук-тук-тук.

Но куда девалась его одежда? Не унес ли ее Тоотс? Кийр снова крикнул. Никто не отозвался. Этот бес мог взять одежду и спрятаться за углом бани; нужно пойти проверить. Рыжеволосый Кийр на цыпочках обошел вокруг бани, но убедился, что поблизости никого нет.

Вдруг со стороны школы донесся разноголосый шум, захлопали двери и, словно река в половодье, сносящая все запруды на своем пути, во двор с криком хлынули ребята. Кийр поспешил вернуться в баню и, присев на корточки перед топкой, прислушался.

Да, им хорошо кричать: все они одеты, только он один... Ему вдруг показалось, будто он долгие годы

живет вот так, голый, и кто знает, оденут ли его вообще когда-нибудь.

В печи потрескивал огонь, по стенам блуждали тени, с потолка падали тяжелые капли воды и в каменке что-то шипело. Время от времени со двора доносились шаги, потом звук их пропадал вдали. Кийру стало страшно. В углу за печью было так черно, словно там зиял вход в преисподнюю. Кийру почудилось, будто там кто-то шевелится. Он вскочил, собираясь бежать, звать на помощь, но в эту минуту во дворе, совсем близко, снова послышались шаги. Теперь к бане и в самом деле кто-то приближался; хрустел снег под ногами, доносились отдельные слова, как будто кто-то рассуждал сам с собой. Кийр в испуге отпрянул назад: а вдруг это кистер!

И через несколько мгновений, уже твердо уверенный, что это не кто иной, как кистер, Кийр быстро забрался в стоящую в углу пустую бочку. В баню кто-то вошел.

— Хм,— сказал вошедший, останавливаясь перед горящей печкой.— Двери настежь, печка топится, а никого не видать. Кто же тут затопил?

Кийр молча сидел в бочке и прислушивался.

По голосу сразу слышно, что это не кистер, но кто это — определить трудно. Во всяком случае, голос знакомый. Если уж Кийр решил на него посмотреть, то это следует сделать сейчас же, пока глаза незнакомца еще не свыклись с темнотой.

Кийр выглянул из бочки и сразу узнал в пришельце арендатора с церковной мызы — дело оборачивалось не так уж плохо. Боясь, что вошедший уйдет, а он опять останется в бане один-одинешенек, Кийр встал в бочке во весь рост, тощий как спичка, и произнес:

— Здравствуйте!

— Что? Кто тут? — крикнул арендатор, вглядываясь в темноту.

— Это я, я...— начал Кийр,— это я здесь. Тоотс позвал меня в баню, обещал печь затопить, а сам мою одежду унес.

— Кто, кто? Кто это?

— Это я... Кийр.

Арендатор подошел поближе и стал разглядывать голого человека.

— Что за чудеса ты тут творишь? — сказал он, всплескивая руками.— И голый, в чем мать родила! Где же твоя одежда?

— Тоотс унес. Мы пришли с ним в баню, мне хотелось попотеть, и Тоотс развел огонь. Потом вдруг схватил мою одежду и удрал.

— Подумать только, поросята этакие, они сюда потеть пришли! Ну да, если уж здесь Тоотс замешан, тогда все ясно. Этот на все способен. А где же он сам?

— Кто?

— Кто! Тоотс, конечно. Ты же говорил, что он одежду твою унес?

— Ну да, а кто же, как не он. Он, наверно, в школу убежал.

— Ну скажи на милость, есть ли у этих сумасшедших мозги в голове,— сказал арендатор, покачивая головой,— вы же так баню могли поджечь! А кто потом за убытки отвечать будет? Смотрю я — дымит труба; что, думаю, за чертовщина? Прачки пастору белье стирают, что ли? Но нет, они давно отстирались... Счастье еще, что заглянул сюда. Да, да, лязгай теперь зубами, теперь-то ты попотеешь. А чего это тебе потеть приспичило?

— Меня тошнило, а Тоотс сказал, что надо вспотеть, тогда и пройдет.

Арендатор громко расхохотался.

— Ох вы, дьяволы этакие, и до чего только не додумаются! Этого Тоотса надо бы посадить на несколько деньков в кутузку на хлеб и воду, может, помогло бы, а то это не человек, а наказание господне. Ну, а ты вылезай из бочки, долго ли в ней будешь торчать. Ты же не Диоген.

С этими словами он извлек дрожащего Кийра из бочки и подтолкнул его поближе к печке. Кийр был длинный и худущий, как салака: когда он встал у огня, на стену упала тень, напоминающая кочергу. Арендатор с минуту смотрел на эту тощую фигуру, затем снял с себя полушубок и набросил его Кийру на плечи.



— Поглядеть только, какой ты,— сказал он.— У самого плечи торчат, как прясла, а он еще потеть собирается. Чему тут потеть! Сиди у печи, грейся, покуда я схожу посмотрю, куда это Тоотс с твоей одеждой пропал.

Кийр присел на корточки и заплакал. Эти два дня — вчера и сегодня — такие неудачные! А ведь все могло быть хорошо, не послушай он Тоотса. Ох, этот ужасный Тоотс! С сегодняшнего дня он вообще перестанет с ним разговаривать. Но что это такое? В углу что-то заскреблось. Там, за печкой, неладно — это Кийр знал и раньше... а вдруг сейчас кто-нибудь вылезет и набросится на него? Нет, скорее вон отсюда!

Через несколько минут со стороны реки по направлению к школе мчится некто на тощих голых ногах. Урок уже начался, поэтому беглецу удается благополучно добраться до коридора школы; здесь он озирается, как бы в поисках помощи, затем вскакивает в кладовку, забирается под скамью и сворачивается калачиком, кутаясь в шубу арендатора.

Беглец — а это не кто иной, как Хейнрих Георг Аадниэль Кийр — лежит теперь под скамьей, точно большой серый узел.

Но беглеца успели заметить: от кистерского хлева к школе семенит еще некто, но уже низенький и толстый. Но когда он, тяжело отдуваясь, появляется наконец в сенях, уверенный, что найдет здесь таинственного беглеца, тут никого не оказывается, кроме учителя и арендатора, о чем-то беседующих между собой.

— Сюда никто сейчас не забегал? — спрашивает толстый, коротконогий человек.

— Я никого не видел,— отвечает учитель, пожимая плечами.

— Куда ж он девался? Он сюда побежал.

— Я никого не видел. А кто это мог быть?

— Не знаю, кто это был,— продолжает толстяк, занимающий в Паунвере должность кистера и награжденный школьниками кличкой «Юри-Коротышка».— Я шел со стороны хлева и видел, что кто-то побежал сюда. Я был уверен, что он здесь, в коридоре.

— И я никого ие видел,— подтверждает ареидатор.

— Ну, тогда иичего, а то я думал — кто-иибудь из иаших ребят во время уроков бегает,— успокаиваясь, пояснил кистер.— Во всяком случае, насколько мие удалось разглядеть, это был мальчишка; мие даже показалось, что ои без штаиов.

— Без штанов? — изумляется учитель, обмениваясь с арендатором миогозиачительиым взглядом.— Кто же это мог быть?

— Не знаю.

— Куда же ои зимой без штаиов побежит? — сомневается арендатор.

— Может, какой-иибудь бродяга. Но мне показалось, что ляжки у иего были голые и что забежал ои сюда, в коридор. Может быть, где-нибудь спрятался?

Кистер заглянул в кладовку.

— Тут тоже никого иет,— сказал ои, захлопывая дверь.— Да и где ему быть; вы ведь были здесь, заметили бы его. Бог зиает, куда ои удрал.

И, успокоеиный мыслью, что по крайией мере его школьиики тут ии при чем, кистер вышел во двор.

Арендатор погладил усы, прыснул со смеху и, схватив учителя за рукав, потяиул его в угол.

— Он, коиечно, видел Кийра,— сказал он тихо.— Но куда этот сатаиа удрал? Он должеи был дожидаться в бане, пока я найду и принесу его одежду.

— Может быть, ои был здесь, а потом опять убежал в баню,— решил учитель.

— Ну да, так, видио, и есть. Пока я ходил за вами в классную, он мог здесь побывать. Но сейчас иадо поскорее узиать у Тоотса, куда ои девал его одежду.

— Тоотс, поди сюда! —позвал учитель, заглядывая в классную.

Тоотс, сопровождаемый шумом голосов, вышел в коридор. Все уже догадывались, что он опять замешан в какую-то путаиую историю. Прежде всего ребятам бросилось в глаза, что Кийра до сих пор иет в классе.

— Тоотс, куда ты девал одежду Кийра? — спросил учитель, закрывая за Тоотсом дверь классной.

— Одежду Кийра? Не знаю. Я ее не брал,— ответил Тоотс, старательно вертя пуговицу своей куртки.

— Кто же тогда ее взял?

— Не знаю. Может, коробейник?

— Какой коробейник?

— Да тот, который мимо проходил.

— Где проходил? Говори яснее. Что это ты сегодня так скуп на слова? Обычно ты болтаешь больше, чем надо.

— Ну, тот самый коробейник... Когда я отошел от бани, видел, как он там проходил.

— И ты думаешь, что это именно он и взял?

— А кто же еще мог взять?

— Гм...

Учитель и арендатор, переглянувшись, пожали плечами. Скверная история — если, конечно, Тоотс говорит правду. Где его теперь поймаешь, этого коробейника!

— А ты действительно не брал? — снова спросил арендатор.

— Да не брал же, ну!

— И коробейник, говоришь, мимо шел?

— Да, мимо шел. Я не знаю, как будто это был коробейник... а может, татарин. На спине серый узел тащил, шел и аршином помахивал. Железный аршин у него в руках был.

— А в какую сторону он пошел?

— Туда, к трактиру. Шел со стороны Киусна, а уходил по дороге в трактир.

— Вот так штука,— промолвил арендатор.— Ничего другого не остается, как погнаться за коробейником. Да и не так-то просто его поймать. Тоотс, а ведь это ты будешь виноват, если мы так и не найдем одежду Кийра. Зачем ты его в баню заманил?

— Так я же его не заманивал, он сам...

— Ой, Тоотсик, Тоотсик, ты сам на свою голову беду накликаешь,— добавил учитель.— До сих пор я с тобой обходился по-хорошему, но, как видно, придется мне перевернуть страничку. И заруби себе на носу: если тебя спрашивают, кто виноват в том-то и том-то, отвечай прямо — я виноват. А теперь иди и живо неси сюда свое пальто.

Тоотс решил, что его хотят отослать домой, и не на шутку перепугался. Уголки его рта задрожали, как будто ему хотелось еще что-то сказать, а все тело обмякло, точно у человека, только что сбросившего с плеч тяжелую ношу. Сегодняшняя проделка, против его воли, зашла слишком далеко.

— Ну иди, иди, окаянная твоя душа,— повторил учитель,— не то Кийр в бане совсем в сосульку превратится.

Тоотс понял, что пальто его хотят снести Кийру, и поспешил выполнить приказание учителя.

— А теперь иди и стой в углу, пока я не вернусь. Потом мы продолжим наш разговор. Мне еще нужно кое-что тебе сказать.

С этими словами учитель взял у Тоотса пальто и вместе с арендатором направился к бане.

Тоотс посмотрел им вслед через приоткрытую дверь, потом проскользнул в кладовку, с опаской огляделся по сторонам и стал торопливо развязывать мешок, в который засунул одежду Кийра. Он был так поглощен этим занятием, что даже не заметил, как под скамейкой что-то задвигалось и из шубы высунулась рыжая голова. Тоотс успел уже вытащить из мешка пиджак Кийра и как раз запихивал обратно огромную краюху хлеба, упорно выползавшую на свет божий вместе со штанами, но вдруг застыл на месте, прислушиваясь, с краюхой в одной руке и со штанами в другой.

— Тоотс! — позвал кто-то тихонько из-под скамьи.

— Что... что... где... кто там? — пробормотал Тоотс и от испуга чуть не уронил хлеб.

— Это я... я... Кийр. Куда ты мою одежду девал? — прошептал тот же голос.

— Ах, это ты! — вскричал Тоотс обрадованно. Его испуганное лицо сразу расплылось в широкую улыбку.— Зачем же ты, чудак, из бани удрал, я бы и сам тебе одежду обратно принес. Я думал, ты все еще потеешь!

— Заткни свою глотку! Сам потей, если хочешь!

— Ну, ну...

— Где моя одежда?

— Одежда здесь,— невозмутимо ответил Тоотс.— А ты, чудак, думал — она где, твоя одежда? Одежда здесь. На, бери, вот пиджак, вот штаны, жилетка тоже; только чулок и шейного платка не хватает. Эх, дьявол, платок в коробку с маслом попал! Ну, не беда, не беда, я его вычищу. А теперь — живо! Покажи, как быстро ты умеешь одеваться. Я по утрам за две с половиной минуты бываю готов.

Кийр сбрасывает шубу арендатора и превращается в какую-то машину переодевания: штаны и пиджак натягиваются с такой быстротой, что только швы трещат. Тоотс ему всячески помогает, объясняя в то же время, как Кийр должен отвечать, когда его спросят о сегодняшнем происшествии.

Через несколько минут оба приятеля входят в класс и занимают свои места. У Кийра чуть заплаканное лицо, а Тоотс часто поглядывает в угол и грызет ногти. По всему видно, что на душе у него не совсем спокойно.

* * *

— Кийра никто не видал? — спрашивает учитель; он тоже возвратился в класс вскоре после Тоотса и Кийра.

— Кийр здесь,— отвечает Тоотс, указывая на Хейнриха Георга Аадниэля.

— Ага-а, Кийр здесь. Ну, а ты? Ты же должен был...

— Да, да, иду, иду,— отвечает Тоотс и плетется в угол.

Учитель пишет записочку и, протягивая ее Ярвеотсу, говорит:

— Беги, снеси эту записочку арендатору. Он лошадь запрягает возле конюшни.

А проходя мимо Тоотса, стоящего уже в углу у печки, учитель добавляет тихо, так, чтоб один лишь Тоотс мог слышать:

— Тоотс уже поймал коробейника — арендатору незачем его ловить.

XVII

Таким образом, Тоотс, назло всем своим видимым и невидимым врагам, продолжал гарцевать на лезвии ножа, и никто его из школы не выгонял, несмотря на все угрозы. Иногда, правда, судьба его висела на паутинке, но паутинка эта выдерживала и не рвалась, даже если Тоотс вешал на нее еще какую-нибудь новую проделку. Возможно, его спасение в том и заключалось, что он никогда не давал школьному начальству опомниться и оценить его заслуги: все новые и новые проказы следовали одна за другой, и прежние предавались забвению.

* * *

Десятого марта, в день весеннего солнцеворота, вечером ребята вдруг услышали доносившиеся с реки душераздирающие вопли о помощи.

Побежали посмотреть, но на реке никого не было. Вскоре в классе появился Тоотс и сообщил, что в реке утонули двое крестьян из деревни Йонила.

Впоследствии выяснилось, что на помощь звал сам Тоотс.

* * *

Два дня спустя несколько мальчиков, проснувшись утром, обнаружили, что за ночь у них выросли усы и бороды.

Дело расследовали, и оказалось, что Тоотс ночью покрасил мальчишкам подбородок и верхнюю губу яичным лаком.

* * *

В тот же вечер ребята удивились, услышав, что часы в классной комнате вместо восьми ударов пробили всего один.

Тоотс вздумал поставить стенные часы по своим карманным. А его карманные часы, как он сам объяснил, обладали весьма странным свойством: их никак нельзя было завести, зато они никогда и не останавливались.

* * *

Вскоре после этого он без всякой видимой причины залепил маленькому Лесте звонкую оплеуху и с философским спокойствием заявил:

— Что само не держится, то надо прибить.

* * *

Днем позже Кийр разгуливал по классу с бумажкой на спине. На бумажке была изображена бутылка, а под нею надпись: «Лати патс».

* * *

На следующий день произошла основательная потасовка с Сымером, причем Тоотс обругал его «чучелом», «бельмом на глазу» и «жабой».

* * *

В тот же вечер — столкновение с Имеликом. Имелик приказал Тиуксу зажарить на кухне у кистера мясо, которое затем оба тыукреских мужичка принялись за ужином уплетать. К ним в гости явился Тоотс. Те не возражали против такого визита, и некоторое время все трое мирно ели. Но тут вдруг Имелику захотелось пошутить.

— Говорят, земля вертится,— сказал он и повернул миску так, что лучшие куски оказались перед ним.— Так пусть же вертится.

— Но когда ударяет молния, так получается сплошная каша,— отозвался Тоотс и изо всех сил метнул свой ломоть хлеба в миску.

Куски мяса выпрыгнули на пол, Имелику и Куслапу жир брызнул в лицо.

* * *

Затем Тоотс перебил ногу собаке пастора и объявил, что едет в Америку охотиться на львов.

— Пришлю вам оттуда шкуры и рога,— пообещал он ребятам, которые были свидетелями его подвига. Когда кто-то из них возразил, что у львов рогов вроде бы не бывает, Тоотс сразу примирился с этим обстоятельством и пообещал прислать одни только шкуры. Как бы там ни было, а школьные занятия ему осточертели. И вообще, заявил он, работа дураков любит, работа — это для бедняков и для старых кляч, да разве еще для болванов — скуки ради.

* * *

За этим вскоре последовала крупная неприятность с кистером. Во время обеденного перерыва, когда в спальной никого не было, Тоотс из своего пальто, шапки и сапог смастерил чучело и подвесил его к потолку. На спине повешенного была прикреплена записка: «Прашу в смерти моей никого не венить. Повесился потому что дениг нет».

* * *

Погоня за ворами. Ночью Тоотс, выходя во двор, в дверях завопил истошным голосом:

— Ты чего там высматриваешь? Ты чего там высматриваешь? Думаешь, я тебя не вижу! — Затем он вернулся в спальню и поднял всех на ноги — воров ловить.

Конечно, никто не двинулся с места, но ночной покой был нарушен и дело дошло до кистера.

* * *

В день рождения кистера на наружной двери школы оказалась салака, приколоченная гвоздиками.

При лунном свете рыбки блестели, как звезды, и Тоотс заявил, что это иллюминация.

* * *

Под окнами дома, где жили школьники с церковной мызы, был устроен кошачий концерт; при этом капельмейстер Тоотс разбил себе бровь, стукнувшись головой о дерево, а на следующий день отец по настоянию кистера выпорол Тоотса.

* * *

Поездка на льдинах, во время которой Тоомингас, выступавший в роли Моргана [1], по вине Тоотса чуть не утонул.

* * *

Курение за углом пасторской бани, которое могло кончиться очень плачевно, если бы не заступничество учителя; благодаря ему Тоотс отделался только продолжительным отсиживанием в классе после уроков.

* * *

Тоотс с чьей-то помощью сочинил сатирическую песенку о старшем брате Кезамаа и несколько дней подряд исполнял ее на каждой перемене.

Брат Кезамаа записал хутор на имя своей смазливой двоюродной сестрицы Мари, а теперь эта Мари, которая раньше обещала выйти за него замуж, собиралась выгнать его со двора.

В песенке этой, которая впоследствии дошла до ушей кистера и принесла Тоотсу немало неприятностей, говорилось:

Сердцу больно, нету силы —
пропадает хутор милый,
плуг немецкий, бык здоровый,
поросята и коровы...
Все отнимет злая Мари!
Ох, брожу я как в угаре...

* * *

Жестокий спор с Имеликом из-за вешалки; затем стычка, во время которой Тоотс разорвал Имелику карман пальто.

[1] Морган — герой приключенческой повести «Черный капитан».

Имелик: Не суйся со своим пальто на чужую вешалку!

Тоотс: Вот чудак, то же самое я собирался тебе сказать. Это же моя вешалка.

Имелик: Нет, не твоя.

Тоотс: Нет, моя.

Имелик: Знаешь, Тоотс, тебе, видно, трудно ужиться с людьми, все тебя обижают,— пойди лучше туда, где небо с землей сходится, вбей в небо гвоздь и вешай на него свое пальто.

Тоотс: Ишь ты, чудак, а когда земной шар повернется... он ведь поворачивается... тогда что?

Имелик: Тогда пальто останется на небе, а ты можешь сесть на облако и догнать его.

Тоотс: На облаке-то ездить, конечно, неплохо, а только как слезть?

Имелик: Ну, ты-то слезешь. Как ты с бутылкой в руках с полки слез?

Слово за слово, спор разгорался все больше, пока не произошло то, о чем мы уже говорили.

XVIII

Но мы должны быть справедливыми. Рассказывая о проделках Тоотса, нельзя упускать из виду и его добродетелей. Ведь не может быть, чтобы человек с головы до ног был начинен одним лишь озорством. В каждом человеке таится хоть зернышко добра.

Время от времени у Тоотса пробуждалась страсть к наукам.

Правда, такие случаи бывали очень редко, но тем большего внимания они заслуживают.

Как-то в обеденный перерыв Антс Виппер стоял в раздумье перед географической картой. Проходивший мимо Тоотс остановился возле него.

— О чем ты думаешь, Виппер? — спросил он.

Виппер окинул его долгим задумчивым взглядом и ничего не ответил.

— Где здесь Германия? — спросил Тоотс.

— А ну-ка, покажи сам, где Германия,— отозвался Виппер.

Тоотс указал рукой на восток.

— Вот там.

— Да ну, неужели там? — воскликнул Виппер.— Ты покажи по карте.

Тоотс пожал плечами. По правде говоря, ему было совершенно безразлично, где находится эта самая Германия; по мне, думал он, пусть будет хоть на самом верху. Но все же удивительная штука — эта географическая карта; хватило же терпения у того, кто испещрил ее черточками, точечками и названиями! Вся карта казалась усеянной песком.

— Ну, так где же Германия, на востоке или на западе?

— На западе.

— А почему ты показал на восток?

— Видишь ли, я и сам не знаю,— ответил Тоотс.— Но мне представляется, что все эти Германии, Франции и Англии находятся на востоке, а на западе ничего нет, одно только большое озеро и за ним конец!

— Как это конец? Что за конец? Что ты подразумеваешь под этим концом?

— Ну, словом, конец!

— Конец земного шара? Ах, значит, земной шар кончается у тебя на западе, как железная дорога под Таллином,— так, что ли?

— Ну да...

— Э, нет, голубчик! Подожди чуточку, я тебе покажу, какой он, этот земной шар.

Виппер принес из шкафа глобус и поставил его перед Тоотсом.

— Смотри, Тоотс,— сказал он,— где тут начало и где конец? Земной шар круглый, как твоя башка, и обращается вокруг солнца. При этом он еще и сам поворачивается за сутки один раз.

«Как кошка вокруг горячей каши»,— подумалось Тоотсу.

Виппер взял чернильницу, которая должна была изображать солнце, и обвел вокруг нее глобусом, вращая в то же время и сам глобус.

Тоотс вспомнил, что учитель однажды уже объяснял им нечто подобное, но Тоотс тогда ровно ничего не понял. Да и откуда ему было так хорошо знать русский язык? Но теперь он стал немного во всем этом разбираться, и в то же время у него появился интерес к географии.

— Удивительное дело,— как это они не падают! — воскликнул он, рассматривая глобус со всех сторон.

— Не падают? Кто?

— Ну, те, что там внизу живут, американцы эти, или кто они там такие. Они же ходят вверх ногами, точно мухи по потолку. Как же это получается, что они не падают?

Виппер объяснил ему, почему люди не падают с земного шара. У земного шара, сказал он, имеется такая сила, или магнит, которая притягивает к себе

все предметы. В этом Тоотс и сам может убедиться: если камень подбросить в воздух, он обязательно упадет назад, на землю.

— Но американцы-то все-таки ходят вверх ногами?

— Нет. Тут нет ни верха, ни низа. Если подвесишь к потолку на веревочке клубок ниток, то можешь показать, где верх и где низ. А земной шар — это совсем особенный шар. Он со всех сторон окружен воздухом и всюду у него сила притяжения.

— А как же он вертится? Ведь говорят, будто вертится. Вертится он?

— Конечно, вертится! У земного шара имеется ось.

— Ось — ого! Ну, это, наверно, крепкая штука... раз она не ломается?

— Об этом не беспокойся. Ось эта — не что иное, как воображаемая линия, которая пронизывает земной шар и соединяет Северный полюс с Южным. Оси-то самой нет, а земной шар вертится так, как если б она была; он всегда остается в одинаковом, наклонном положении. Понимаешь?

— Понимать-то понимаю, но что это за полюсы такие?

— Полюсы — это кончики оси земного шара, то есть точки, которые соединяются этой линией, или, как мы ее назвали, осью. Их два: Северный и Южный.

С этими словами Виппер указал одним пальцем на Северный, другим — на Южный полюс. Тоотс пришел в восхищение и слушал рассказ Виппера, словно волшебную сказку. Да и не он один, другие ребята тоже с любопытством приблизились к ним.

— Смотри, Тоотс так заслушался, что у него даже уши шевелятся, заметил кто-то.

Виппер между тем продолжал рассказывать, как земной шар обращается вокруг солнца и отчего бывает лето, зима и прочие времена года; как экватор делит земной шар на две части и, в свою очередь, сам делится на градусы. Разговор пошел о земных поясах, о возникновении ветра, о солнечном и лунном затмении и о разных других вещах.

Раньше, когда бывало учитель, объясняя, как возникает ветер, подходил со свечой к дверям, чтобы показать, что вверху пламя склоняется наружу, а внизу — вовнутрь комнаты, Тоотс всегда думал, что учитель просто хочет проверить, может ли ветер потушить свечу. И до сегодняшнего дня он так и не мог понять, почему на одной карте рисуют сразу два земных шара. Со временем у него возникло о земном шаре странное представление: он ведь не знал, сколько же, собственно, шаров — два или один. На этой загадочной карте их было два, и Тоотс, с его богатой фантазией, уже ломал себе голову над мыслью, какой же огромной величины должен быть крюк, соединяющий верхнюю и нижнюю части земного шара. И дальше: если обитатели верхней части поссорятся с жителями нижней, то верхним чертовски легко будет отцепить крюк и с грохотом отправить нижних «на дно».

Только сейчас, когда Виппер принес глобус и на чистом эстонском языке объяснил, что земля имеет такую же форму, как и тот деревянный шар, который он держит в руке, Тоотсу стало ясно, что, действительно, имеется всего один-единственный земной шар. Был разрешен и другой сложный вопрос: почему американские школьники, хоть они и находятся «под» ребятами из Паунвере, не соскальзывают с земного шара.

Потом Тоотс вышел во двор и, подбросив в воздух камень, крикнул:

— Глядите, ребята, вот так силища!

— Подумаешь — силища, такой малюсенький камешек подбросить! — отозвались те.

— Эх вы, дурачье, не у меня — у земного шара! — ответил Тоотс.

Затем он пошел к дверям, зажег спичку, подержал ее на ветру и, подозвав поближе нескольких мальчишек, объяснил:

— А ведь правда — теплый воздух вверху, а холодный внизу. Поэтому-то в банях полок наверху устраивают.

И, нетерпеливо грызя ногти, он решил сегодня же смастерить себе глобус. Дерево для этого найдется,

надо только вытесать две половинки, похожие на миски, и их склеить.

— Как страино,— произнес Арно Тали. Он, слушая Виппера, задумался.— Небесных тел так бескоиечно миого, и все же оии двигаются по определенным путям, никогда от них ие отклоияясь.

Он повернулся к Тыииссону.

— О, оии ведь иногда и сталкиваются друг с другом, и падают,— сказал тот.— Ты вот выйди ясиым вечером во двор, увидишь, что они выделывают.

— Что же это падает?

— Звезды.

— Ну хорошо, звезды. Но те ведь не звезды. Те, что вместе с землей вокруг солнца двигаются, те совсем другие.

— Все равно — звезды.

— Да нет, как так — все равио!

— Ладно, пусть будет по-твоему. А зиаешь, Тали, что надо сделать, когда звезда падает?

— Не знаю. А что?

— Если увидишь, что звезда падает, сразу задумай какое-нибудь желаиие... Чтоб у тебя был красивый конь, или там еще что... Все равно, что ии задумаешь. А в ту мииуту, когда ты об этом думаешь, брось что-нибудь в ту сторону, где звезда скатилась; если ничего нет под рукой, так хоть пыль из кармана. И сразу все сбудется.

— Да ну? Откуда ты зиаешь?

— Говорят так...

— А сам ты пробовал?

— Нет, ие пробовал. Как тут попробуешь — сразу ведь... не сообразишь, а когда придумаешь, хватишься, звезда уже — помииай как звали...

— Гм... А зиаешь, Тынissoн, я попробую.

В этот момент они услышали за спииой громкий щелчок. Обернувшись, они увидели, что Визак держится обеими руками за голову, скривил рот и плачет.

— Да разве я виноват? — басом расхохотался кто-то.— Почему ты свою голову не отвел?

— Тоомингас тут ни при чем,— добавил другой.— Просто голова Визака имеет большую силу

притяжеиия. Разве скажешь после этого, что Визаку иичего в голову не лезет!

Заглушая плач Визака и смех ребят, до Тали и Тыниссоиа донеслись слова Тоотса:

— Вот увидите, глобус я смастерю, пусть обойдется хоть в целый рубль. Увидите, на будущей неделе ои у меня будет готов и я принесу его в школу. Сделаю красивый такой, большой и...

— Ради бога, Тоотс, ие делай,— иасмешливо попросил Имелик,— а то мы прямо испугаемся.

— А я сделаю, увидите, сделаю. На том месте, где наша школа, иарисую большой красный крест, чтобы сразу можио было узиать, где мы находимся. И речку иашу нарисую и...

— Нарисуй иа своем глобусе и кистерову картофельную кучу,— отозвался Имелик.— А когда будешь речку рисовать, не забудь и плот иа дне — обязательио отметь.

— Чудак, кто же такие вещи сможет иа глобусе иарисовать!

После следующего урока Тоотс опять подошел к Випперу и спросил:

— Откуда ты все это зиаешь, Виппер?

— Что зиаю?

— Ну, всю эту механику... насчет земного шара... как ои двигается и...

— Об этом кииги есть.

— А, книги. Ну да. Зиачит, ты такие книги читаешь?

— Читаю.

— Всегда?

— Не всегда. Когда время есть.

— А сам говоришь, что четыре года в школу ие ходил.

— Ну и что же. Можио и дома книги читать и учиться.

— Читать-то, коиечио, можно,—рассказы всякие... Я и сам такие читаю... А вот учиться?..

— И учиться можно.

— Гм?..

— Коиечио, можно.

— Зачем же ты тогда в школу пришел?

— В школу, да.. В школе все-таки учение лучше подвигается.

— Отец заставил?

— Отец! Почему отец? Я сам захотел.

— Сам захотел в школу?

— Да, хотел дальше учиться.

— Гм... сам уже взрослый мужик, а все еще охота в школу ходить. А дома кто работает?

— Работа работой... Работать тоже приходится. Летом работаю, коплю деньги, чтобы зимой можно было учиться.

— А-а! Знаешь что, Виппер, раз ты летом накопил денег и тебе читать охота, купи у меня книжку рассказов — очень интересная.

XIX

Идет весна. Уже чернеют холмы и пригорки. На лугу весь день посвистывают веселые скворцы в черных сюртучках. Меж кустов и кочек выглядывают из-под влажного мха желтые головки, словно дети поутру из своих постелек. Всюду столько солнца и света, что даже глазам трудно привыкнуть. Малыши уже вооружились крошечными деревянными лопатками и идут «делать весну». Ведь ясно — чем больше удастся накопать во дворе маленьких канавок, тем скорее придет весна. Не беда, если промочишь ножки и мама будет сердиться — ради наступающей весны можно все вытерпеть!

Шагать через канавы и ручейки очень опасно: хотя сверху они еще полны рыхлым снегом, но под ним неосторожного помощника весны подстерегает вода.

Каждое утро прибывают все новые пернатые певцы, словно всюду готовятся к большому певческому празднику.

Субботний полдень. В школе только что кончился последний урок, и ученики собираются домой. Вместе с другими во двор выходит и Арно Тали. За зиму он заметно вытянулся, но бледные щеки и ввалившиеся глаза придают ему болезненный вид. Волосы у него давно не стрижены, и картуз, надетый по случаю теплой погоды, ему чуть мал. Он застегивает пальто и молча направляется к воротам. Он как будто и не замечает визга и крика ребят вокруг — мысли его блуждают где-то далеко. У ворот он вдруг испуганно останавливается, отступает на несколько шагов, затем резко поворачивает назад и делает большой крюк через церковный двор, чтобы выйти на шоссе другой дорогой. Недалеко от ворот стоят Имелик и Тээле. Имелик замечает Арно и, показывая рукой в сторону церковного двора, говорит Тээле:

— Смотри, куда Тали пошел. Почему он идет другой дорогой?

— А я откуда знаю? — смеясь отвечает Тээле.

— Чудной парень,— замечает Имелик.— И чего он дуется?

— Не знаю, что с ним такое,— отзывается Тээле и глядит вслед Арно.

— А ты догони его, спроси. Вам ведь по дороге. Раньше вы всегда ходили вместе, а теперь почему не ходите?

— Он, видно, не хочет. Вечно вперед убегает или ждет, пока я пройду.

— Почему?

— Да откуда я знаю!

— Ну все-таки, что-то должно быть...

— Ничего не знаю. Может, задается, что умный такой.

— Может, и так. Поди раскуси его — ни с кем он не разговаривает. С Тыниссоном иногда перекинется словом, да тот такой же бука, тоже ни с кем не говорит, кроме Арно. Интересно бы послушать, о чем они между собой толкуют. А что до ума, то... Да, раньше он все хорошо знал, а теперь у него ничего не получается. То ли заниматься перестал, то ли еще что.

— Ничего я про него не знаю.

— А ты побеги за ним, заведи разговор, может, и узнаешь.

— Стану я еще за ним бегать! Пусть себе летит!
Тээле собирается уходить и на прощание протягивает Имелику руку.

— Ну, до свидания!

— До свидания. И завтра приходи, как обещал.

— Постараюсь.

Имелик с минуту глядит вслед Тээле, потом возвращается в класс. В эту субботу он и Тиукс домой не едут.

Делая быстрые шажки, Тээле спешит к шоссе. Пройдя немного, она украдкой оглядывается, но Имелик уже исчез. Он, конечно, не станет так долго смотреть ей вслед, как смотрел бывало тот, другой, что сейчас сворачивает на шоссе.

Она еще раз оглядывается через плечо — на глазах у Имелика она ни за что не побежала бы — и бегом догоняет Арно.

— Обожди, куда ты летишь!

Арно оборачивается и останавливается, глядя себе под ноги. Сердце его начинает биться учащенно, лицо заливает румянцем.

Чего ей от него нужно?

— Что ты так летишь, тебе некогда?

— Нет, я думал, что ты...— бормочет Арно.

— Что ты думал! Ты же знаешь, что я тоже иду домой, в школе не останусь. Ты просто не хочешь больше со мной ходить, вот что.

Арно молчит. Да и что ему ответить? Ведь Тээле и сама не верит тому, что сейчас сказала. Именно она дала ему понять, что не желает больше с ним ходить. Что же ему — насильно навязываться, что ли?

Они шагают молча. Тээле тайком, с лукавой усмешкой поглядывает на Арно: о-о, она прекрасно знает, что творится сейчас у него в душе, но пусть, пусть помучается, раз не умеет разговаривать. Но Арно говорить не собирается; он упорно смотрит себе под ноги и молчит, так что прямо зло берет.

— Что с тобой?

— Со мной...— И Арно грустно глядит на свою спутницу.— Со мной ничего.

— Ничего, да! Видишь, какой ты скрытный! Только и знаешь, что дуться, и больше ничего. Ходит, лицо сердитое, брови нахмурены, будто... Сказал бы хоть, что с ним, тогда бы еще...А то ведь ни слова! Ты на меня сердишься?

— Нет!

— Нет! Зачем ты врешь! Будто я не понимаю. С тех пор, как я тебе тут нечаянно сказала... С тех пор ты стал прямо бука какой-то. Я же не умею, как ты, каждое слово подбирать. Не все такие умные, как ты.

— Тээле!

Это тихое восклицание прозвучало как крик о помощи. Ведь все, что она говорит, неверно! Неужели Тээле действительно так мало его знает? Или она нарочно хочет его помучить?

— Тээле!

— Ну?

Молчание. Что он может ей сказать, чтобы она его поняла, чтобы увидела, как она ему дорога? Чем доказать ей, что это из-за нее он так страдает?

— Что ты хотел сказать?

— Тээле... я не важничаю... я никогда не важничал... Но... я думал — ты сама не хочешь больше со мной ходить... ведь тогда, около школы... ты сказала... Поэтому я и уходил всегда раньше тебя.

— Вот дурень! Ну да, так я и знала, что ты из-за этого дуешься и ничего тут другого нет, только это...

— Нет, я...

— Погоди! Ты сам подумай,— ну что с того, если я так сказала? Неужели из-за этого надо губы надувать? Какой ты все-таки придира!

— Нет, Тээле, не только это одно... А тогда утром ты... ты меня не подождала у проселка. Это тоже. Я уже был совсем близко на проселке, а ты прошла мимо... и... и не подождала меня.

— Смотри-ка, что еще вздумал припомнить через полгода!

— Но ты же меня не подождала.

— Ну и что с того! Где же мне всегда успеть... Да я этого дня уже и не помню. Кто тебя знает,что ты там еще наврешь, лишь бы ко мне придраться.

— Тээле, я же не вру.

— А, брось ты!

Снова молчание. Глаза Арно наполняются слезами. Так вот, значит, до чего дошло. Он врет, чтобы к ней придраться! Разве ему хотелось к кому-то придираться? Услышь он от Тээле хоть одно ласковое слово — и все его горести забылись бы, как дурной сон. Нет, он даже всю вину взял бы на себя и со слезами просил бы прощения. Он все бы сделал — лишь бы Тээле хоть на мгновение стала с ним такой, как раньше, такой, как была осенью, когда они уходили в школу вместе. Но сейчас Тээле совсем другая.

— С правдой у него не получается, так он за вранье принялся,— начинает Тээле хмуро.— И чего ты крутишь! Скажи прямо, что ты гордый и не хочешь со мной ходить, тогда другое дело. Тогда я в следую-

щий раз буду зиать, что к тебе и близко подходить иельзя.

— Я ие гордый! — восклицает Арно сквозь слезы.

— А какой же ты?

— Я... я думал, что ты сама ие хочешь со миой ходить, что... что ты хочешь ходнть с Имеликом н...

— Вот дуралей!

— Нет, ты ие серднсь, Тээле, я думал, что... Ты всегда с ним разговарнваешь...

— Вот дуреиь! Как же мне ие сердиться, когда ты такую чепуху несешь. Когда это я с Имеликом разговарнвала? Ну скажи, когда это я с Имеликом разговарнвала? Сегодия говорила, да. Так что из этого? Имелик иаш родственннк, я могу с нним разговаривать сколько угодно. А ты, как Тоотс, болтаешь все, что в голову взбредет. Мне хочется с Имелнком ходнть — какая ерунда! Ты, пожалуй, и дома еще расскажешь, что я хочу с Имеликом ходить.

— Нет, я дома иичего ие буду рассказывать.

— Кто тебя зиает.

— Не буду!

Они сиова шагают в полном молчаиии. Арно всхлнпывает н утирает платком глаза. На развилке дорогн оин остаиавливаются.

— Ну что ж, до свидання,— говорит Тээле.

— До свндаиия,— тихо отвечает Арно.

До свндаиня... Как холодио звучат ее слова! Неужелн ей совсем ие жаль покииуть его? А ему так хотелось бы еще побыть с иею, быть с иею долго, всегда. С какой радостью он проводил бы ее сейчас... до ворот хутора Рая... как тогда, осеиью. Илн все равно куда, хоть иа край света. Еслн бы только Тээле знала, как оиа ему дорога, оиа не ушла бы! Нет, она и ие уйдет. Оиа по крайией мере хоть раз еще обернется н скажет ему что-нибудь... такое ласковое... что все огорчення забудутся. Коиечно, оиа еще что-инбудь скажет. Ну да, вот она уже оглядывается. Сейчас... сейчас... Но оиа только засмеялась. И пошла дальше. Какие у нее белые зубы! Такие же, как у Куслапа. Отчего это у некоторых людей такие белые зубы?

Больше она уже не обернется. И ничего ему не скажет. Нет, она уже слишком далеко. Нет, нет, больше она ничего не скажет. Она уходит.

Уходит... уходит... Почему она уходит? Если Имелик... если Имелик ничего для нее не значит... так почему же она уходит? Ах да, она рассердилась из-за его глупых слов. Ну, конечно, она права, что ушла после такого разговора. Но... но... тогда надо попросить прощения! Если она сейчас так уйдет, то никогда больше к нему не вернется... прежней Тээле.

— Тээле! Тээле!

Тээле оборачивается, останавливается и что-то говорит; что именно — не слышно, слишком далеко.

— Тээле, постой, постой, я сейчас!

И от саареского проселка по шоссе, в сторону хутора Рая, стремглав мчится мальчуган.

— Тээле, подожди, я хочу тебе что-то сказать. Подожди немножко!

— Чего тебе еще надо? Гляди, бежит как угорелый? Чего тебе надо?

— Тээле, послушай, Тээле, ты не сердись на меня. Не уходи от меня такая злая, не то мне будет очень тяжело.

— Чего же ты хочешь?

— Ты не сердишься? Нет? Я... я нечаянно сказал, что ты с Имеликом... что ты... Не сердись, я больше никогда не будут так говорить.

— Говори, раз ты такой глупый.

— Нет, нет, я не буду больше. И послушай: давай снова вместе ходить в школу, как раньше. Я буду тебя поджидать каждое утро здесь, у дороги, хочешь? А после уроков опять будем вместе возвращаться домой. Будем, да? Помнишь, как хорошо нам было раньше вместе ходить в школу; ты сама говорила, что и дороги не замечаешь. Ты даже не знаешь, как приятно сидеть здесь и поджидать тебя: сначала вдали видишь только маленькую черную точку, потом она все увеличивается, увеличивается, и наконец видишь — это ты. Хочешь, я буду в понедельник утром ждать тебя?

— Жди, если хочешь.

— А ты хочешь, чтобы я ждал?

— Я же сказала — жди, если хочешь.

— А ты меня будешь ждать, если придешь первая?

— Гм, смешно, откуда я знаю. Кто знает, какая еще погода будет. Может, такой холод, что...

— О, сейчас уже не холодно. Сейчас ведь уже весна.

— Ну да... все равно... Посмотрим.

— Нет, Тээле, тебе не придется меня ждать, я всегда прихожу раньше тебя. А ты бы ждала?

— Да ну тебя с твоими расспросами! Может, и ждала бы. Иди домой, чего ты... бегаешь.

— Я провожу тебя.

— Не надо. Я и сама дойду. Иди домой.

— Значит, ждать тебя в понедельник утром?

— Делай как хочешь.

— Ну хорошо, я буду ждать. И мы опять будем всегда вместе ходить, да?

— Там видно будет.

— Ну, до свидания.

— До свидания! Сколько же раз ты будешь прощаться?

Арно проходит мимо ивы и задумчиво глядит на верхушку огромного дерева. Ива — ему друг. Скоро этот старый друг оденется в праздничный наряд и станет горделиво покачивать ветвями. А тихими летними ночами листочки, шелестя, будут рассказывать сказку о том, как однажды...

* * *

— На, бабушка, учись ты тоже,— говорит Арно, придя домой, и бросает узелок с книгами на стол.

— Ну, где мне... Уж и глаза не те, чтоб учиться. Да и что мне с премудростью этой делать.

— Что делать, ну... Да разве...

Арно хочет снять пальто, он уже взялся обеими руками за полы, но вдруг поднимает глаза к потолку и застывает на месте, как изваяние.

Удалось ли ему снова завоевать Тээле?

XX

Воскресный день, после полудня. В комнату едва доносится отдаленный звон колокола, тихий и жалобный, как колыбельная песня. Да это и есть колыбельная песня, кто-то уснул вечным сном. Кто-то ушел туда, где с ним не случится больше ничего — ни хорошего ни плохого, где и сам он уже не в состоянии ничего изменить к лучшему. Поздно! Быть может, осталось у него немало незавершенных дел, быть может, кто-нибудь не успел еще попросить у него прощения за обиды, причиненные ему. Кто знает? Кто знает, кто у кого в долгу.. Ясно одно: лучше самому с грустью покинуть этот мир, чем огорчать других. Искупить вину, пока еще не поздно... Ибо тот, кто приходит за нами и уводит нас отсюда, не ждет. Среди наших житейских забот или радостей он кладет руку нам на плечо и говорит: «Пойдем! Время, которое тебе отмерено, истекло».

Время истекло... И никогда больше не вернется.

Он приближается к нам с каждым ударом маятника, он, может быть, и сейчас уже стоит рядом и простирает над нами руки, как бы отделяя нас от жизни. Кто знает...

С сияющим взором вступил в жизнь юноша. Он пришел словно на бесконечный праздник веселья. Сколько счастья и радости у него впереди! И как все это достижимо! Стоит только повернуться, протянуть руку.

Но случилось совсем не то, чего он ждал. Чьи-то черные крылья заслонили свет солнца, и чей-то голос изрек:

— Из этого кубка тебе не суждено испить. Уйдем отсюда!

Бомм-бомм, бомм-бомм...

Ох, как грустно сейчас Арно! Безотчетная тоска гнетет душу. И эта тишина кругом, и этот мерный

звон — бомм-бомм — какую щемящую боль льют они в сердце! Как будто становится жаль кого-то... Жаль Куслапа, жаль Тыниссона, Лесту...

И сам он так одинок, всеми покинут! Ему хотелось бы куда-то пойти, быть к кому-то бесконечно добрым, всегда быть подле него, все ему отдать, ничего себе не оставив. Принестн кому-то радость... Так, чтобы тому, неведомому, было хорошо-хорошо... Тогда и у него, Арно, тоже стало бы светло на душе.

Арно пробует заняться уроками, но сегодня почему-то ничего у него не ладится. Он читает одну страницу за другой, но в памяти не остается ни единого слова. И раньше с учением было трудновато, а сегодня все попытки и вовсе кажутся напрасными.

Что же теперь будет? Да ничего, просто завтра он пойдет в школу и опять не будет знать уроков; ведь в последнее время это стало обыденным явлением.

Вначале все поражались, как это такой умный мальчик, как Тали, может чего-нибудь не знать; но затем свыклись и с этим, и с еще более крупными его промахами, и теперь никого уже не удивляет, что он не готовит уроков. Удивляются только тогда, когда он, словно очнувшись от сна, начинает вдруг быстро н горячо что-нибудь объяснять. Тогда кажется, будто он многое знает, и из его странной речи, пересыпанной забавными сравнениями, ребятам запоминается немало слов и оборотов, которые заставляют их задуматься; они потом еще долго повторяют все это в разговоре. Но случается это с ним очень редко, и сразу после таких вспышек он опять погружается в странное оцепенение, так что даже Тоотс кажется более понятливым, чем он. Тоотс отвечает на каждый вопрос, хотя и выпалнвает иногда совсем не то, что нужно, а Тали как будто и не слышит, о чем его спрашивают.

Арно поднимается из-за стола, потягивается и задумчиво выглядывает во двор. До чего прекрасен этот весенний день! Солнечные лучи так и манят Арно. Каждый луч кажется живым существом, которое видит и слышит все, что делается на свете. О, если бы можно было с ними поговорнть! Да пожалуй, гово-

рить и не нужно — они ведь сейчас сами зовут его. Они ничего не говорят, но Арно знает — они зовут его.

Книги? Учение? Нет у него охоты заниматься. Да в конце концов, хватит времени и на уроки. Арно надевает пальто и выходит во двор. Несколько минут он стоит у дверей, полной грудью вдыхая свежий весенний воздух; потом усаживается на скамью у порога и глядит вдаль. Там, вдали, как будто еще больше солнца и света, чем здесь, на дворе. Снега с каждым часом становится все меньше, он тает словно пена, обнажая чернеющую землю.

Уйти бы туда, далеко-далеко, посмотреть, как иссякают последние силы зимы, послушать журчание ручейка и пение птиц, возвещающее о наступлении новой, весенней поры.

Арно поднимается, выходит за ворота и после недолгого раздумья направляется по проселку к шоссейной дороге. Голова у него тяжелая, во всем теле странная усталость; у него появляется вдруг такое чувство, будто это не он, Арно, проходит сейчас вдоль березняка, а кто-то другой. Не успев отдать себе отчет, как он сюда попал, он оказывается возле кладбища.

Там сейчас кого-то хоронят. Человек десять стоят вокруг могилы и поют псалмы. Громкий, ясный голос подсказывает слова песни. Земля и камешки с шорохом сыплются на только что опущенный в могилу гроб. У ворот на привязи стоят лошади и жуют сено.

«Блаженны почившие в бозе»,— читает Арно на каменном столбе кладбищенских ворот. Затем он подходит к кучке людей, провожавших покойника, и снимает фуражку; он удивляется, видя, что мужики, зарывающие могилу, уже надели шапки. Пастор и кистер ушли.

Пускай она почиет с миром,
мы будем слезы лить о ней...

Это произносит седобородый старик. Лицо его при этом не меняет своего выражения, но по впалым щекам текут слезы, медленно капая на засаленный мо-

литвенник. Жалобно и тягуче поют женщины, лишь изредка слышатся в хоре низкие мужские голоса. У могилы, прислонившись к березе, громко рыдает пожилая женщина. Рядом с ней всхлипывает мальчонка, закутанный в большой материн платок. Сестренка его, правда, унеслась на небо, но ему так хотелось бы, чтоб она оставалась здесь, с ним.

С голубого неба смотрит на землю солнце и, словно прощаясь с усопшей, льет лучи на ее могилу. Еще голые деревья грустно покачивают ветвями, как бы спрашивая: «Наступает весна — почему же ты, дитя, покидаешь этот мир? Весна и ты — вы обе молоды, почему же ты уходишь? Ты так ждала свою подругу — весну, тебе так хотелось поиграть на лугу и на песочке, а теперь ты уходишь?»

Седой старик по-прежнему читает один стих за другим, перелистывая дрожащей рукой страницы молитвенника. Молитвенник — его опора в тяжелые минуты жизни, и когда он молится, ему кажется, будто что-то еще связывает его с дорогой покойницей. Замолкнет пение — и оборвется и эта последняя ниточка.

Арно поднимает голову и чувствует, как горячая струя пробегает у него по спине. Поодаль, между могилами, весело смеясь, проходят Имелик и Тээле. Арно быстро прячется за спины людей; ему вдруг кажется, что он и сам сейчас кого-то хоронит. Там, в земле, рядом с чужим ему ребенком, погребен и еще кто-то, кого он потерял навсегда.

«О чем они могут сейчас говорить,— думает он несколько минут спустя,— и почему они так смеются в эти горестные минуты, когда сердца людей чуть не разрываются от скорби?»

Он отходит от могилы и, стараясь держаться за деревьями и кустами, идет следом за Имеликом и Тээле. Ему, конечно, теперь совершенно безразлично, куда они пойдут и что будут делать, но все-таки... Хотя бы несколько слов услышать из их разговора. Он пробирается по другой тропинке им навстречу и останавливается, притаившись за толстым вязом. Тээле и Имелик подходят все ближе.

А вдруг они его заметят? Как некрасиво, что он стоит здесь и высматривает, словно вор. Он это делает в первый и, конечно, в последний раз в жизни, только бы на этот раз сошло благополучно! Уходить уже поздно, голоса приближаются, уже слышно хихиканье Тээле и раскатистый смех Имелика.

Арно чувствует, как колотится его сердце и колени как будто немеют. Он едва держится на ногах. Он готов уже выйти из-за дерева, признать свою вину, попросить прощения, но... но уже поздно. У него перехватывает дыхание.

— Я тебя уже давно здесь жду, думал, ты и не придешь,— говорит Имелик, грызя конфету.

— Никак не могла раньше,— отвечает Тээле,— сестренка пристала, хотела со мной идти. Я едва от нее отвязалась, сказала, что иду в лавку за конфетами.

— Ха-ха-ха! — хохочет Имелик.— Ты, значит, и врать умеешь. А я думал, ты всегда правду говоришь.

— А что мне было делать, раз она привязалась?

— Ну да, но несколько конфет ты ей все-таки отнеси. На, отнесешь ей.

Голоса удаляются и, наконец, совсем затихают. Арно стоит у дерева, словно пригвожденный. Что? Что сказал Имелик? «Думал, ты и не придешь...» Значит, они заранее сговорились сегодня встретиться на кладбище! А он, Арно, еще вчера, возвращаясь домой, надеялся снова отвоевать Тээле. Нет, нет, теперь она для него окончательно потеряна.

XXI

Удивительное дело — именно теперь, когда Арно уже не на что больше надеяться, у него отлегло от сердца. Солнечные лучи и старая ива у проселочной дороги кажутся ему еще более близкими друзьями, чем прежде. Только с ними хочется ему говорить и делиться своей печалью.

Он смотрит по сторонам, читает на ближайшем кресте надпись, годы рождения и смерти, высчитывает, сколько лет прожил этот человек, потом, озираясь, направляется к воротам. Он ни за что не хочет попадаться на глаза Имелику и Тээле.

Но, выйдя на шоссе, он с испугом видит, что те тоже уже вышли с кладбища и медленно шагают по направлению к хутору Рая. Значит, для него путь домой закрыт. Лучше всего сейчас пойти в школу и посмотреть, много ли ребят уже вернулось из дому. За это время Имелик и Тээле успеют добраться до хутора, а если на обратном пути Арно и повстречается с Имеликом,— беда невелика, тот ведь будет уже один, без Тээле.

В коридоре школы ему навстречу тянет сырым, спертым воздухом; из приоткрытой двери кладовки пахнет заплесневелой пищей, и Арно делается противно.

Он вспоминает, как они однажды по приказанию кистера мыли кладовку.

В субботу утром несколько ребят постарше поднялись чуть свет, нагрели в кистерской бане полный котел воды, стали носить ее ушатами в кладовку и выливать на пол.

Как раз когда Арно пришел в школу, самым маленьким школьникам сунули в руки по метле и погнали их в кладовую мыть пол и полки. Это необычное занятия ребятам очень понравилось, и многие из

них работали с таким азартом, что забрызгали себя с ног до головы. Результат был тот, что грязь с пола размазали еще и по стенам и полкам.

Арно входит в класс. Тишина. Только в спальне в полном одиночестве — Куслап, он сидит, сгорбившись, на кровати в точно такой же позе, как в то воскресенье, когда Арно швырнул конфеты в лицо Имелику. Странный мальчуган этот Куслап — он, видимо, ежедневно проделывает одни и те же движения и живет лишь для того, чтобы выполнять свои обязанности, а все остальное на свете его не касается. Лишь бы другие ребята оставили его в покое, сам он никого не тронет. Держит он себя тише воды, ниже травы и готов был бы, пожалуй, жить даже где-нибудь в щели, как сверчок, будь это возможно.

— Куслап! — окликает его Арно.

Тот поднимает глаза.

— Неужели тебе не скучно?

Куслап смотрит на Арно непонимающим взглядом; он и не знает, что такое скука. Когда ему скучать: дома его погоняли, как скотину, да и тут, в школе, немало приходится работать.

— Вечно ты сидишь здесь один,— снова начинает Арно,— неужели тебе не скучно? Вышел бы во двор погулять, смотри, какая погода. Еще денек-другой, и снега совсем не останется. Скоро трава зазеленеет.

Куслап неподвижно глядит перед собой и вдруг начинает быстро моргать глазами. Какая погода... Не все ли ему равно, какая погода. А что снег тает — это ведь естественно, время такое. Лучше даже, чтобы он так быстро не таял, тогда и стадо не выгонят так рано и ему, Куслапу, можно будет дольше побыть в школе.

— О чем ты задумался, Куслап?

— Ни о чем.

— Пойдем во двор.

— Не могу. Имелик велел приготовить ему задачи да еще принести булку из лавки и мясо зажарить. Когда вернется, ужинать будет. Ты не знаешь, есть еще огонь на кухне?

— Когда вернется — ужинать будет... Нет, не знаю, есть ли сейчас огонь или нету. Не знаю, не

знаю... Иди посмотри, может, и есть. Неужели ты всегда должен делать то, что Имелик велит?

— Да.

— Ну что ж, делай тогда. Делай... Послушай, Куслап, ты все еще на меня сердишься, что я тебя тогда душил? Сердишься? Скажи, сердишься?

Едва заметная тень удивления скользит по лицу Тиукса: вот еще о чем вспомнил! Или он, может быть, сегодня опять собирается его мучить?

— Нет, Куслап, ты прости меня, я тебя больше никогда не трону; делай что хочешь, показывай или не показывай Имелику задачи — дело твое. Видишь ли, Куслап, если б я вдруг умер, то получилось бы очень нехорошо, что ты на меня еще злишься. А если ты умрешь, мне будет очень грустно, что ты меня не простил. Прощаешь? И не сердишься больше? Скажи наконец, сердишься ты или нет?

Молчание. Почему этот Тали с ним так разговаривает?

— Куслап! Ты что, не понимаешь, о чем я тебя спрашиваю? Ведь я тебе сделал больно, верно? И теперь прошу прощения. Прощаешь?

— Но я должен Имелику задачи показывать,— едва слышно отвечает Куслап.

— Показывай, показывай сколько угодно. Об этом-то я сейчас и говорю. Я тебе уже не запрещаю. Но ты на меня не сердись.

— Я пойду лучше посмотрю, есть ли на кухне огонь.

Нет, от него можно было прямо в отчаяние прийти!

— Глупый ты мальчик, Куслап,— воскликнул Арно, пытаясь подавить в себе злость, которую вызывало в нем безразличие Тиукса.— Ну иди смотри и возвращайся, вместе в лавку пойдем.

Куслап сходил на кухню, вернулся в спальню и грустно произнес:

— Нет огня.

Нет огня... Это было сказано с такой печалью, что Арно стало искренне жаль Куслапа. Будь хоть малейшая возможность, Арно и сам помог бы ему поджарить для Имелика мясо.

— Пойдем в лавку, принесем булок. Может, Имелику хватит одних булок, если ты ему скажешь, что не было огня.

— Пойдем.

В лавке Арно застал батрака Марта — тот, набив себе карманы пачками табака, собирался идти домой.

— А, и ты здесь,— сказал Батрак,— что ты покупаешь?

— Булки.

— Ну да, пригодится. День воскресный. А деньги есть?

Только теперь Арно вспомнил, что у него нет ни копейки денег. Батрак засмеялся и протянул ему пятикопеечную монету.

— Может, мало? — спросил он.— Могу и больше дать, да тебе больше не съесть, чем на пятак.

— Булочек на пять копеек! — тоненьким голоском попросил Куслап. У прилавка, рядом с другими покупателями, он казался таким крошечным, что прямо страшно делалось, как бы его не растоптали.

— Я пойду обратно в школу, домой меня не ждите,— сказал Арно Марту.— Может, только к вечеру вернусь... А если не вернусь, значит, я заночевал в школе. Мне нужно остаться. Утром, когда на маслобойню поедешь, привези мои книги.

Так лучше всего. Если сейчас пойти домой, то утром по дороге в школу можно случайно встретиться с Тээле. А он больше не хочет с ней разговаривать. И ждать... у проселочной дороги... нет, теперь он больше никогда не будет ее ждать. Теперь он знает все и будет держаться в стороне, чтобы не мешать им.

К тому же ему необходимо сегодня повидаться с Тыниссоном.

Купив булочек, он отдает их все Куслапу и с радостью замечает, как на лице бледного невзрачного человечка появляется улыбка.

XXII

Тот же день, вечером.

Школьники ложатся спать. Собрались почти все, кроме нескольких человек, которые должны прийти утром, да еще тех, кто вообще не ночует в школе. Кое-кто из ребят еще возится в классной, спеша закончить заданные уроки. Все очень боятся кистера — тот терпеть не может, когда после положенного часа ребята еще не спят и из-за нескольких учеников в классной горит свет.

Спальня освещена тускло. Висячая лампа на потолке — совсем ветхая, и стоит только подкрутить фитиль и сделать огонь побольше, как она сразу начинает коптить.

Некоторые ребята уже разделись и залезли под одеяла, остальные, полураздетые, ходят друг к другу «в гости», присаживаясь на чужие кровати; обычно это заканчивается тем, что непрошеного гостя угощают подушкой по голове и гонят прочь.

Арно нашел себе пристанище на кровати Сымера, рядом с Тыниссоном, и сейчас из-под одеяла следит за возней товарищей. Ребята кажутся ему теперь не такими, как всегда, может быть, оттого, что до сих пор он их видел только днем и совсем не знал, как они проводят вечерние часы.

Имелик в одной жилетке сидит на краю постели и играет на каннеле; это «сонный марш», как он сам его называет.

У Тоомингаса вместо чулок портянки, на ночь он вешает их на печку сушиться, и они свисают оттуда, точно флаги.

У малыша Лесты поверх нижней рубашки надет потешный пестрый лифчик, в котором Леста очень напоминает божью коровку.

А у Кезамаа такая темная и грубая рубашка, что

прямо страх берет; кажется, будто вместо рубахи он натянул на себя мешок из-под соли.

Петерсон стоит, скрестив руки, у изголовья постели и молится на сон грядущий.

Он, Арно, тоже, конечно, молится, но не так, на виду у всех, а тайком, под одеялом: тогда кажется, будто ты беседуешь с богом и жалуешься ему на свое горе.

Лимаск, лежа в кровати, еще раз повторяет заданные на завтра уроки. Случается, что он продолжает бормотать себе под нос даже тогда, когда в комнате уже погасили свет. Если он что-нибудь забывает, то будит соседа и спрашивает у него.

У некоторых ребят дурная привычка: они состязаются, кто покрепче «бабахнет», и изо всех сил стараются не уступать первенства.

Кто-то жалуется, что всегда, ложась в кровать, чувствует, будто у него на ноге, под ногтем большого пальца, заноза; боль эта мешает ему и не дает уснуть.

Другой мальчуган рассказывает о своей беде. вечно он во сне куда-то падает.

А там, в самом темном углу комнаты, мальчик, которого при тусклом свете лампы даже не разглядеть, самым серьезнейшим образом разъясняет значение снов.

Но сосед его Виппер заявляет, что все это пустая болтовня и бабьи сказки и что он вообще ничему не верит.

Кяэрика мучают мозоли, и он обещает тому, кто посоветует от них хорошее лекарство, «все что угодно».

Вообще подобные жалобы изливаются больше по вечерам — днем у всех столько спешных дел и всякой возни, что некогда думать о телесных недугах.

Одно только поражает Арно: Имелик спокоен как всегда, он даже и не заикается о том, что гулял сегодня с Тээле на кладбище. Он очень увлечен своим «сонным маршем» и вряд ли даже думает о Тээле. «Ну и налопался я сегодня конфет!» — вот все, что он сказал. Но где и с кем — об этом ни слова.

Наконец появляются в спальной и те мальчики, что сидели в классе, и тоже начинают раздеваться. В классной темно, там поднимается отчаянная мышиная возня. Среди ребят речь заходит о привидениях и домовых.

— С моим дедушкой раз такая штука приключилась,— говорит Тоомингас, садясь в постели.— Старик иной раз, как разойдется, начинает рассказывать, а вообще-то он не из говорливых.

— А что за штука такая? — спрашивает кто-то.

— Подождите, я расскажу,— начинает Тоомингас.— Дедушка мой тогда еще был совсем молодой. Как то в волости у них помер нищий, звали его Тынисом, а очередь лошадь давать как раз дошла до дедушки. А жил он тогда где-то в Пыльтсамааском уезде... Это он уж потом перебрался сюда, в Паунвере.

— Да не все ли равно, где он жил, ты дальше рассказывай! — нетерпеливо кричат из угла.

— Ну, так вот,— продолжает Тоомингас.— Тынис этот, значит, помер, а был он толстый такой старик, с огромным пузом,— ну да, помер, делать нечего, приходится дедушке везти его хоронить. Ах да, это не так было — они вдвоем поехали, на двух лошадях. Да, правда, правда, для похорон всегда брали двух мужиков: того, чья очередь подошла, и того, кто следующий был на очереди, ведь одному человеку покойника в могилу не опустить.

— Да еще такого громадину, как Тынис,— замечает кто-то из слушателей.

— Ну, значит, вдвоем,— продолжает Тоомингас.— Запрягли двух лошадей в одну телегу и — делать нечего — поехали к богадельне. Ах да, я еще забыл сказать: кладбище от богадельни было, ну, так... верстах в семи или в восьми. Едут, значит, они, дедушка и сын соседа — тот тоже был молодой парень, как и дедушка,— ну да, едут они к богадельне и взваливают Тыниса на телегу. А погода была жаркая и от покойника вонью несло.

— Это, значит, летом было? — спрашивает Кезамаа.

— Ну да, летом, зимой ведь жары не бывает. Ну, так вот, сами они тоже кое-как влезают на телегу, зажимают носы и едут. Едут. А по дороге, верстах в трех от богадельни — трактир. Соседский сын и говорит дедушке. «Зайдем, опрокинем по четвертушке, может, тогда и вонь эту не так замечать будем». Дедушка соглашается: «Пошли»,— говорит. Словом, опрокинули они по четвертушке да еще полштофа на дорогу взяли. Семь копеек стоил в то время штоф водки.

— Чего ж было не пить,— вставляет Тыниссон.

— Ну да, дедушка и говорит,— продолжает Тоомингас,— что если в кармане хоть пятак водился, так это уже были большущие деньги, на них можно было в стельку напиться. Ну хорошо, значит,— взяли они полштофа с собой на дорогу. Но мужики, раз уж хлебнули малость, их еще больше охота разобрала: не успели они отъехать от трактира, как в полштофе ни капли не осталось. Проехали еще немного и давай петь. «Моя отчизна дорогая...» и «Свобода — драгоценный дар» и...

— Вот черт, как они покойника хоронили! — восклицает Имелик.

— Ну да,— подтверждает рассказчик,— дедушка и говорит: разума у него в молодости ни на грош не было. Ну ладно... На чем это я остановился? Ах да, едут, значит, они и распевают. А дорога лесом шла. Соседский сын — звали его Антс — в это время заснул. Дедушка, правда, и тряс его, и будил: «Проснись,— говорит,— что ты, бес этакий, спишь! Получается, будто два покойника и один могильщик; куда я поеду, люди засмеют». Но Антс ни в какую — знай себе храпит. Дедушка задумался: что тут будешь делать? Так ничего и не придумал, а у самого перед глазами тоже деревья пляшут — что ты сделаешь? «Ну,— решил он тогда,— отведу я лошадей чуть в сторону от дороги и подожду. Проснется Антс — тогда дальше поедем». А сам думает: «Я-то не засну, присяду у канавы да покурю».

— Ха-ха, а сам, конечно, тоже заснул,— вмешивается Имелик, пытаясь предугадать ход событий.

— Погоди, погоди, дай мне договорить,— отвечает Тоомингас, сам увлеченный своим рассказом.— Са-

дится он у канавы, дедушка-то мой, н курит. Но вскоре начинает носом клевать: клюк, клюк. Дремлется ему. Знает, что спать никак нельзя, а все-таки растягивается на земле и кладет одну ногу на другую, чтобы, когда нога соскользнет, сразу проснуться,— знаете, как это делается. Ну так вот, думает он: «Вздремну чуточку». Дремлет. Да так долго, что уж и нога с ноги упала, и солнце закатилось, а он все спит. А когда просыпается, виднт — ночь.

— Ох ты черт! — вскрикивает кое-кто нз слушателей.— Ну, а что потом было?

— Что потом было? — продолжает рассказчик.— А вот слушайте, что было. Дедушка просыпается, оглядывается и начинает себе голову ломать: куда это меня, черт его дери, занесло? Смотрит — телега опрокннулась в канаву, крышка с гроба соскочнла, мертвец наполовину вывалился. Одна лошадь совсем с постромок сорвалась н пасется поодаль, а вторая из оглобель выскочила и вот-вот в хомуте задохнется. Ну, вскочил тут дедушка, высвободил лошадь и начинает все как следует рассматрнвать. Антс каким-то чудом оказался на телеге и спит себе рядом с гробом — только храп стоит. А у покойника лнцо все раздулось — смотреть страшно. Дедушка давай Антса буднть, толкает его под ребра так, что только держись. А тот не просыпается. Скорее Тыниса разбудншь, чем Антса. Тут дедушку страх разобрал. Ночь, думает, лес, жнлья вблизн не вндать... Мертвец рядом... Антс спнт... Под конец его даже сомненне взяло — Антс лн это на самом деле? Бог знает, кто это такой, бог знает, что это за лошадь, что за телега. А за кустамн, там... словно бы кто-то на корточки прнсел, за каждым кустом — такой вот...

— Тоомингас прикладывает ко лбу указательные пальцы обеих рук н шевелит ими, давая понять, что дедушке почудилось, будто у притаившихся за кустамн были на голове рога.

— Вндит дедушка — попал он в беду,— продолжает рассказчик, помолчав с минуту.— Начинает бога поминать. Собнрается уже прочесть «Отче наш», как вдруг смотрнт — по дороге ндут двое... все в белом.

«Ну,— думает дедушка,— тут мне и конец, теперь мне живым не уйти; вон еще и новые появились». Перепугался насмерть, только и смог, что ничком на землю упасть и глаза зажмурить. Хоть лицо, думает, цело останется.

А белые тени все ближе. Дедушка лежит ни жив ни мертв. Вдруг слышит — говорят между собой почеловечьи, белые-то эти, которые по дороге идут. Поравнялись они с телегой — а это две бабы в белых платках! Дед рад-радешенек, что те людьми оказались. Поднимается и окликает их.

Ох ты господи, бабы как глянут в канаву, да как заорут, прямо страх, да как бросятся наутек вприпрыжку, даже не оглянулись! А дедушка думает: «Еще и эти уйдут, оставайся опять один». Пустился и он бежать вслед за бабами. «Стойте,— кричит,— я не леший»! Да где там! Бабы словно за зайцами гонятся, к деревне бегут, а сами визжат не своим голосом. На опушке леса деревня была. Дедушка опять подумал — а поди знай, кто сейчас за ним самим гонится,— да и пустился за бабами вдогонку, что было духу. До тех пор бежал, пока до первого хутора не добежал. А бабы — юрк! — и в избу: леший, кричат, за ними гонится! А в лесу, мол, целая куча всяких страшных тварей, и мертвец там, и у канавы еще какие-то, и из кустов выглядывают... А один, говорят, за ними до самого двора бежал. И кто их знает, чего они только там не наплели.

Ну, дед мой тоже туда, на хутор. Бабы как услышали, что в сенях кто-то возится, снова кричат: «Это он! Сюда идет!» Хозяева перепугались, ребятишки под кровать забились, собаки завыли — словом, такая страшная кутерьма поднялась, что деду хоть бери да обратно в лес поворачивай. В конце концов удалось ему растолковать, что он никакое не привидение, что он человека хоронит, что дело обстоит так-то и так-то; пусть идут ему на помощь. Ну, тогда несколько мужиков с ним пошли, привезли покойника на хутор и на ночь оставили во дворе, а на следующий день похоронили. Вот какая штука с моим дедом приключилась. Вообще-то он не из говорливых, а иной раз, как разойдется, кое-что и расскажет.



— Ох, черт, бабы-то как перепугались! — смеются ребята.

— И все эти домовые да привидеиия — все такие,— замечает Аитс Виппер. Ои не верит в сиы, да и вообще не суевереи.— И чаще всего с иими женщины дело имеют. Жеищииам в любом темиом уголке привидения мерещатся. Им черти и домовые так же нужны, как Имелику каннель. Пустая брехия!

— При чем тут я! — отмахивается Имелик.— Каннель — это каииель, а привидеиие — это привидеиие. А если хотите, я вам расскажу, как мой дедушка в мызиом лесу хворост собирал. О чертях и домовых тут, правда, речи нет, но раз уж заговорили про дедушек...

— Валяй, валяй! — кричат ребята.

— Отправился дед мой в имеиие иа отработки,— рассказывает Имелик, тихо поглажнвая струиы канеля.— Поставили его с другими мужиками на хворост: столько-то и столько-то вязаиок чтоб заготовили за день. Дед у меия был человек сиоровистый, после обеда уже и справился со своей работой. Стал ои чужие вязаики пробовать: катится вязаика с пригорка — значит, хороша; не катится — зиачит, плоха. Смешит ои мужичков всякими шутками-прибаутками, то петухом запоет, то курицей закудахчет, то по-собачьи залает, так что не отличишь, собака это или человек.

— Ну, хорошо, хорошо,— торопят Имелика нетерпеливые слушатели,— ты дальше рассказывай.

— Едут оии вечером, везут хворост к овину,— продолжает Имелик.— А дед мой со своим возом самый последний. Овинщик прииимает хворост и говорит деду: «Выгружай свои вязаики, потом свезешь меня на мызу». Дед выгружает хворост, овиищик садится иа телегу. Да где тут! У деда веревки так запутались, что ие разберешь, где коиец, где иачало. Дед ругается, проклинает иа чем свет стоит того, кто ему веревки спутал. В коице концов у овиищика терпение лопнуло: иу тебя к лешему с твоими веревками! — и пошел пешком. И тут у деда веревки в один миг распутались, кладет он хворост обратио иа воз — и давай в лес! В лесу спрятал вязанки в самой чаще,

чтобы на другой день можно было незаметно их прихватить. И так делал каждый день. Другие мужики диву давались — как это он, черт возьми, так быстро со своими вязанками справляется? Дедушка только под вечер чуть повозится для вида, да ему уже и делать нечего: воз нагружен — и поехал себе!

— Ах ты бес, вот хитрый старик! — восторгаются ребята.

«А теперь расскажи, как ты сегодня на кладбище ходил и с Тээле конфеты ел»,— вот что Арно хотелось бы сказать Имелику; но он прекрасно понимает, что говорить этого нельзя.

В это время другой мальчуган, снова заводя речь о привидениях, начинает рассказывать, как один мужик поспорил с другим, что пойдет ночью в часовню и там забьет в гроб гвоздь. Идет мужик в часовню, вбивает гвоздь куда нужно и собирается уйти — не может. Страх его берет, мерещатся ему всякие мертвецы и привидения — и он от страха умирает. А утром видят — он нечаянно себе полу куртки гвоздем к гробу прибил.

История эта уже почти всем знакома, поэтому она долгого обмена мыслями не вызывает; потом маленький Леста начинает рассказывать, как он с дедушкой ловил налимов.

Тааниэль Леста, шестидесятилетний старик, берет однажды на спину сачок и идет к речке. Внук семенит за ним, волоча по земле огромный мешок для рыбы. Старик раздевается и лезет с сачком в воду; пошатывает подмытый берег, машет в воде шестом, и вода в реке становится такой мутной, что смотреть жутко. Глядит внучек с берега на деда, а тот ворочается в реке, как кит. Дед — рыбак знаменитый, и нет на свете таких рыболовных снастей, с которыми он не умел бы обращаться. Борода у него вся в грязи и водорослях, он похож на водяного. Наконец он поднимает сачок — а там огромный налим!

— Ага, попался-таки, давно я за тобой охочусь. На, возьми, внучек, сунь его в мешок да смотри, чтобы он не выскочил,— говорит дед, выбрасывая на берег скользкую рыбину.

Мальчик кладет рыбу в мешок и смотрит, что же дед будет делать дальше.

— А вот и второй,— радостно вскрикивает дед.— На, клади в мешок да смотри, чтобы он не выскочил.

Внук кладет и эту рыбу в мешок и смотрит, что же дед будет дальше делать. Через несколько минут у деда в руках оказывается еще один налим. И все как на подбор, большие, красивые. Выловив четвертого налима, дед вылезает из воды и идет к мешку посмотреть, «сколько же их в конце концов набралось».

А в мешке — ни одного налима.

— Ох ты, негодный мальчишка! — кричит дед.— Да ты, оказывается, его из мешка выпускал, и я все время ловлю одного и того же налима!

— Я вам тоже расскажу одну историю про привидение,— говорит Тыниссон и начинает рассказывать, не дождидаясь согласия слушателей.

— Прошлым летом пошли мы с батраком на выгон за лошадьми. Было уже совсем темно. Вернулись мы с сенокоса поздно, потому и не могли раньше за лошадьми сходить,— рассказывает он не спеша.— Приходим на выгон, останавливаемся у пригорка Ребане и смотрим, где же наши лошади. И вдруг батрак хвать меня за руку: «Гляди, гляди, что это?» Смотрю я и вижу: что-то белое, а что такое — в темноте не разберешь. Движется меж кустов. Стоим мы все да смотрим, а батрак у меня за спиной спрятался.

— У тебя за спиной? А за чью спину ты сам спрятался? — спрашивает Имелик насмешливо; от Тыниссона нечего ждать интересного рассказа — это можно было и заранее предвидеть.

— А я норовил батраку за спину спрятаться,— простодушно отвечает Тыниссон.

— Ха-ха-ха! — смеются ребята.

— Стояли мы так, стояли,— бормочет Тыниссон, словно рассказывая больше самому себе, чем другим,— а потом осмелели. Начали потихонечку к кустам подбираться. Подходим — а там никакого привидения, да и вообще никого нет; просто это теленок был с соседнего хутора. Смотрит он на нас и мычит:

му-у, му-у. От стада отстал и стоит, как баран,— ноги расставил и на нас смотрит.

— Я же говорил,— доносится из угла торжествующий голос.— Все они такие, эти привидения. Брехня!

— А вы, значит, с батраком так струсили, что и теленка испугались? — допытывается один из слушателей.

— Да что поделаешь,— бормочет Тыниссон.

— Ну, ты — еще куда ни шло, а как же это батрак таким трусом оказался?

— Батрак еще больше боится, чем я. Мне бы и в голову такое не пришло, а батрак сам на меня страху нагнал: да, да, там кто-то есть!

— Что ж это за труснишка такой?

— Да такой низенький, толстый парень, как кочерыжка. Ершей здорово умеет есть: положит ерша в один угол рта, а из другого одни косточки валятся.

— Ого! Да это прямо ершеедная машина какая-то,— замечает кто-то из ребят, до сих пор не принимавший участия в разговоре, но, видимо, часто имевший дело с ершами.— Ерша надо со злостью есть, как собака ежа ест, со всеми костями, есть прямо ложкой. В ерше ничего опасного нет, одно только перо под брюшком — оно колючее, как шип; а если его вытащить — тогда уплетай вовсю, чтоб под зубами трещало, только бы в ершах песку не было. У ерша, дьявола, мясо сладкое, были бы только они, черти, чуть побольше. А то, будь они неладны, мелюзга такая, как точка над «і». А как умеют червяков с крючка утаскивать: прямо как слизнет червяка, дрянь этакая. Летом, когда погода тихая, они, подлецы, вокруг крючка так и кружат, носами тычут — тук, тук.

Ребята рассказывают друг другу еще всякую всячину — все, что на ум приходит. Но о чем бы ни шла речь — о людях или событиях — всегда люди эти жили, по словам рассказчиков, «в наших краях» и события происходили «в наших местах».

Так, где-то «в наших краях» был мужик, который никогда не менял рубашки. Каждую субботу он пере-

ворачивал рубашку на другую сторону, приговаривая: «Как хорошо, когда у тебя чистая рубаха на теле».

Или же в другой деревне, но опять-таки, разумеется, «в наших местах», жил человек с деревяшкой вместо ноги; он перед дождем всегда жаловался, что у него на деревянной ноге пальцы ноют.

А кто-то из ребят рассказывает об одном мужике «из наших краев»: он такой был желчный, что когда дождь намочил скошенную им траву, он в сердцах выбросил из сарая и сухое сено.

Возле Тыукре, оказывается, живет скупой хозяин, который батраков голодом морит. А когда батраки отказываются хлебать жидкий суп, хозяин выходит из горницы, пробует суп и говорит: «Хм, чего ж вам еще надо! Суп хороший, хоть бери да сам ешь!»

Тыниссон добавляет коротко, что в старину хлеб был такой черный, что собаки, увидев краюху, принимались лаять.

А потом кто-то, уже совсем сонный, задает загадку:

— В какой постели не бывает клопов?

И так как никто отгадать не может, то он сам отвечает за других: клопов нет в постели Калевипоэга[1].

Постепенно голоса в спальне затихают. Многие ребята уже храпят, высвистывая носом всевозможные мелодии. Один скрипит во сне зубами — у него, по мнению тех, кто еще не уснул, в животе черви завелись. Другой почесывается и бормочет что-то непонятное. В углу кто-то зевает и поворачивается на другой бок. Имелик раздевается последним, залезает в постель и довольно громко кричит:

— Ну, ребята, теперь можете тушить свет.

Но ни у кого нет особенного желания идти тушить свет. Имелику возражают.

— Ну да, сам улегся, а теперь пусть ребята тушат. Ты последний ложился, сам, пожалуйста, и туши. А других нечего заставлять!

---

[1] Ложами Калевипоэга, героя эстонского народного эпоса, называли в ряде местностей продолговатые холмы, где, по преданиям, отдыхал Калевипоэг. *(Прим. пер.)*

— Тиукс, пойди ты,— говорит Имелик Куслапу; тот еще не спит, хотя глаза у него закрыты. Услышав приказ Имелика, он сразу начинает шевелиться в кровати.

Но Имелик уже вылез сам и встает на табуретку, чтобы потушить лампу.

В ту минуту, когда он собирается прикрутить фитиль, взгляд его падает на окно. Со двора через стекло заглядывает какая-то омерзительная рожа, и жуткий таинственный голос произносит: «Тот-тот-тот!»

Имелик застывает на месте, как изваяние, с протянутой к лампе рукой, и остекленевшими глазами смотрит в окно.

XXIII

Ну, чего ты там загляделся! — кричат со всех кроватей.— Туши свет!

Но Имелик по-прежнему оцепенело смотрит в окно, потом слезает с табуретки и пятится к стене. Лампа продолжает гореть.

— Там, за окном, кто-то стоит,— бормочет он дрожа, и ребята, находящиеся поближе, видят, что обычно такой хладнокровный и невозмутимый музыкант трясется всем телом.

— Кто ж там такой? — спрашивают его.

— Не знаю,— отвечает Имелик.— Лицо такое... такое страшное, как будто и не человеческое. Красное... красное... а белки так и сверкают.

— Кистер, кто же еще,— говорит кто-то.

— Нет, нет, это не кистер. Это вообще был не человек. Совсем не человеческое у него лицо. Это было... это было...

— Привидение,— шепчет мальчуган, верящий в сны, и натягивает на голову одеяло.

От таинственного шепота просыпаются и те, кто уже успел уснуть, и тоже испуганно смотрят на окно. Двое маленьких мальчуганов, которые спят у самого окна, быстро вскакивают и бегут в угол. Если бы эти страшные вещи говорил кто-нибудь другой, это не вызвало бы испуга, но раз такой храбрец, как Имелик, здесь дрожит, отступая все время к стене, значит, и в самом деле что-то есть...

— Чепуха! — слышится голос Виппера у стены, и он без малейших колебаний идет к окну.

— Не ходи! — громко шепчет Имелик.

— Молчи! — отвечает тот и машет рукой.— Пугаешь тут ребят на ночь глядя, они даже выйти побоятся... Еще наделают...

С этими словами он, прильнув лицом к окну, вглядывается в темноту двора.

— И мышонка не видать! — восклицает он через несколько минут.— Тихо, как и всегда ночью. Небо ясное, звезды поблескивают, словно тоотсовская салака, на дверях прибитая. Наверно, подморозило.

Он направляется к своей кровати и, повернувшись к Имелику, добавляет:

— Эх ты, маменькин сынок! Говорили тут о привидениях, а ты их сразу и увидел. Или ты, черт, всех нас дурачишь?

Виппер останавливается — он готов вытащить Имелика из угла, если тот хоть чем-нибудь выдаст себя и окажется, что он пошутил. Но Имелику сейчас не до шуток.

И Виппер, этот ни во что не верующий человек, собираясь лечь в постель, еще раз с иронической усмешкой оборачивается и смотрит в окно.

— Это что такое? — шепчет он вдруг, подносит руку ко лбу и обменивается с Имеликом долгим вопросительным взглядом.

— Тот-тот-тот...— раздается за окном.

— Тсс! — шепчет кто-то из мальчишек и вскакивает на постели: при этом доска кровати с треском проваливается и падает на пол. В другое время никто не обратил бы внимание на этот шум, но сейчас он кажется таким гулким и страшным, что всех мороз по коже пробирает.

Падает что-то на пол и в классной комнате. Наверно, книга соскользнула с парты. Часы тикают все медленнее, будто вот-вот совсем остановятся. А когда они бьют одиннадцать, то бой их кажется таким громким, какого ребята никогда раньше не слышали.

— Черт побери! — вскрикивает вдруг Виппер.— Голову даю на отсечение, что этот призрак — наш старый знакомый... Ох ты, жулье проклятое!

С этим восклицанием он, как был, босиком, в одной рубашке, бежит в классную, с шумом отпирает дверь в коридор и с грохотом несется к выходу. Потом во дворе слышатся голоса, кто-то — топ-топ-топ! — пробегает мимо окон спальной, ударяет чем-то тяжелым о стену дома и вопит так, словно его режут.

— Господи Иисусе,— стонет Петерсон,— его там убьют!

Но в этот момент Имелик, ко всеобщему изумлению, громко смеясь, тоже бросается вон из комнаты.

В спальной наступает мертвая тишина. В открытую дверь коридора тянет холодом, сквозняк вот-вот погасит и без того тусклый свет. Стекло на лампе совсем почернело, от густого слоя копоти огонь кажется кроваво-красным. Со двора ничего больше не слыхать; лишь изредка доносятся слабые голоса, но звучат они издалека и никак не могут быть связаны с теми, кто только что пробежал по двору. Минуты тянутся томительно медленно. Как видно, Виппер и Имелик стали жертвами своей безумной отваги.

Но вдруг на крыльце раздаются громкие голоса, хохот и топот шагов по ступенькам. Это, безусловно, кто-то третий — ведь Виппер и Имелик выбежали босиком и их шаги не были бы так слышны. Кто-то в тяжелых сапогах входит в классную комнату, шарит у дверей, словно ища чего-то, потом уходит обратно в коридор, и голоса доносятся теперь уже из чулана. Арно кажется, что он узнает голос Имелика.

— Кто это может быть? — тихо спрашивает один из мальчиков.

Но загадка вскоре раскрывается. Слышно, как запирают двери кладовки и классной комнаты, и на пороге спальни возникают три фигуры — Виппер, Имелик и некто третий, кого вначале никак не узнать: лицо его скрывает жуткая маска.

— Глядите, поймали привидение! — хвастается Имелик и трясет закоченевшими ногами, красными, как клешни у вареного рака.

— Вон оно! — добавляет Виппер и быстро забирается в постель.— Такие они все, призраки эти. Все это — пустая брехня! Не выйди я посмотреть, вы бы потом всю жизнь говорили, что за окном привидение было.

— Тот-тот-тот...— издает странные звуки человек в маске.

— Да ведь это Тоотс, дьявол! — вырывается одновременно у нескольких ребят.

— А вы, дурачье, что думали,— отвечает Тоотс, снимая маску.— Решил я — дай-ка выкину штуку, напугаю ребят, посмотрю, что они будут делать.

А Имелик как глянул в окно, так и обмер, глаза выпучил, а потом давай к стенке!

— А чуть ты свое «тот-тот» сделал, я тебя сразу узнал,— говорит Виппер.

— Если б ты не выскочил и меня не поймал, я бы еще к кистеру под окно пошел и устроил бы ему «тот-тот-тот»! Интересно, что наш Юри-Коротышка подумал бы,— говорит Тоотс, размахивая подвешенным на шнуре красным шаром, величиною со средний кочан капусты.

— Что это у тебя такое? — раздается со всех сторон.

— Земной шар,— коротко и деловито отвечает Тоотс.

— Земной шар? А почему он красный?

— Красный, да... А каким же ему быть? Синей краски под рукой не было.

— Покажи!

— Не могу, он еще совсем сырой. Краска не обсохла. Утром посмотришь.

С этими словами Тоотс взбирается на спинку ближайшей кровати и подвешивает земной шар к балке потолка, чтобы он просох.

— А знаете, ребята,— говорит он, спрыгивая на пол,— знаете, где я только что был? На кладбище!

— На кладбище? Чего ты туда пошел? — спрашивают его.

— Чего пошел... Раз пошел — значит, дело было.

— Врешь!

— Чудак, чего мне врать? С какой стати? Не веришь — не надо. А на кладбище я все-таки был. И видел там кое-что...

— Что ты видел?

— Видел, ну... довольно-таки интересных тварей. Посмотрели бы вы на них — со страху до потолка подпрыгнули бы. А я... я такие слова знаю, что те со мной ничего сделать не могут.

— Не болтай чепуху, Тоотс,— рассерженно перебивает его Виппер, поправляя на себе одеяло.

— Как это чепуху, дурень, раз я собственными глазами видел. Шагах в десяти они от меня были, какая ж тут чепуха?

— Шагах в десяти! Ты от нас тоже в десяти шагах был, так не стал же ты от этого бог весть чем; Тоотсом был — Тоотсом и остался. Пришел бы ты немножко раньше, услышал бы тут, откуда привидения берутся. Все это — пустая брехня.

— А ты, чудак, дай мне сначала рассказать.

— Да катись ты к лешему со своими сказками!

С этими словами Виппер поворачивается на другой бок, и не проходит и нескольких минут, как он уже храпит.

А Тоотс усаживается на свою кровать и, раздеваясь, с увлечением начинает рассказывать о приключениях на кладбище.

— Я знаю такую вещь,— начинает он.— В старых паунвереских церковных книгах записано, что на том самом месте, где теперь часовня, в шведские времена стоял роскошный замок. Хозяина этого замка звали фон Йымм[1].

— Фон Йымм? Какая смешная фамилия! — изумляются слушатели.

— Не знаю, смешная или не смешная,— отзывается рассказчик,— а только в церковных книгах так записано. Ну, слушайте дальше. У владельца замка фон Йымма была дочь Розалинда.

— Розалинда? Я это имя уже где-то слышал,— вспоминает кто-то из ребят.

— Ты мог слышать,— продолжает Тоотс.— Розалинда же не одна и не две, их много. В старину бывало так, что если рыцарскую дочку звали не Розалиндой, так она и не считалась настоящей рыцарской дочкой. В замках все барышни были Розалинды, и все сплошь красавицы. Слушайте дальше. Розалинда эта тоже была красавица, и был у нее жених.

— А жениха как звали? — спрашивает Имелик.

— Жениха звали...— старается припомнить Тоотс.— Как же его звали...

— Ну, это неважно,— приходит ему на помощь Имелик.— Скажем, жениха звали фон Пымм[2].

---

[1] Jõmm *(эст.)* — толстяк.
[2] Põmm *(эст.)* — трах! бум!

— Нет, нет, погоди,— поправляет Тоотс.— Его звали не фон Пымм, а фон Сокк [1].

— Ага! Ну ладно, давай дальше!

И Тоотс продолжает рассказывать.

— У жениха этого, у фон Сокка, был заклятый враг,— говорит он, склоняя голову набок. Тыниссон спрашивает, как звали врага, но Тоотс не дает больше себя сбить.

— И вот отправляется жених Розалинды на войну. А враг его взял да и послал Розалинде фальшивое письмо, будто жених ее погиб. А жених н не думал погибать, враг просто соврал, чтобы Розалинду себе в жены заполучнть. Ну, однажды ночью подходнт этот враг к воротам замка и начинает трубить в рог. А прнвратник ему: «Чего тебе нужно? Чего ты тут ночью околачиваешься?» А враг в ответ: «Я знаменитый рыцарь фон... фон...»

— Фон Вымм [2],— подсказывает кто-то в углу.

— Ну нет, дурачье, если будете смеяться, я не стану рассказывать,— обижается Тоотс.— Не хотите слушать — не надо. Одно скажу вам, пропустите интереснейшую историю.

— Да кто же смеется,— успокаивает его Имелик.— Продолжай, мы слушаем. Но ты же обещал рассказать, что с тобой на кладбище случнлось, а начннаешь про всякнх Выммов и Пыммов.

— Выммов и Пыммов...— оправдывается Тоотс.— А как же я тогда объясню, зачем я на кладбище ходил? Я же должен рассказать, как дело было и как это вдруг в стене часовни очутился клад.

— Ах вот оно что, значнт, о кладе будет речь! — слышны восклицания со всех сторон.— Говори, говорн дальше. Мы не будем тебе больше мешать.

И Тоотс, уступая уговорам товарищей, продолжает.

— Ну так вот, трубит этот враг у ворот. А сторож ему: «Чего ты тут околачиваешься?» Враг в ответ: «Я знаменитый рыцарь... такой-то и такой-то». А сто-

---

[1] Sokk *(эст.)* — козел.

[2] Võmm *(эст.)* — удар, тумак; при царизме — презрительная кличка городового. *(Прим. пер.)*

рож опять: «Что же привело вас, ваша рыцарская светлость, в такой поздний ночной час к воротам замка знаменитого рыцаря фон Йымма?» Враг ему: «Не тебе меня расспрашивать, вшивая шкура, ты даже не стоишь того, чтобы я отсек тебе голову, как брюкву, и бросил собакам на съедение. Сейчас же ворота настежь — или я тебе так дам, что от тебя только мокрое место останется!»

Ну, испугался, конечно, сторож, но такой упрямый был мужик — в ответ как заорет: «Не пущу!» Рыцарь обозлился. «Наплевать мне на тебя!» — зарычал он и давай колотить мечом в ворота замка — у привратника аж в ушах загудело. «Впусти меня, не то... пусть явятся сюда пятьсот тысяч дьяволов и сожрут меня, если я не стану тебя до тех пор в смоле кипятить, пока ты не откроешь мне ворота!»

Тут старик затрясся весь от испуга — а что если возьмет, скотина, да укокошит, а у него, у сторожа, ребятишки еще маленькие, им еще в школу ходить, кто же им тогда с собой еду даст... Идет он будить старика Йымма — так, мол, и так, что мне с этим человеком делать, ругается и бушует за воротами, сумасшедший, не поймешь — пьяный он или что с ним такое. Старый Йымм сперва ничего толком понять не может, со сна только «ммых» да «ммых»,— а потом приходит в себя да как заорет — прямо эхо по всему замку покатилось: «Не впускать этого дьявола! Это же известный рыцарь-разбойник Сынаялг...» [1]

— Сынаялг! Эстонское имя! — вскрикивают слушатели.

— Ну да,— отвечает рассказчик.— Эстонское имя, поди знай, может, он и был эстонец. Кто их разберет. А только нет, нет! Погоди! Он вовсе не был Сынаялг. Его иначе звали.

Тоотс сует палец в рот и задумывается. Мальчишки с нетерпением ждут.

— Сийэпокк [2], черт побери, вот как его звали! —

---

[1] Sõnajalg *(эст.)* — папоротник.
[2] Искаженное немецкое Ziegenbock — козел.

выкрикивает Тоотс после некоторого раздумья.— Верно, Сийэпокк, да!

— Ну так вот,— продолжает он, снова поймав нить своего рассказа.— Старый Йымм, значит, ему: «Ты не впускай этого проклятого разбойника, его потом отсюда и на четырех волах не увезешь. Это же беспробудный пьяница, он вечно в корчме торчит. А теперь и сюда является по ночам скандалить. Я знаю,— добавляет затем старый рыцарь господин Йымм,— он хочет пробраться к моей любимой дочери Розалинде, но пусть шестьсот тысяч дьяволов глиняного цвета пятьсот тысяч дней и ночей грызут мое тело, ежели я пущу его на порог спальни моей Розалинды. Иди и скажи ему от моего имени, чтобы немедленно убирался отсюда, не то, хоть я и очень болен — у меня сильный насморк,— я встану с постели и воткну ему раскаленное шило...»

Делать нечего... Ковыляет привратник обратно к воротам и в темноте теряет свою палку: дело стариковское. Ищет он ее, ищет на ощупь по всему двору, топчется, как слепая курица.

— А фонаря у него разве не было? — спрашивают слушатели.

— Да где же там фонарю быть, раз не было,— отвечает рассказчик.— Кто ему фонарь даст, еще свечи тратить. Ну так вот, а Сийэпокк тем временем ломится в ворота, как безумный. От грохода просыпается наконец и сама Розалинда и выходит на вал посмотреть, кто это там с ума сходит. Поднимается она на вал, видит — Сийэпокк! И тут же в обморок падает — бац! — прямо вниз со стены. Сийэпокк хватает ее на руки и — давай домой! А привратник знай себе топчется во дворе, палку свою ищет.

— Это очень интересный рассказ,— замечает Имелик,— только ты страшно его растягиваешь. Скажи покороче, как это клад в часовне очутился и зачем ты туда ночью ходил?

— Покороче, покороче, вот чудак... Как я могу покороче рассказывать, раз в церковных книгах так записано,— возмущается Тоотс.

— Ну, так подробно там, наверно, не записано,— возражает Имелик.— Да и есть ли вообще в церков-

ных кннгах такая история? Может, ты в каком-ннбудь романе вычитал, а говоришь, будто из церковиой книги. Но нам все равно, главиое, рассказывай покороче.

— Знаешь что, Имелик,— отвечает рассказчик,— ты можешь спорить сколько угодно, а в часовне все-таки замурован большой горшок со стариииными монетами. Нужно только ночью туда пойти...

— Ага-а, ты, значит, н ходнл этот горшок разыскнвать.

— А ты думал, я в такое время на кладбище гулять пойду?

— Ах, вот как! Ну, ну, рассказывай дальше.

— Так вот,— продолжает нсследователь церковиых книг,— жених Розалинды, фон Сокк, возвращается с войны и руками всплескнвает: нет его невесты. Хватает привратннка за грудкн, трясет старнка и орет: «Куда ты мою невесту дел?» Прнвратник клянется всемн святымн, что ннчего не знает. Тогда фои Сокк к фон Йымму: «Где моя невеста?» А старый Йымм ему в ответ: «И не спрашивай лучше; заклятый твой враг Сийэпокк схватил ее и умчался с нею». Тут зять его поднимает меч к иебу и дает клятву жестоко отомстить. Он кляиется не оставнть от замка Сийэпокка камня иа камне. Клянется уиичтожнть н корчму, куда Сийэпокк пьянствовать ходнт. Ну, ладно...

Рассказчик поднимает глаза к потолку, поглядывает на свой глобус, почесываясь то тут, то там, н неожиданио заканчнвает свое повествованне.

— Ну да, так оио и было,— говорит он.— Жеинх бросился искать свою невесту и погнался за врагом, а старый барии Йымм горевал, горевал, что дочь его в плену у такого дикаря, да и... и помер... Но перед смертью замуровал все свон деньгн и драгоцениостн в стеие замка. Замок этот потом развалился, у развалнн его сделалн кладбище, а иа остатках стеи построилн часовню.

— А драгоцениостн и сейчас еще в стене?

— Ясно, в стеие, чудак, куда же они могли деваться? Кучер пастора даже план видел: в трех футах от северного угла...

— Ну хорошо, а Сокк нашел свою Розалинду? — спрашивает кто-то из слушателей.

— Да, нашел в конце концов. Но потом вернулся он и видит: замок разрушен, и призраков там видимо-невидимо. Ну, он и не стал с ними возиться, ушел и поселился в Кассинурме,— дополняет Тоотс свой рассказ.

— И живет там до сих пор, если еще не помер,— позевывая, заключает Тоомингас.

— Ну, а клад-то, клад? — допытывается Имелик.— Ты же говоришь, что ходил клад искать. Раздобыл ты его?

— Да... раздобыл! Попробуй так скоро раздобыть! Там его всякие шишиги охраняют.

— Кто, кто? Шишиги? — спрашивают слушатели с любопытством.— Это что такое?

— Сами подите посмотрите, что это такое,— с таинственным видом отвечает Тоотс.— Я пошел, так чуть было котомки не лишился. Вовремя успел огреть одного глобусом по голове, а тот повис у меня на мешке, как обезьяна, а сам только и знает: «вурра-вурра-вурра!» и «тот-тот-тот!» Что ты, нечистая сила, мне вурруешь и тотуешь!

— Постой, постой, говори яснее! — восклицают слушатели.— Кто же они такие и почему они у тебя котомку вырвать хотели? Что это, черти были?

— А то кто ж еще. А впрочем, поди знай, много там было всякой дряни вперемешку, в темноте не разберешь,— отвечает этот бывалый, видавший виды человек сердитым тоном, точно ему неохота пускаться в дальнейшие рассуждения.

Но это еще больше разжигает любопытство слушателей, и хотя большинство из них прекрасно знает, что Тоотс давно не в ладах с истиной, им все-таки хочется послушать, как он станет описывать свое ночное столкновение с «шишигами».

И Тоотс описывает его так.

— Иду это я по дороге,— начинает он,— глобус за плечами, котомка в руке... то есть нет, котомка у меня была за плечами, а глобус в руке — и думаю: «Для чего мне так рано в школу идти, вся ночь еще впереди, успею выспаться. Пойду, думаю, лучше по-

гляжу, авось удастся добыть клад старого Йымма; накуплю тогда нашим ребятам столько булок, чтоб до отвала наелись, а Юри-Коротышке скажу: «прощай!» Иду я к часовне, прислушиваюсь — ни звука. Меряю от северного угла пядью — две пяди это как раз фут,— отмеряю один фут, другой, третий, и вот я у того самого места, где спрятаны деньги и золотые цепочки. «Ну хорошо,— думаю,— а теперь надо поскорей слова сказать и камень отодвинуть».

— А что это еще за слова такие? — спрашивают ребята.

— Слова, ну! А как же ты, чудак, без слов клад получишь? Всегда сначала нужно сказать «кивнрюнта-пунта-янта-паравянта-василннги-сускитоваарн»; если клад откроется — хорошо. А без них, может, за ручку горшка и сумеешь ухватиться, но горшок с треском провалится сквозь землю, да и тебя за собой потащит, если сразу не выпустишь ручку.

— Вот дьявольская штука! Ну и возни же с ним, пока его достанешь, такой старинный клад,— совсем уже сонным голосом говорит Тоомингас.— Только как же... что это я хотел сказать? Ах, да... а как же эти слова... ты когда-то говорил, что ими только духов можно вызывать в ночь под Новый год... А когда клад ищещь, те же самые слова надо говорить?

— А ты спи лучше, чего мелешь! — сердито кричит Тоотс и, не задерживаясь больше на колдовских словах, продолжает рассказывать.

— Выговариваю я эти слова,— снова звучит в тишине спальной,— и осматриваюсь, где бы лом достать, чтобы за работу взяться. Зажигаю спичку и вижу — на земле огромная кость валяется. Ну, думаю, только бы эта падаль у меня в руках не завопила «умблуу! умблуу!» и не стала кровавую пену испускать, тогда все будет хорошо. Засовываю кость под камень и начинаю нажимать... вдруг слышу, за углом часовни кто-то почесывается и все время: «крыхва! крыхва!» Ну, думаю, что за оказия с нечистью этой, шелудивый он, что ли? Поглядываю в ту сторону — чего он там, старый хрен, чешется... а они тут как стали налетать — только и слышно: фи-и-у да плюх! фи-и-у да плюх! Только огненные полосы мелькают.

Я давай удирать. Они за мной! Оборачиваюсь, отбиваюсь мешком, а один — прыг! — ко мне на мешок! Ах ты, падаль, думаю, тебя еще не хватало! Двинул я его глобусом по башке — только синий дым пошел!

— Тоотс, сатана, — не выдерживает Имелик,— у тебя самого изо рта синий дым валит! Так здорово ты врешь!

— Ну и дурак же ты,— отвечает Тоотс,— стоит мне только рот открыть, а ты сразу — вранье! Ну скажи, с какой стати мне врать? Что я такое наврал? Не веришь — не надо. А коли хочешь, поди спроси... поди спроси, у кого хочешь.

— Ладно! — отвечает Имелик.— Ты, видно, всегда прав останешься.

В спальной затихает. Тоотс в последний раз заботливым взглядом окидывает свой глобус, потом забирается в постель и бормочет:

— Посмотрим, приснятся мне эти черти или нет. Может, и во сне на мои харчи набросятся? Но мешок сейчас в кладовке под замком, придется им немало повозиться, пока до него доберутся.

Тут он вдруг начинает громко храпеть и свистеть, как будто сразу крепко уснул, но вскоре опять садится в постели, поправляет на себе одеяло, кашляет и сморкается; потом выхватывает из-под соседней кровати ботинок и, швырнув его о стенку, сам же укоризненно восклицает:

— И чего вы дурака валяете, чего ботинками швыряетесь!

XXIV

Тыниссон, ты спишь? — тихонько спрашивает Арно, толкая соседа локтем в бок.

— Мм! — мычит Тыниссон.

— Спишь?

— Да, уже задремал.

— Послушай, я хочу тебе что-то сказать. Ты слышишь?

— Ну?

— Я сегодня был на кладбище и видел, как Имелик и раяская Тээле гуляли вдвоем.

— Ну и пусть себе гуляют.

— Но как это они так гуляют тайком, что никто не знает. Говорят, Имелик ей родственник, но я думаю, это только болтовня.

— Да кто их разберет.

На некоторое время воцаряется тишина, потом Арно опять шепчет:

— Я знаю, Тыниссон, ты никому не скажешь, поэтому я тебе и говорю. Мне очень грустно... и вот из-за чего. Видишь ли, Тээле прежде всегда ходила со мной, а теперь с Имеликом ходит. Она говорит, что я гордый и что я вру. А я никогда не был гордый и никогда не врал.

— А, да чего ты горюешь из-за какой-то девчонки,— отвечает Тыниссон,— пусть ходит с кем хочет. А ты и виду не показывай, не то она над тобой смеяться станет: вишь ты, парень как убивается из-за меня.

— Да, но...

— Не показывай и виду.

Тишина. Арно придвигается к Тыниссону и шепчет ему на ухо:

— А я не могу так, чтобы не показывать виду.

Тоскливо мне. Учиться нисколько не хочется, будто... будто я потерял что-то.

— Это пройдет,— сонным голосом бормочет Тыниссон.

— Не знаю, пройдет ли?

— Пройдет, а как же иначе.

— А знаешь, Тыниссон,— скороговоркой шепчет Арно,— задумаюсь — на душе так тяжело станет, прямо не знаешь, куда деваться. В школе сидишь — хочется поскорее домой, а дома хочется в школу. Как будто все время кого-то ждешь. Ни с кем неохота разговаривать. Будто все, что кругом говорят, я уже когда-то слышал. С тобой так никогда не бывало, Тыниссон?

— Мм! — мычит Тыниссон.

— Ты спишь?

— Не сплю, не сплю, говори.

— У нас на проселке у развилки стоит большая ива. Раньше мне казалось, что она очень, очень старая... может, несколько сот лет ей. А вчера бабушка рассказывала, что когда дедушка еще был молодой и они поселились на этом хуторе, дедушка шутки ради воткнул в землю около дороги ивовую палку с двумя ветками. Она стала расти, расти, и сейчас это большое дерево. Ты заметил ее, когда был у нас?

— Мм?

— Ты спишь?

— Да, я все-таки сплю,— отвечает Тыниссон, почесывая затылок.— Глаза слипаются. Не привык так поздно ложиться. Еще и эту тоотсовскую болтовню... слушать пришлось... Чудак, вечно он со всякими чертями и духами возится. Осенью индейцы были, сейчас он их уже бросил, теперь с чертями воюет, колотит их мешком... Посмотрим, что... что...

— Что посмотрим?

Но Тыниссон уже храпит. Ладно, пусть спит. Не стоит его больше будить. Можно ведь и завтра поговорить. С Тыниссоном обо всем можно говорить, он никогда другим не расскажет. Вообще-то он славный паренек и хороший товарищ, только чуточку туповат. Как будто не все понимает, что ему говоришь; делает вид, будто понимает, а потом сразу начинает толко-

вать о другом. И все у него так просто; насчет Тээле, например,— пусть Арно не обращает на эту девчонку внимания. А разве это так легко? Сам Тыниссон едва ли когда-нибудь попадал в такое положение — что ж он другому берется советовать?

И виду не показывай, и виду не показывай... Во всяком случае, Арно попытается это сделать. По правде говоря, ничего другого ему сейчас и не остается, но чего это стоит? Как он мучается при этом! Но все равно, все равно...

На хуторе Рая уже строят новый дом. Шестеро мужиков бревна пилят, говорил отец несколько дней назад. А потом начнут рыть канаву под фундамент, фундамент заложат, стены начнут ставить... Дом, говорят, должен быть готов самое позднее к Михайлову дню. Тогда хозяева, а вместе с ними, конечно, и Тээле, переедут в новое жилье.

Женихи ездить начнут... как говаривал Libле. А чего им ездить, жених ведь уже есть: Имелик. А может, Имелик и есть тот самый враг из рассказа Тоотса, тот, что похитил Розалинду. Тогда он, Арно,— фон Сокк. Нет, фон Сокком он ни за что не хочет быть — уж очень безобразное имя. Но хозяин хутора Рая пусть будет фон Йыммом, раз он готов отдать свою дочь за такого лодыря, как Имелик. Ничего, он еще потом умрет с горя, когда увидит, что Имелик и не думает заботиться о Тээле.

Арно ворочается в постели и не может уснуть. Комната чужая, малейший звук раздражает. От сапог Тыниссона несет дегтем, кто-то скрипит зубами, а у мальчика, который спит у печки, так сильно заложен нос, что он дышит с трудом, прерывисто.

Арно жалеет, что не пошел домой; дома он уже давно бы спал и не терзал себя всякими мыслями, как здесь. А чтобы избежать встречи с Тээле, он мог бы уйти пораньше, хоть и в семь часов, когда она, наверно, еще только встает. Но теперь уже ничего не поделаешь, все равно придется тут оставаться, даже если и не удастся уснуть. Ведь уже ночь.

Будь сейчас май месяц, Арно знал бы, что ему делать. Он пошел бы к реке и просидел там до зари, слушая, как просыпаются птицы и приветствуют но-

вый день; как с восходом солнца первый свежий ветерок играет листвой деревьев, покрывая реку серебристой рябью; как вдали скрипят ворота загонов, скот с мычанием выходит на пастбище и пастушок, шагая по росистой траве, покрикивает на своих собак.

Но сейчас к реке идти еще рано. На берегу слякоть, мокро, в бурлящей воде кружатся льдинки, и ничто еще не напоминает о той красоте, которая скоро здесь расцветет.

В классной бьют часы. Неужели уже час ночи? Значит, время не так уж тянется, как ему казалось. Где-то поет петух, вдали откликается другой; под окном как будто слышатся чьи-то тихие шаги.

Но никого не видать. Только круглая бледная луна заглядывает в окно спальни, словно хочет посмотреть, кончили ли ребята свои рассказы о привидениях. Вот она могла бы многое порассказать, если б захотела! Чего только она не видела на своем веку! И привидения, и домовых, и чертей, пляшущих на болоте. Была она и свидетельницей человеческих радостей и горестей. Сколько раз, выглядывая из-за облаков, видела она страшные события на земле и ее бледные щеки еще больше бледнели.

В чудесную майскую ночь два юных сердца слились в безграничной любви друг к другу. Но когда луна немного времени спустя снова взглянула на землю, туда, где видела влюбленных в первый раз, юноша был уже одинок и проливал слезы. А чуть подальше гуляла девушка, уже с другим юношей, и, вся пылая от счастья, клялась ему в вечной любви.

Арио поднимается и садится в постели. Можно бы, пожалуй, выйти во двор, поглядеть на мерцающие звезды и прислушаться, как приближается весна.

Он тихонько одевается и выскальзывает за дверь. Двор залит серебристым светом, деревья отбрасывают длинные черные тени. Всюду тишина. Только со стороны водяной мельницы доносится шум падающей воды, похожий на чьи-то тяжкие вздохи. С неба глядят звезды. Яркие и более тусклые, одинокие и целыми созвездиями, гроздьями... А вон там... о-о! — там вдруг скатилась звезда. Ах да, надо ведь было задумать какое-нибудь желание. Сейчас, конечно, уже

поздно, но даже если бы звезда еще катилась, он все равно не знал бы, чего ему пожелать. Как? Неужели не знал бы? А Тээле?.. Нет, дружбы с Тээле он уже не мог бы пожелать, Тээле на него сердится, он не знает, как и чем угодить ей. А что же еще?.. Больше ничего. Он одинок, и ему ничего не нужно. Теперь друзья его — это звезды... и он поведает свою печаль богу. Пусть не понимает его Тыниссон, пусть никто его не понимает — он одинок и поведает свою печаль богу.

Хорошо быть одному. Правда, грустно, но есть в одиночестве какая-то своя прелесть. Здесь, в этой тишине, под сияющими звездами, исчезают мысли и о Тээле, и об Имелике, даже горести исчезают — они кажутся такими мелкими, пустыми, ничтожными.

Арно возвращается в спальню, ложится на кровать не раздеваясь и собирается еще долго думать. Но приходят сны, окутывают его своим покровом и уводят с собой в далекий волшебный мир.

Двор залит серебристым светом, деревья отбрасывают длинные черные тени, и со стороны водяной мельницы доносится шум падающей воды, похожий на чей-то тяжкие вздох.

Когда Арно открывает глаза, уже утро. Ребята поднимаются. Под потолком кроваво-красной опухолью пламенеет подвешенный Тоотсом глобус. Сам Тоотс, вооружившись куском мыла, формой напоминающим полумесяц, бежит умываться. На ходу он жует мясо. Мясо твердое, как эстонское упрямство, и у Тоотса немало с ним возни. Куслап, уже одетый, будит Имелика. Тоомингас пытается кочергой стащить с печки свои портянки. Петерсон читает утреннюю молитву. В углу какой-то мальчуган рассказывает свой сон, который, на его взгляд, предвещает большое несчастье; если во сне ешь или пьешь — это всегда к беде. Другой появляется с дымящимся чайником в руке и велит всем, кому нужно, сейчас же идти за кипятком, не то кухарка дольет котел и тому, кто замешкается, придется долго ждать, пока вода снова закипит. Услышав это, Куслап испуганно хватает чайник и со всех ног бросается на кухню.

Появляются и те ребята, которые ночуют дома. Приходят Кийр, Визак и другие. У Кийра, правда, есть и в школе своя кровать, но рыжеволосый человечек чаще ночует дома — в школе холодно, а у него хрупкое здоровье, того и гляди еще простудится. Батрак привозит Арно его узелок с книгами и завтрак.

Незадолго до начала уроков через кабинет кистера в класс входят девочки и занимают свои места. Тээле обменивается с Имеликом многозначительным взглядом и улыбается; потом, нахмурившись, смотрит на Арно, поправляет кофточку и что-то бормочет про себя. Ага, мальчишка опускает глаза, мальчишка жалеет, что не подождал ее у развилки дорог. Обещал ждать, а не подождал; хочет, видно, свое упрямство показать. Ну что ж, пусть! Небось побежит за ней и в другой раз, как щенок, а уж она тогда найдет что

ему ответить. Пусть пищит сколько угодно, она ему не скажет ни единого слова в утешение. Уж она ему тогда все выложит и будет его мучить, как только сумеет. Пусть, пусть делает невозмутимое лицо, будто ничего и не случилось; она-то знает, что у него сердце щемит. Какой глупый мальчишка! Сидит вечно, словно бука. И тупица какой: учится, учится на своей скрипке, а до сих пор ни одной песенки не умеет сыграть как следует. И чего он пиликает, отдал бы лучше скрипку Имелику — у того она заиграла бы. Ой, какой славный паренек этот Имелик, всегда веселый, приветливый, и какие забавные словечки знает: что ему ни скажешь, всегда найдет какую-нибудь прибаутку в ответ. Интересно, когда он опять позовет ее погулять. А какие вкусные конфеты у него вчера были! Бумажки от конфет у нее и сейчас в кармане, на них всякие смешные картинки... А Тали... в небо глядит и бродит один, как Дурачок-Март. Ну погоди же! Если бы могла, и сейчас подошла бы к нему и оттаскала его за длинные вихры, трепала бы долго, пока не выдрала бы клок волос. Чучело этакое, обещает ждать и не ждет. Пусть, пусть делает равнодушное лицо, кого-нибудь другого это, возможно, и обмануло бы, а она этого парня знает, как свои пять пальцев, веревки из него может вить, если захочет. И будет вить, когда время придет. Погоди ты!

Арно старательно занимается. Желание учиться вернулось к нему как-то вдруг. О, он еще нагонит все, в чем отстал от других из-за своей небрежности. Правда, когда в классе появилась Тээле, сердце у него защемило, но это быстро прошло, и он прочел всю главу из Евангелия, ни разу не подумав о Тээле и не испытывая даже особого желания посмотреть в ту сторону, где сидят девочки.

Ничего, он все нагонит. Учителю не придется в конце года упрекать его в лени и небрежности. Учитель, правда, и не стал бы так говорить, но ему, Арно, самому неприятно. Учитель относится к нему так хорошо, так дружески, никогда не делает ему замечаний. А может быть, учитель догадывается о том, что с ним происходит? Может быть... но теперь он,

Арно, покажет, что и без замечаний может подтянуться.

А до чего интересно учиться! Вот, скажем, эта глава из Евангелия.

«И когда еще Иисус говорил, появился народ от первосвященников и старейшин с мечами и кольями, с факелами и светильниками; и Иуда шел впереди всех. И он подал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его!..»

Какой подлый был этот Иуда Искариот! Своего спасителя продал за тридцать сребреников и, целуя, предал его в руки врагов. Какой коварный человек! Ну да, вместе с тем куском хлеба, который дал ему Иисус во время тайной вечери, в Иуду и вселился сатана.

И зачем Иисус сделал его своим учеником? Да, но как же тогда могли бы исполниться слова писания?

Перед взором Арно возникает картина.

Ночь. В Гефсиманском саду молится Иисус. Ужасные муки терзают его, и кровавыми каплями катится с него пот. Но вот светлеет небо и появляется ангел. Отец Иисуса — там, на небесах, и не оставит его в беде.

Иисус поднимается, идет к своим спящим ученикам и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете? Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня!»

И в то время, когда он так говорит, в сад при свете факелов врывается беснующаяся толпа. На Иисуса, который никогда никому не сопротивлялся, нападают с оружием в руках, будто он разбойник. Вот уже его окружает людское море. А рядом с ним только его ученики. Он еще мог бы, мог бы спастись — ведь его никто не знает в лицо. Но тут к нему приближается предатель...

У Петра в руках меч. Этот вспыльчивый человек не может допустить, чтобы тронули его любимого учителя. «Против мечей — мечом!» — думает он и решает биться до последней капли крови.

Печально глядит Иисус на своего ученика — тот, видно, в эту минуту забыл его учение. Он знает: только ради любви к нему Петр готов сейчас сражаться. Но неужели Петр думает, что нужно проли-

вать кровь? Пожелай Иисус — и к нему на помощь явилось бы двенадцать легионов ангелов.

Но как же тогда могли бы сбыться слова писания?

И странно: тот самый Петр, который только что готов был пожертвовать своей жизнью, не дает себя связать вместе со своим учителем, а следует за ним поодаль. Вместе с Петром идет Иоанн, любимейший ученик Иисуса; все остальные ученики пойти за ним побоялись и бежали.

Они еще недостаточно тверды в своей вере, но придет время, когда они готовы будут умереть за учение Иисуса.

После бесконечных надругательств у Анны Иисуса, истерзанного пытками и мучениями, связанного, ведут к Каиафе. Иоанн, который знаком с привратником, проникает в дом первосвященника и хочет взять туда с собой и Петра. Но тот, напуганный подозрениями служанки, убегает назад, во двор. Нет, он не понимает, о чем она говорит, он не знает Иисуса Назарянина.

И вдруг запел петух. Пение это что-то напоминает Петру. Что говорил ему учитель, когда они восходили на гору Елеонскую? «Прежде нежели...»

Но нет, сейчас Петру некогда об этом думать. Подальше отсюда! Не то его снова станут допрашивать, не был ли он вместе с галилеянином. А если узнают, что это он отрубил ухо Малху, то его схватят и беснующаяся толпа потребует его казни.

Рабы и служители первосвященника развели во дворе костер. Ночь холодная, и полуголые люди стараются согреться у огня. С минуты на минуту можно ждать приказа первосвященника, нечего и думать о сне в эту тревожную ночь. Из дома доносится шум голосов. Время от времени кто-то громко произносит какие-то слова и отдельные голоса прерывают его одобрительными возгласами, а потом голоса эти опять сливаются в сплошное жужжание, так что кажется, будто в доме первосвященника поселился пчелиный рой.

Народ схватил какого-то галилеянина и привел его к первосвященнику, пусть тот решает: имеет ли он право выступать против народа? Галилеянин, правда,

всегда выступал открыто и никогда тайно не подстрекал людей ни против божьих, ни против человеческих законов; но раз его схватили, значит, он все-такн в чем-то виновен.

Петр подходит к костру. Людн, греющиеся у огня, обсуждают необычайное событне, так взволновавшее их. С грустью прислушивается он к разговорам людей, н страх за судьбу того, кто стоит сейчас окруженный толпой и должен держать ответ перед первосвященником, с новой силой охватывает Петра.

В дверях появляются седобородые фарисеи и саддукен, онн жестикулируют и визгливыми голосами рассказывают что-то друг другу, поминутно указывая в сторону покоев первосвященника, словно тот, кто сейчас там стоит,— страшный преступник и готов обречь народ на гнбель.

Петр больше не в силах оставаться у костра. Он робко приближается к двери, за которой его учнтель тихо что-то говорит толпе. Сколько раз слышал Петр этот голос, и так же, как и раньше, он наполняет его душу чувством безмерного умилення и блаженства. Вечно слушал бы он эти умнротворяющие слова.

Но вдруг он пробуждается от своих мыслей. Какая-то девушка останавлнвается перед ннм, нагло заглядывает ему в лнцо и говорит, обращаясь к окружающим:

«Он тоже был с Инсусом из Назарета!»

И снова прежнні страх овладевает Петром, он божится н клянется:

«Я не знаю этого человека».

Но вот уже и однн из рабов первосвященнка узнает его. Это родственник Малха, он вндел Петра в Гефснманском саду рядом с Иисусом. Собравшнеся во дворе люди окружают Петра. От костра приближаются чьи-то темные фигуры, нз дома тоже хлынулн сюда любопытные. О-о, нашли еще одного единомышленннка! Вяжнте его, вяжнте этого человека! Он был вместе с Инсусом из Назарета!

Петр чувствует, что он пропал. Его выдает н его наречне. В отчаянин он обращается к окружающим н еще раз клянется, что не знает человека, который стоит сейчас перед Канафой.

И в эту минуту снова поет петух.

Людской поток, с шумом хлыиувший из дома во двор, выносит с собой Иисуса. Взгляды учителя и его ученика встречаются. И в ушах Петра звучат слова Иисуса, которые он произиес, восходя на гору Елеонскую:

«Прежде нежели дважды пропоет петух, ты трижды отречешься от меия...» Так это теперь и произошло. Он, Петр, первым последовавший за Иисусом, отрекся от своего учителя. А как ои клялся ему? «Хотя бы мие пришлось и умереть с тобой, не отрекусь от тебя»,— говорил он. Петр рыдает...

Арно пробуждается от своих мыслей. В классе появляется кистер. Начинается урок.

Арно так живо рассказывает о пленеиии Иисуса в Гефсиманском саду, будто сам все это видел и будто сам слышал, как Иисус успокаивал Петра, говоря ему: все, кто подиял меч, от меча и погибнут, его же, Иисуса, учеиие будет жить века.

Речь Арно течет горячо и стремительио, лицо его проясняется, глаза сверкают. Товарищи с удивлением глядят на него и думают: отчего это он так измеиился? Кистер тоже замечает, что его ученик с любовью выучил свой урок.

XXVI

Зазеленели поля и луга. Ранний весенний гость — желтая калужница наполняет воздух запахом свежей травы. Кое-где из-под кустов робко выглядывают круглые головки купавницы, словно хотят спросить: «Можно уже нам появиться?» Там, где земля подсохла, стыдливо распускаются лиловые первоцветы, улыбаясь голубому небу и солнцу. А одна птичка, задавшись целью обманывать людей, вышедших из дому натощак, с самого раннего утра затягивает свою монотонную песенку[1]. Тысячи голосов приветствуют восход солнца, обитающие в перелесках талантливые певцы поздравляют друг друга с возвращением из дальних странствий. Да, власть злюки-зимы кончилась, снова можно ликовать и во весь голос петь о любви и счастье.

В школе сейчас обеденный перерыв. Ребята уже поели, и чудесная погода манит их во двор. Одни на дороге играют в городки, другие в «ястреба» и пятнашки, а третьи сидят на крыльце и говорят о каникулах, которые наступят недели через две. Четверо или пятеро ребят постарше пробуют сдвинуть с места огромный камень, лежащий у забора, и, обливаясь потом, снова и снова принимаются за него, как будто кто-то заставляет их поднимать эту тяжесть. Собственно, у них имеется на то своя причина. Приподнять камень — значит выдержать экзамен: тот, кому удастся сдвинуть его с места, будет считаться «мужчиной», тот, кто поднимет камень хоть на несколько дюймов, будет «настоящим мужчиной», а кому удастся приподнять тяжесть еще выше, тот будет произведен в богатыри, и все должны будут относиться к нему с особым почтением.

[1] По старинному эстонскому поверью, человека, который выйдет из дому, не поев, и услышит кукушку, ожидает неудача. *(Прим. пер.)*

Невдалеке от силачей, обхватив голову руками, сидит на колоде Тоотс. Кентукский Лев погружен в раздумье. Ничто уже не радует его сердце. Да, было время, когда и он принимал участие во всех таких затеях, да и сам был застрельщиком великих начинаний, но — увы! — времена эти прошли. Завтра за ним приедут и увезут со всем его скарбом домой, и там ему придется заниматься постыдным делом — пасти скот. Кто бы мог предвидеть, что судьба выкинет с человеком такую штуку. Разве мог Тоотс думать, что ему, да еще сейчас, когда он мечтает о должности управляющего имением, придется идти в пастухи. Это был тяжкий удар, тем более тяжкий, что по вине Кийра об этом узнали и другие мальчишки, а те рады поиздеваться.

В толпе ребят, играющих в городки, раздается громкий веселый крик: кому-то посчастливилось одним ударом выбить за черту все пять рюх. Рюхи со свистом разлетаются, и одна из них подкатывается прямо под ноги Тоотсу. Тоотс смотрит на нее усталым взглядом, отталкивает ее ногой подальше и в то же время глазами измеряет расстояние между собой и игроками. Знатный удар! Ребятам придется долго разыскивать разлетевшиеся во все стороны рюхи.

Вокруг Тоотса начинают кружить две «птицы», преследуемые злым «ястребом»; по шуму и топоту можно подумать, что у каждого мальчишки несколько пар ног. Один из них хватает Тоотса за плечо и начинает прыгать взад и вперед, словно отплясывает с «ястребом» танец «Каэра-Яан». Черт побери, ведь Йоозеп Тоотс не камень и не пень какой-нибудь, чтоб за него прятаться! Пусть убираются отсюда!

Но разве в такой суматохе у кого-нибудь есть время слушать, что говорит Тоотс. Спасайся кто может от ястреба! Место игры имеет определенную границу: того, кто ее перебежит, объявляют ястребом, поэтому ребята не только прыгают вокруг Тоотса, но и готовы, если понадобится, ему и на плечи взлезть.

«Прямо как комары»,— думает Тоотс.

В этот момент кто-то нарочно или нечаянно подбивает колоду, на которой он сидит, и Тоотс падает навзничь.

— Ого-о! Мызный управляющий стойку делает! — кричат ребята.

Но не смейтесь, не смейтесь, вот как возьмет Тоотс эту самую колоду да как запустит в голову первому попавшемуся! Колода-то целая останется, а голова треснет, как орех. Пусть не думают, что если Тоотс на несколько недель идет в пастухи, так с ним навсегда покончено. Собственно говоря, он и не думает идти в пастухи, он просто будет дома изучать скотоводство.

— А что это такое — скотоводство? — спрашивают его.

— Ну, если ты, чудак, не знаешь даже, что такое скотоводство,— заявляет Тоотс,— так зачем ты вообще живешь на свете. Скотоводство — это скотоводство.

— Скотоводство — это значит, что Тоотс будет коровам колокольцы привязывать не на шею, а на хвост,— поясняет Имелик, пробегая мимо.

— Сам ты себе колокольчик на хвост привяжи, цимбалист несчастный,— отвечает ему Тоотс.— Ты лучше повесь свой каннель на черемуху и плачь под ней, как евреи у рек вавилонских. А ноги свои свяжи узлом, дылда этакая, не то они у тебя перепутаются.

И правда, сам длинноногий, как комар, кулаками ветер по двору гоняет, а еще над другими насмехается! Пусть, пусть явится к нему на выгон,— Тоотс ему привяжет колокольчик на хвост, приделает рога да еще назовет его «Рыжий».

Один из силачей, Тоомингас, нечаянно уронил себе камень на ногу; он сидит сейчас на этом же камне и трясет ногой. Когда с него стягивают сапог и портянку, оказывается, что большой палец на ноге совсем синий. Под ногтем кровь. Ноготь этот теперь слезет, как панцирь у рака, и пройдет, наверное, несколько недель, прежде чем владелец пальца сможет похвастаться новым ногтем. Кто-то из ребят рассказывает, что с ним однажды была точно такая же история: на бегу ушиб палец о камень... потом целых семь недель прошло, пока...

— Ну да,— замечает Имелик,— ты пальцем ударился о камень, а Тоомингасу камень упал на палец,

так что тут дело затянется больше, чем на семь недель.

— Почему же больше? — спрашивают ребята.

— Да потому, что палец и камень — это не одно и то же, палец хоть немножко смотрит, куда ему идти, а камню все равно.

— Знаешь, Имелик, тебе бы в балагане играть,— советует ему какой-то мальчуган.

— Энтель-тентель-тика-трей, вухтси-кару-коммерей,— бормочет «считалку» маленький Леста, собираясь со своими сверстниками играть «в ястреба».

А обуреваемый мрачными мыслями Тоотс попрежнему сидит на колоде. Скотоводство, несмотря на свое столь звучное название, видимо, не особенно его прельщает. А впрочем, как знать, может быть, и еще что-то терзает его мятежную душу, кто знает — ведь чужая душа потемки.

Постепенно вокруг него собираются ребята. Никто раньше не видел Тоотса таким серьезным, разве только в те дни перед рождеством, когда он торжественно обещал учителю решительно изменить свое поведение.

Тоотс вздыхает. Тоотс вздыхает! Вы только послушайте, ребята, Тоотс кряхтит и пыхтит, словно продал свой хутор, а деньги пропил. Не хватает еще, чтобы он заплакал, тогда он предстал бы перед мальчишками со всеми человеческими слабостями. Ребята, скорее сюда, давайте утешать Тоотса!

— Пойдемте хоть сейчас,— советует Кезамаа,— достанем сокровища старого Йымма, может, хоть это тебя развеселит.

— Да ну! — отвечает Тоотс и машет рукой.— Это только ночью можно сделать.

— Но ведь ночью там шишиги.

— Ах да,— вспоминает вдруг Имелик,— я вчера был на кладбище и видел, как там один чертенок бегал, с большой синей шишкой на лбу. Это, наверно, тот самый, которого ты, Тоотс, глобусом по башке огрел.

Ребята хохочут.

— А чего он бегал? — спрашивают они у Имелика.

— Подорожник разыскивал,— отвечает Имелик,— говорят, подорожником опухоль лечат. Но он довольно толковый парень, этот шишига, мы с ним долго болтали; ты его напрасно ударил, Тоотс. Он совсем недавно перебрался сюда из Вирила и даже не подозревал, что ты клад разыскиваешь, он просто подошел понюхать, что у тебя в котомке.

— Что за чепуха, Имелик! — восклицают мальчишки.

— Ну нет, почему же чепуха,— серьезным тоном возражает Имелик,— это сущая правда. Он еще сказал мне, что днем ходит в Киусна на поденщину, кажется, крышу кроет или что-то вроде этого — семью, мол, кормить надо... и ничего ему не остается, как идти на работу. И вот что смешно: его жену тоже будто бы Розалиндой зовут.

— Ох ты, бес!— хохочут ребята.— У Тоотса хлеб отбиваешь.

Но Имелика это ничуть не смущает.

— А теперь он на Тоотса страшно зол,— продолжает рассказчик.— Если, говорит, тот когда-нибудь опять придет разыскивать наследство старого Йымма, я его так трахну по голове костью мертвеца, что у него искры из глаз посыплются. Если б, говорит, мне разузнать, какие нужно при этом слова вымолвить, так я бы сам унес горшок с монетами, а на место его сунул кучу осиновых листьев. Вот тогда пусть Тоотс и приходит и берет их себе. Я чуть было не сказал: «кивирюнта-пунта-янта», да потом подумал — чего мне в чужие дела вмешиваться! Пусть каждый сам за себя отвечает.

— Ха-ха-ха! — смеются слушатели.— Слышишь, Тоотс, шишига этот злой, как живодер, собирается тебя по голове костью огреть. Смотри, берегись, когда следующий раз пойдешь; захвати свой громобой и застрели его, беса этакого, чего он еще там на кладбище скулит! Да к тому же он и не из наших мест.

Но Тоотс окидывает насмешников презрительным взглядом и отвечает:

— Все вы болваны, сколько вас тут ни есть. Име-

лик плетет ерунду, а вы за ним повторяете, как па... папугаи.

— А может, мамугаи? — выкрикивает кто-то, но Тоотс и внимания не обращает на эту старую, приевшуюся шутку; усевшись поудобнее, он говорит:

— Все вы дураки, только и умеете, что зубы скалить. Читали бы побольше книг да разбирались, что в них написано, тогда бы знали, что я вовсе не так уж много вру, как вам кажется.

— А все-таки чуточку привираешь,— замечает Тыниссон; он стоит в толпе слушателей, заложив руки за спину.

— Ты лучше вытри себе жир на подбородке! — кричит в ответ ему Тоотс и, кусая ногти, продолжает: — Все же знают, что на том месте, где сейчас стоит часовня, в шведские времена была мыза фон Йымма. Это и в книжке о жизни генерала Зээкрена написано.

— Подожди...— перебивает кто-то.

Но Тоотс, услышав это восклицание, поспешно добавляет:

— В двух местах записано — в книжке про генерала Зээкрена и еще в церковной книге.

— Жаль, что ты немножко раньше не родился — мог бы к Йымму управляющим пойти,— язвительно вставляет Тыниссон. Он не забыл замечания насчет его жирного подбородка.

— И верно, жаль, что я не родился чуть раньше,— отвечает Тоотс,— не пришлось бы мне глядеть сейчас на твою глупую рожу и жирный подбородок. А в книжке про Зээкрена действительно записано, что замок этот построил Хризостомус Зоммервельт, который в году... в году...

— Ого, ты даже годы помнишь,— восторгается кто-то. Но восхищение это преждевременно — рассказчик все-таки, оказывается, забыл, когда именно Хризостомус Зоммервельт построил замок фон Йымма. Но не в этом суть, во всяком случае, было это в шведские времена, а годом раньше или позже, не все ли равно. Если некоторые рассказчики начинают свое повествование с тех времен, когда Старый бес был мальчишкой, а Калевипоэга вообще еще не было, по-



чему же Тоотсу не отнести сооружение замка к шведским временам.

— А что замок и вправду существовал,— рассказывает Тоотс, оставив в покое исторические даты,— вам, чудакам, должно быть ясно хотя бы из того, что внизу стены часовни толщиной в несколько футов, а кверху становятся все тоньше и тоньше. На высоте человеческого роста они всего в два кирпича, и если постучать снаружи пальцем, внутри все слышно. Часовню построили на развалинах замка; в трех футах от северного угла — это как раз шесть моих пядей — и находится то место, где Розалинда упала в объятия фон Сынаялгу... то есть нет! — фон Сийэпокку.

— Хризостомус Зоммервельт...— собирается он продолжать рассказ, но вдруг резко оборачивается: за спиной у него стоит Тоомингас, строит ребятам гримасы и показывает рожки, шевеля указательными пальцами над лбом.

— У Тоотса винтик отвинтился, на котором все остальные винтики держатся! — смеясь кричит он и отбегает от Тоотса подальше: Тоотс, чего доброго, запустит в него чурбаком, а в том, что чурбак останется цел, а голова его треснет по швам, сомнений быть не может.

— Ладно,— говорит Имелик, переводя речь на другое,— ну их, всех этих Йыммов и шишиг, давайте поговорим по-серьезному. Скажи нам лучше, Тоотс, почему тебя отец вдруг забирает из школы да еще посылает скот пасти. Нет, нет, не думай, что я смеюсь. Я же сказал— давай по-серьезному. Я это потому, что без тебя совсем скучно станет, некому будет шутить, всякие штуки с кистером выкидывать.

— Почему, почему...— хмуро отвечает Тоотс.— Потому что пастух, дрянь этакая, вздумал заболеть, а под рукой никого больше нет. Пастух в скарлатине весь, живого места нет, кто его знает, выздоровеет ли. Ну, а мне пока за стадом ходить.

— А если не выздоровеет, ты все лето так и будешь за стадом ходить?

— Черт знает. Все лето не буду. Сбегу куда-ни-

будь. Недели две, может, и выдержу, а потом удеру.

Тоотс опускает голову. Как только зашла речь о том, что ему придется идти в пастухи, его на миг поднявшееся было настроение снова упало ниже нуля; даже голос у него стал печальным и сдавленным.

— Не горюй, Тоотс,— утешает его кто-то, кому грусть Тоотса западает, видимо, в самое сердце.— Ходить в пастухах — тоже не самый горький хлеб. И до тебя были пастухи, и после тебя будут.

— Еще бы! — подтверждают другие ребята.

— В пастухи-то идти можно,— отвечает Тоотс.— Только вот Юри-Коротышка, дьявол!

— А тебе что за дело до него, раз ты будешь коров пасти?

— В том-то вся и штука, что больше у меня с ним никаких дел не будет. Дьявольски быстро все случилось. Знал бы раньше, я бы уже... Нет, мой старик все-таки страшно бестолковый — что стоило ему вовремя сказать, что пастух скарлатиной заболеет. А теперь вот вдруг...

— Да подожди, откуда же твой отец мог знать, что пастух заболеет скарлатиной? И какие у тебя дела с кистером не доделаны? Довольно у тебя было с ним стычек зимой. Верно?

— Я бы ему, дьяволу, за все отплатил — и за ругань, и за то, что после уроков оставлял. Как он меня вечно донимал! Как всю зиму меня грыз!

— А, вот оно что! — восклицают мальчишки.— Ну да, теперь-то поздно, сразу всего не сделаешь.

— В том-то вся и штука! Нет, дурачье, за эти полдня я ничего не успею. Будь еще несколько недель, я бы что-нибудь придумал, надолго бы Юри-Коротышка меня запомнил, а сейчас все пропало.

Да, да. У Тоотса есть все основания грустить.

Городошники закончили игру и подходят поближе. Среди них и Арно Тали. За последнее время он както вдруг окреп. На щеках его теперь играет румянец, глаза смотрят открыто и весело. Со смехом рассказывает он ребятам, как их команда потеряла было всякую надежду на победу, а в последний момент все-

таки выиграла. Видя, что Тоотс сидит, окруженный ребятами, он прислушивается к их разговору.

— А если ничего другого сделать не удастся,— рассуждает Тоотс,— так возьму да загоню свое стадо к нему в огород, пусть сожрут и потопчут все, чтоб одна каша осталась. Пусть знает!

— Что такое? Что здесь такое? — спрашивают только что подошедшие ребята.

— Тоотс завтра уходит из школы,— отвечают им.

— Да, без меня остаетесь,— повышая голос, добавляет Тоотс.— Но не беда, я к вам буду в гости приходить. По воскресеньям после обеда... Пошлю бобылиху за стадом присмотреть, а сам приду сюда. Тогда и обсудим вместе, как нам с этим Юри-Коротышкой быть. Ведь так этого нельзя оставить.

— Нельзя, нельзя! — поддерживают его ребята. Перед разлукой симпатии их целиком на стороне Тоотса, чему немало способствует и подавленное настроение отъезжающего. Без Тоотса будет скучно. Что бы там Тоотс ни делал, сколько бы ни врал, а все-таки он парень удалой.

— А осенью вернешься в школу? — спрашивают его.

— Да кто знает, где я осенью буду,— отвечает Тоотс.— Начинай тут опять с кистером воевать. И так он вечно твердил, что я здесь как на лезвии ножа держусь и о своей душе не забочусь. Неизвестно еще, что осенью скажет. Впрочем, не знаю, может, и приду, если не получу местечко в России.

Последнее замечание Тоотса вызывает у окружающих улыбку, но до насмешек дело не доходит. В час разлуки насмешки неуместны. Расставаться надо всегда по-хорошему. Да по правде говоря, ни у кого из ребят и нет к Тоотсу злобы, нет за ним и старых грехов, за которые надо бы расплатиться. Верно, случалось иной раз... Но разве мало было других ребят, которые своим лицемерием и ябедами докучали куда больше, чем он.

— У меня здесь кое-какие вещи есть,— говорит Тоотс, вставая и шаря по карманам,— берите, если хотите. Вот ручка, это тебе, Имелик. Хоть ты и бол-

тун порядочный, зато ябедничать не ходишь. Ты, Тоомингас, возьми себе эти два новомодных перышка, тебе зимой пришлось из-за меня стоять в углу, когда я спрятался у тебя под партой. Помните, ребята, как Юри-Коротышка тогда бесновался? Ох ты черт, как он меня тыкал своей бамбуковой палкой, прямо, как злодей какой! Я тогда сам сглупил, высунул ногу из-под парты.

— Ты, бес, чуть мне подошву с сапога не срезал,— говорит Тоомингас, разглядывая подаренные перышки.

— Да нет, я просто пошутил,— отвечает Тоотс, вытаскивая на свет божий новый подарок.— А ты, Тиукс, или как тебя там, на, возьми эту книжку рассказов и больше на меня не сердись. Тебе, Кезамаа, я дарю магнит. Только не держи его долго над другим куском железа, не то силу потеряет. Виппер... Ты парень богатый, ты летом денег подзаработал, мог бы купить у меня эту книжонку, но...

— О, меня выбрось из игры, мне ничего не надо,— откликается Виппер.

— Ну нет, возьми все-таки, возьми,— навязывает ему Тоотс книжку с картинками.— Мне денег не нужно, я просто так сказал...

— Бери, бери,— уговаривают Виппера и другие,— он тебе от чистого сердца дарит, а ты не берешь.

— Может, это и есть та самая церковная книга? — спрашивает Виппер, принимая книжку.

Раздача подарков продолжается. О, в бездонных карманах Тоотса немало всякой всячины.

— Леста... где же Леста? — восклицает вдруг щедрый даритель.— Для него тут шелковый шнурок есть. На, можешь взять себе вместо цепочки для часов. Что? У тебя часов нет? Что же ты за мужчина тогда? Купи себе часы, а шнурок повесь вместо цепочки. Если хочешь, можешь мои часы купить.

— А что бы тебе подарить, Тали? Ты же такой тихоня... Ага, я тебе еще осенью обещал картинку с индейцем, да так и не дал: бери ее теперь.

Леста и Арно принимают подарки Тоотса почти с благодарностью; не то чтобы они испытывали особую

радость, нет! Но уже одно то, что Тоотс вообще дарит им какие-то вещицы на память,— само по себе большое событие. Леста говорит:

— Спасибо.

— И ручку подай! — поддразнивает его кто-то из ребят.

— А кому ты свой глобус оставишь? — раздаются в толпе крики.

— Глобус... глобус...— задумывается Тоотс, прищуривая один глаз.— Глобус можно бы подарить какой-нибудь девчонке. Да, верно! Ты, Имелик, хороводишься с Тээле, возьми, отнеси ей глобус.

— Тоотс, ты опять чепуху болтаешь! — краснея, отвечает Имелик.— С тобой нельзя серьезно говорить.

— Да нет же, чудак! А как же, разве ты... Отнеси, отнеси ей! Зимой я ее как-то плясать потащил и... Может, перестанет сердиться, если глобус получит.

— Да замолчи ты, куда ей с таким глобусом, он вроде огненного шара. Люди засмеют. Или же...— Имелик, раздумывая, вдруг улыбается.— Впрочем, можно и отдать. Я скажу ей, что ты послал, не мое дело. Пусть делает с ним что хочет.

— Ну да, неси! Увидишь, эта белобрысая еще и обрадуется, что получила такую шикарную вещь, хотя... По правде говоря, глобус должен быть синим, но... пускай, если захочет, сама перекрасит. Хотя бы дегтем, в черный цвет. Дареному коню в зубы не смотрят.

— Ну, а ты, Кийр,— и Тоотс поворачивается к Кийру,— тебя я перед уходом хотел бы вздуть как следует. Сплетник ты! Чуть что, сразу бежишь ябедничать.

— Да-а, а сам ты что у нас на крестинах делал? — отвечает Кийр, таинственно покачивая головой.

— Что бы я там ни делал, а бит будешь!

Раздается звонок, возвещая о начале урока. Ребята с гиканьем несутся в класс.

— Еще какой-нибудь часок и...— говорит Тоотс, останавливаясь в дверях классной.

— И ты — генерал рогатого войска,— добавляет кто-то из мальчишек.

XXVII

Под вечер на берег реки направляются школьники с церковной мызы в сопровождении арендатора и Либле. У каждого на плечах по длинному шесту, а у арендатора вдобавок еще два багра. Они идут поднимать со дна реки плот, потопленный осенью.

Спасательные работы нелегки. На плоту лежат большие камни, и скатить их оттуда шестами очень трудно. После первых же попыток вода становится мутной, дна совсем не видать и приходится нащупывать плот наугад. С Вескиярве притаскивают лодку.

Мальчишки мечутся по берегу, суетятся и кричат, как будто это помогает поднимать плот. Либле грозится ткнуть им багром в живот, если они не будут держаться подальше.

— Вот и будь тут вроде водолаза, вытягивай корабль со дна морского,— ворчит он, обращаясь к арендатору.— Пусть бы мальчишки сами его тащили, если им так уж приспичило.

— Тащи, тащи, Либле! — уговаривают его школьники.

— Да чего мне тут тащить. Камень — это не охапка хворосту, крючком его не поддеиешь. Ныряйте сами, скатите с плота камни, вот он и всплывет.

— Но, Либле, кто же туда полезет? — отвечают мальчишки.

— Ну и что ж такого? Люди молодые, а нырять боитесь. Я в ваши годы мог по полчаса под водой торчать.

— Правда? — изумляются школьники, и некоторые из них начинают уже раздеваться.

— Правда, правда. У человека молодого легкие, как бочонок, набери в них воздуху да и копошись под водой, как выдра. Разве вы этого не знаете?

— Правда? И так можно будет и камни сбросить?

— Конечно!

— Не ходите,— предупреждает арендатор, заметив, что барчуки действительно собираются лезть в воду.

— Пусть идут, черти,— шепчет Либле, подмигивая арендатору.

В это время в приходской школе заканчиваются уроки, и ребята с шумом и гамом выбегают во двор. Увидев на берегу реки толпу, они умолкают и с любопытством смотрят, как Либле и арендатор пытаются что-то выудить из реки шестами и баграми. Вскоре ребята догадываются, в чем дело, а Тыниссон и Тали обмениваются долгим многозначительным взглядом.

— Пойдем посмотрим,— предлагает кто-то.

— Не стоит,— предостерегает другой.— Опять драка начнется, как осенью. Кто потом разбираться станет.

Но вскоре подбегает Тоотс и решает, что «поглядеть все-таки можно бы».

С этими словами, засунув палец в рот, он направляется к реке и зовет с собой ребят постарше.

Ярвеотс, Кезамаа и Тоомингас медленно шагают за ним, а вскоре и вся толпа мальчишек устремляется с пригорка вниз, к реке.

— Не подходите, не подходите! — кричат им издали школьники с церковной мызы и машут руками, чтобы те вернулись.

Тоотс на минуту останавливается, но тут же решает, что берег реки принадлежит ребятам из приходской школы больше, чем кому-либо другому. Он шагает дальше, невзирая ни на какие предупреждения.

— Пускай идут,— успокаивает Либле молодых господ.— Парни смелые, помогут плот поднять.

— Они не помогать поднять плот, они уметь только потопить плот,— отвечают немецкие барчуки. Появление непрошеных гостей их очень злит. Один из них хватает с земли сухой корень аира и бросает в приближающихся ребят.

— Это что за угощение? — спрашивает Тоотс у своих товарищей, рассматривая корень аира.— Ты такое ешь? — кричит он бросившему корень мальчишке.

— Ты есть самый большой беспутник в школе,— отвечают ему с берега. Тоотс вопросительно глядит на своих товарищей, недоуменно пожимает плечами и, указывая на барчуков, говорит:

— Ну, разве не дураки!

И бросает корень аира обратно на берег.

— Ты здесь не бросать! — орет самый высокий школьник с той стороны.— Если не уйдешь, мы тебя опять будем бить хлыстом. Убирайся отсюда!

— Не знаю, кто от кого осенью удирал,— отзывается Тоотс,— я от вас или вы от меня. Не беспокойтесь, я припас себе в печке кочергу, суньтесь только, она у меня под рукой.

— Я тебя на багор насадить, как салаку.

— А я тебе нос поджарить, как картошку,— отвечает Тоотс и хохочет как одержимый.

— Ну, ребята, ребята,— пытается арендатор успокоить разбушевавшиеся страсти,— не надо ссориться! Всяк себя молодцом считает. Главное — попробуем плот вытащить.

— Да нет, чего они сами лезут,— говорит Тоотс.— У них больше прав на этот берег, чем у нас, что ли? Мы пришли посмотреть, как вы будете плот вытаскивать. Его только вот как можно достать: вбейте в него крюк, прицепите веревку и тащите.

— Скажи пожалуйста, какой мудрец объявился!— говорит арендатор.— Ну, ежели ты такой храбрый, так иди, вбей крючок и прицепи веревку, а уж вытащим мы сами.

— Это пустяк,— заявляет Тоотс и направляется к берегу.— Где у вас крюк и веревка?

— Крюк и веревка...— Арендатор собирается ответить, но в это мгновение кто-то изо всей силы толкает Тоотса в спину и он шлепается в воду. Арендатор протягивает ему шест. Барчуки хохочут во всю глотку.

В толпе учеников приходской школы возникает движение.

— Ну разве не черти, сами в драку лезут,— возмущается Тыниссон.

— Нет, это прямо дикая выходка! — говорит Тоомингас.— Давай, ребята, на помощь!

Тоотс, фыркая, вылезает на берег и хочет уже подняться, но его снова толкают шестом в грудь и он валится в воду.

— Не смейте, вы! — в один голос вскрикивают арендатор и Либле, но молодые господа не обращают на них внимания. С берега доносится новый взрыв хохота, и снова уже наготове несколько шестов, чтобы столкнуть Тоотса.

— Помогите! Помогите! — вопит Тоотс.

Он барахтается на одном месте, так как с берега на него грозно уставились шесты и багры, готовые еще и еще раз сбросить его в реку. Убедившись, что здесь выкарабкаться на сушу не удастся, Тоотс, собравшись с силами, плывет к противоположному берегу.

— Ага, аг-а-а, ты нас поджаривать! — издеваются над ним безжалостные противники.— Теперь ты сам плавать в реке, как салака. В другой раз ты знайт, что под нашим оком орать не смейт.

Тыниссон, Тоомингас, Кезамаа, Ярвеотс и еще несколько наиболее отважных считают, что пришло время напасть на распоясавшихся молодчиков. Но что ты голыми руками сделаешь! Тоотс уже недосягаем для врагов, и шесты их устремлены на нападающих. Тоомингасу, правда, удается ловким движением ухватиться за кончик одного шеста, но он тут же вынужден выпустить его из рук: с другой стороны его так сильно толкают в бок, что у него дыхание захватывает. Ярвеотсу врезается в руку брошенная кем-то острая раковина, и рана чуть ли не выводит из строя этого крепыша. Но Тыниссон, сделав большой круг в обход, оказывается у одного из неприятелей за спиной и могучим рывком бросает его наземь. На мгновение кажется, будто перевес в бою на стороне наступающих, но здесь к противнику Тыниссона приходит подмога, и его, такого сильного парня, тоже сбивают с ног. Шест, который он уже успел захватить, вырывают у него из рук и кидают в воду. Ребята в страхе отступают, ибо неприятель, воодушевленный неудачами атакующих, начинает контрнаступление. Напрасно Тоотс, стоя на другом берегу и угрожая врагу смертью и гибелью, швыряет грязью и

тиной в тех противников, что поближе к берегу. Ничто не помогает. Ребята потруслнвее, удирая, достигли уже пригорка, и никакая сила не могла бы заставить их вернуться. Тогда Кезамаа в отчаянии хватает с земли кусок дерна и бросает в самого смелого из неприятелей. Удар угодил в цель! Мокрый дерн попадает противнику прямо в лицо и мигом превращает его в мавра. Это производит на барчуков такое ошеломляющее впечатление, что они на минуту останавливаются и глядят на товарища, словно раздумывая, будет ли еще когда-нибудь толк из такой физиономии. Передышка эта на руку ребятам из приходской школы: Тыниссону удается вырваться из рук схвативших его трех самых сильных неприятелей и, подбежав к наступающим сзади, сшибить сразу двух мальчишек поменьше. В то же время он завладевает и шестом.

— Жарь, жарь их, Тыниссон! — кричит Тоотс.— Бей их! В реку их!

Кажется, будто до ниточки промокший мальчуган вот-вот снова бросится в воду, чтобы прийти на помощь товарищам.

В это время Кезамаа, отступая, снова набрел на кусок дерна, однако он его не бросает, а держит на тот случай, если под рукой не окажется лучшего оружия. Правой, свободной рукой он кидает врагам в лицо все что попадется: комья земли, камешки, хворост, сухой конский навоз, даже камыш и листья — и те летят в нападающих. Кезамаа дерется, как безумный, с дикой отвагой, будто это борьба не на жизнь, а на смерть. Что стоило бы ему сейчас убежать в классную комнату, где он был бы избавлен от всех опасностей, но нет! — он отступает перед превосходящими силами врага только с боем. Ярвеотсу, пока он перевязывает платком свою рану, приходит в голову счастливая мысль. Он хватает здоровенный кол, лежащий у изгороди, и появляется перед противниками; вид у него такой устрашающий, что кое-кто из врагов, уверовавший было в победу, в испуге останавливается. Крепкие удары по жердям отбивают руки нападающим барчукам, более слабые роняют свое оружие и трясут руками от боли.

Сымер, великолепный стрелок, с пригорка мечет в неприятеля мелкие камешки.

Битва приобретает ожесточенный характер. Кажется, будто военная фортуна начинает отворачнваться от школьников с церковной мызы. Дело в том, что на берегу реки идет другая битва, правда, в меньшем масштабе. Здесь Имелнк н Виппер сражаются против четырех неприятелей, и весьма удачно.

Виппер, который в начале битвы был безучастным зрнтелем и только посмеивался, теперь, увидев, что у приходскнх мальчиков дела пошли скверно, но настояннию Имелнка прншел нм на помощь.

Хотя противников здесь вдвое больше, зато они и вдвое слабее, а сейчас еще от всей этой возни бойцы так устали, что прнходскнм мальчикам не стоит особого труда по двое швырять нх наземь. Такая «игра» под конец наскучивает Имелнку, он находнт, что прншло время сбросить непрнятелей в реку.

— Бросайте их в реку! Бросайте нх в реку! — орет Тоотс с другого берега.— Уж я их тут встречу, покажу нм, где ракн знмуют.

Но Имелик и Виппер довольствуются тем, что угощают каждого неприятеля на память последннм здоровым подзатыльником, после чего барчукн, все вспотевшие, бегут жаловаться арендатору н Либле.

Либле сиднт, скорчившись, в лодке, попыхивает папироской и хохочет, как сумасшедший. Арендатор охотно пошел бы н разнял мальчишек, но Либле считает, что это напрасный труд.

— Пусть нх! — говорнт он.— Пусть знают, как нос задирать. Сами виноваты. Еслн вмешаемся, выйдет, будто н мы деремся с нимн. А спросит кто, почему мы не пошлн нх разнимать,— скажем: а откуда нам было знать, что они дерутся? Мы думалн — они в пятнашки нграют.

Имелик и Внппер, покончнв с неприятелем, видят, что исход битвы на пригорке далеко еще не решен, и нападают на врага с тыла. Два обессиленных противника летят вверх тормашками, шесты нх отброшены в сторону. Ярвеотс, завидев подмогу, творит своей дубинкой подлннные чудеса, а Тоомингас, пришедший в

себя после ранения, снова появляется на поле битвы; полученного им удара он не простит врагу никогда. Он должен отомстить хотя бы ценой собственной гибели. Кийр приносит целую охапку палок от городков и сует мальчишкам постарше по здоровенной дубине, точно посылая их на убийство. Малыши из приходской школы тоже смелеют и с криком несутся в гущу боя: даже маленький Леста, и тот хватает противника за ногу и тянет его, тянет, пока он, потеряв равновесие, не падает наконец на землю. Тыниссон схватился с вожаком противников; оба, побагровев от натуги, борются из последних сил. Вначале кажется, что барчук сильнее Тыниссона и тому не помогут никакие уловки, но изнеженный мальчуган постепенно сдает в объятиях закаленного трудом крестьянина; еще несколько минут он отчаянно защищается, а потом валится на землю, даже не пытаясь больше сопротивляться.

Кезамаа вдруг превратился в какого-то почтового чиновника — кажется, будто он ставит штемпель на почтовые марки: каждому поверженному на землю противнику он тотчас же припечатывает лицо куском мокрого дерна, повторяя при этом известную поговорку Тоотса: «Что само не держится, то надо прибить». Неприятели со своими перемазанными лицами являют собой жуткое зрелище. Арно Тали, стоя поодаль, заливается громком смехом. Он, правда, не совсем одобряет такое жестокое обращение с врагами, но что поделаешь — война!

Мальчишки с церковной мызы бегут. Отступает неприятель в беспорядке. Здесь действует один лишь лозунг: спасайся кто может. Многих, кто не успел вовремя убежать, снова сбивают с ног, а Кезамаа уже тут как тут и орудует кусками дерна. Вслед беглецам градом летят палки, камешки, земля и песок. Сейчас здесь налицо все школьники приходского училища, только двое-трое остались на пригорке и оттуда наблюдают необычайное зрелище. Среди них и Тиукс; он стоит, сморщив свое острое личико, и, время от времени подталкивая в бок Визака, говорит:

— Гляди, что Ярвеотс делает! Гляди, что Тыниссон делает!

На берегу разыгрывается ужасающая заключительная сцена сражения. Мальчишки из приходской школы опьянены победой и, не раздумывая, обрушиваются на неприятеля с тыла. Ребята, находящиеся в задних рядах, подталкивают тех, кто впереди, эти, в свою очередь, напирают на противника, и кажется, врагов вот-вот сбросят прямо в реку. Единственное спасение для парней с церковной мызы — это самим прыгнуть в воду.

— Тише, тише, ребята! — кричит арендатор.

— Ур-р-а-а! Битва под Лейпцигом! — вопит Либле, корчась от смеха.

Кийр стоит чуть поодаль и бьет длинной жердью по воде, обрызгивая противников. В азарте он забыл всякую осторожность и проваливается одной ногой в воду. У кого-то из неприятелей течет из носу кровь. Другой пытается прыгнуть в лодку, но, не рассчитав расстояния, шлепается в реку. Либле бросается его спасать, но, вытаскивая этого жалкого человечка, нарочно медлит; уж очень забавно глядеть, как тот кряхтит и фыркает в воде. Тоотс со страшным ревом бросается в реку и плывет на помощь к своим, как будто им еще требуется какая-нибудь помощь. Какой-то веснушчатый малыш с церковной мызы хочет влезть на дерево, но его за ноги стягивают вниз и Тоотс, как раз выбравшийся на берег, берет его под свою «опеку».

— Чудо будет, если кого-нибудь в этой суматохе не прикончат! — кричит арендатор, обращаясь к Либле.

В это мгновение еще несколько мальчишек, сцепившись, валятся в воду, и река вдруг кажется наполненной огромными рыбами. Визг, брань, стук палок и крики о помощи сотрясают воздух.

Тут арендатору приходит в голову спасительная мысль.

— Пастор идет! — кричит он, указывая в сторону церковного двора.— Пастор идет!

Крик мгновенно стихает, драчуны выпускают друг друга из рук, и, словно по мановению волшебного жезла, мальчишки, только что плававшие в воде,

оказываются на берегу. Проходит еще несколько минут, и ученики приходской школы несутся по пригорку вверх, а школьники с церковной мызы мчатся домой через двор бани.

Но — благодарение богу! — пастора нигде не видать. Оба лагеря на этот раз отделались лишь взаимной взбучкой.

Ребята возвращаются в класс и начинают оживленно обсуждать исход боя. Серьезных ранений, к счастью, нет ни у кого, один лишь Тоомингас, ощупывая бока, говорит, что в груди у него что-то больно колет. Рана на руке у Ярвеотса не так опасна, как это казалось в первую минуту. У Кезамаа на голове вскочила шишка, но она скоро пройдет, надо только приложить на минутку кусок холодного железа. Тоотс, Кийр и еще несколько ребят основательно промокли, но человек ведь не сахарный, не растает. Легких повреждений, вроде царапин и ушибов, правда, довольно много, но стоит ли о них говорить, а тем более о каких-то оторванных пуговицах. Все это мелочи по сравнению с тем, как досталось противникам; что те сейчас претерпевают — знает только бог да они сами. Ох, этот Кезамаа со своим дерном!

У Тоотса положение незавидное. Хотя парень и пыжится, но он промок насквозь, а долго сидеть в мокрой одежде не годится. Ребята принимаются обсуждать, что делать.

Но Тоотс уже сам знает, что ему делать. Он раздевается, благословляя ту минуту, когда раздарил свои вещи (не то и они вымокли бы), и забирается в постель. Одежду его уносят сушиться на солнце.

— А если придет кистер,— наставляет он ребят, скажите, что я лежу в скарлатине.

Затем он, как и полагается настоящему больному, велит себе принести в постель разные вещи и чувствует себя довольно уютно.

На реке арендатор и Либле, посмеиваясь, продолжают свою работу.

XXVIII

На следующий день в обеденный перерыв кистер гонит мальчишек в сад копать грядки. Юрьев день давно прошел — пора и овощи сеять. Ребята трудятся не за страх, а за совесть. Одни копают, другие работают граблями, третьи засевают мелкими зернышками черную землю.

Один лишь Тоотс стоит в стороне и наблюдает. Он сегодня последний день в школе — стоит ли еще себя утруждать работой.

«Черт побери,— думает он,— всю зиму Юри-Коротышка орет на меня, ругается, а теперь иди еще ему грядки копай. Дураков на свете мало, да и тех вчера вздули; кому охота, тот пусть работает, а я погляжу со стороны. Кистер обещал потом дать каждому парню по кренделю — ну и пусть дает. Этой костью он других собак, может, и обманет, а меня не удастся».

— Ну, Тоотс, а ты чего ждешь? — спрашивает кистер.

— Мне судорога икру свела,— отвечает Тоотс,— ступить не могу.

— Судорога? Долго ли у тебя эта судорога будет, она скоро пройдет. Потри ногу немножко!

— Да я ее, сатану, уже тер, еще хуже делается.

— Это что такое? А ну-ка пошевели ногой!

— Не могу пошевелить, она тогда как в огне горит. Судорога эта у меня с детства, чуть простужусь — сразу ногу сводит.

— Где же ты простудился в такую теплынь?

— В реке. То есть нет, не в реке. На берегу реки.

Кистер подозрительно оглядывает Тоотса и отходит в сторону. Прямо исчадие ада этот Тоотс: ничего, кроме озорства, ему не идет на ум. Хорошо, что он покидает школу, здесь он только подает дурной пример другим.

Тоотс тайком показывает кистеру кулак. Ах вот

как, пошевели, говорит, ногой! Если бы у него, Тоотса, и вправду судорога была, стал бы он еще ждать кистерских наставлений. Он-то со своей судорогой справится, а Юри-Коротышка пусть сам свои грядки копает и засевает их хоть бурьяном. Да, именно: пусть хоть бурьяном засевает, а его ногу пусть оставит в покое. Нога — это нога, а грядка — это грядка. А в самом деле, если б найти что-нибудь такое... вроде семян бурьяна... Посыпать бы на грядки... Был бы кистеру подарочек. Ох как жаль, что нет под рукой чего-нибудь в таком роде... скажем, семян льна или клевера. Но зачем лен или клевер, можно ведь... можно... Ого-го-го-го! Он у меня еще наплачется!

Тоотс прячется за куст и хохочет, как безумный. В то же время, обернувшись к ребятам, он строит им такие уморительные гримасы, что и они заливаются громким смехом.

«Чего это он смеется? — думает Имелик. — Вчера только был такой грустный, что даже шапка на голове — и та чуть не поседела, а сейчас разошелся, как сумасшедший. Видно, опять собирается выкинуть какой-нибудь фокус».

Дальше ему некогда раздумывать: из-за кустов появляется Тоотс с невероятно серьезным видом и сразу же принимается за работу. Вначале он помогает другим ребятам вскопать несколько грядок, затем переходит к тем, кто работает граблями, и здесь тоже развивает такую бурную деятельность, что даже кистер это замечает и хвалит его за усердие. Под конец кистер озабоченно спрашивает, прошла ли у него судорога и как он с ней справился.

— Гладил,— коротко отвечает Тоотс.

— Ну да, я же говорил,— подхватывает кистер.— При судорогах самое главное — это погладить и растереть.

Кистер настроен весьма благодушно. Работа подвигается как нельзя лучше, грядки появляются одна за другой, черная рыхлая земля ждет посева.

Пожалуй, можно бы и начинать сеять, но сначала необходимо решить, какие грядки под какой сорт овощей отвести. После короткого совещания кистер и его супруга приходят к определенному решению и вы-

иосят баики с иамочеиными семенами. Столько-то будет огурцов, столько-то морковки, столько-то свеклы... Надо только объясиить ребятам, густо или редко сеять; а то если огурцы посеять слишком густо, стебельки сгиниют; коиечио, лишиее можио будет потом выполоть, но все же... лучше, если с самого иачала всего будет в меру.

Сеять поручают иаиболее поиятливым мальчишкам: это работа ответствеииая. Среди иих и Тоотс — ему, как видио, особеино ие терпится этим заияться.

— Сей, сей! — говорит ему кистер. — Но делай так, как я тебе показываю. И ие старайся делать лучше, чем я, ие то все испортишь.

И вот сеятели приступают к работе. Оии движутся вдоль грядок цепочкой, а кистер ходит взад и вперед, командует и иаставляет. Такая работа, говорит он, детям весьма полезиа; в жизии им такие иавыки иесомиеино пригодятся. Ведь иедаром говорится: чему не иаучится Ютс [1], того ие будет зиать и Юхан.

— Чему ие иаучится Ютс, того ие будет зиать и Юхаи,— задумчиво повторяет про себя Тоотс. При этом ои вытаскивает семеиа попеременио то из одиой баики, то из другой, то из третьей, все время поглядывая через плечо на кистера. Тут что-то готовится, Тоотс что-то замышляет — Имелик замечает это по беспокойиым взглядам своего соседа,— ио что имеиио, покажет будущее.

Уходя с огорода, Тоотс отзывает Имелика в стороиу, хватает его за пуговицу куртки и тихоиько спрашивает:

— Имелик, ты умеешь держать язык за зубами?

— Вот чудак, коиечио, умею,— отвечает Имелик, ироиически подчеркивая любимое слово Тоотса — «чудак».

— Так вот что,— шепчет Тоотс,— помнишь, мы вчера говорили, что иадо бы сыграть с Юри-Коротышкой какую-нибудь штуку...

— Ну?

— Что — ну? Я уже сыграл.

---

[1] Ю т е — уменьшительное от Юхан.

— А что ты сделал? Я, правда, видел, что ты суетишься, но не заметил, что ты там...

Тоотс подозрительно озирается по сторонам и снова шепчет Имелику на ухо:

— Я перемешал все семена, сколько их было, и разбросал по грядкам. Когда взойдут, пусть Юри-Коротышка ломает себе голову, что это за овощи такие.

— Да ну? Все перемешал?

— Все перемешал. Одну горсточку огурцов взял, вторую — моркови, третью свеклы... горох, петрушка, лук — все вперемешку, одно на другое.

— Эх ты, башка!

— Да нет же, чудак, какая башка! Мы же вчера советовались, что делать.

— Пусть так, но на кой черт... Кистер узнает — он тебя в пух и прах разнесет...

— В пух и прах... Откуда же он узнает, если ты не скажешь.

— Ну да, но сеяло-то нас всего четверо. На нас и подумает. Тебе что, ты сегодня уходишь.

— Ну что ж, уйти-то я уйду, это правда, но... А вы скажите, что не знаете, кто это сделал. Скажите — наверно, кто-то ночью пришел и все заново пересеял. А если он на меня подумает — пусть думает! Что он мне может сделать? На выгон за мной не побежит. А придет — я на него собаку натравлю, пусть она ему штаны порвет.

— Ох ты, чертов жук, Тоотс! Ха-ха-ха! — смеется Имелик.— Хотелось бы мне посмотреть, что за Содом и Гоморра тут получится.

— Чудак, а мне, думаешь, не хотелось бы! Уж я как-нибудь выберусь сюда. Кистеру, конечно, на глаза не покажусь. Только вот в чем загвоздка: вдруг пастух скоро выздоровеет, мне придется вернуться в школу, тогда-то кистер мне и задаст перцу. Но я не вернусь, буду околачиваться где придется, а дома скажу, что бываю в школе. Осенью можно будет, пожалуй, и вернуться, тогда...

— Тогда уже все поспеет, что ты посеял, да и взбучка для тебя поспеет.

— О-о, за это время он забудет.

Тоотс и Имелик, наверное, еще долго обсуждали бы эту необычайную проделку, но в это время на дороге показывается телега и Имелик узнает старика Куслапа. За Куслапом приехали. Куслап должен идти пасти скот.

— Ого-о,— радуется Тоотс, завидев старика, движениям которого он зимой так часто подражал,— тогда дело не так уж плохо — сегодня, значит, еще кто-то собирается уезжать. Вот если б все ребята взяли да разъехались по домам — пусть бы тогда кистер руками развел.

Пожитки Куслапа выносят во двор и кладут на телегу. Не говоря никому ни слова, даже не попрощавшись ни с кем, Куслап взбирается на поклажу и сидит там, словно кукушка. Пусть везут его куда хотят — он на все согласен, он сделает все, что ему прикажут, лишь бы его не били и не толкали.

Арно в раздумье стоит на пороге. Давно ли Куслапа привезли в школу, и вот он уже уезжает. Тогда был холодный январский день; Куслап в своем смешном тулупе казался маленьким, точно шестилетний ребенок. «И как мать решилась послать такого в школу?» — подумал тогда Арно. Всего полгода пробыл Куслап в школе, а как-то повзрослел. Удивительно быстро летит время; совсем недавно, как будто только на прошлой неделе, ребята гонялись за Куслапом, а он ползал под кроватями. Да, время бежит... Скоро они все отправятся по домам, на летние каникулы.

Имелик провожает телегу до ворот.

— Езжай, езжай, Тиукс,— говорит он,— я тоже скоро приеду. Долго тут не останусь.

— Чайник и сахар в шкафу, на нижней полке,— отвечает Куслап.

— Ладно, найду. Приеду, привезу тебе конфет и булок. А ты, смотри, удочки приготовь; будет время, пойдем рыбу ловить. Езжай, езжай, и обо мне не беспокойся, я тоже скоро дома буду. Счастливого пути!

— А тебе-то чего спешить? — спрашивает его Тээле: она вышла с подругой на дорогу погулять.

— А что мне здесь делать,— отвечает Имелик,— Куслап уехал...

— Тебе жаль, что ли?

— Да, Куслап славный мальчишка.

— Почему ж ты с ним вместе не поехал?

Имелик глядит вслед Куслапу, точно хочет позвать его обратно.

Тээле с подругой отходит подальше, потом возвращается уже одна и тихонько говорит Имелику:

— Если ты сам с арифметикой не справишься, приходи к нам, я тебе помогу.

— А, да что там арифметика,— машет рукой Имелик,— как-нибудь справлюсь, но неохота мне здесь оставаться без Куслапа. Скучно. Тоотс тоже сегодня уезжает... Что мне тут делать?

— Глупость какая! Тоотс ему нужен — такой страшный Кентуккский Лев. Да что с тобой сегодня?

— Лучшие ребята уезжают.

— Вот комедия! Подумаешь, лучшие ребята! А если ты арифметики боишься — я сама тебе буду задачи решать.

— Да нет. Чего там я боюсь... вот возьму в один прекрасный день навострю лыжи и — домой!

— И на кладбище больше гулять не хочешь? Сейчас ведь такая хорошая погода; по вечерам...

— Ох, нагулялся, хватит.

— Больше не хочешь?

— Да будто неохота...

— А чего же тебе хочется?

— Домой.

— Прямо дитя малое: ему домой хочется!

Тээле хмурится и уходит. Подумать только, что за человек! Куслап ему дороже, чем она, Тээле. Да нет, никуда он не поедет, это только так говорится. Они, конечно, еще не раз пойдут гулять на кладбище. Во всяком случае, она каждое утро будет приносить и тайком передавать Имелику готовые задачи; парень стесняется, не решается сказать, что арифметика его больше всего беспокоит; ладно, ладно, она, Тээле, прекрасно понимает, откуда ветер дует, но говорить ему об этом незачем. Уж она устроит так, что Имелик останется в школе до самого конца занятий.

А Имелик по-прежиему стоит и задумчиво смотрит вслед уезжающему. Куслап едет домой... Да-а, Куслап приедет домой и будет пасти скот на берегу озера. Озеро... В тихую погоду оно, как зеркало. Всплескивают щуки в камышах, иа лугу крякают утки. Медленно взмахивая крыльями, проплывает иад водой чайка. А на другом берегу аукают пастухи. По воде звуки доиосятся так ясно, будто пастухи в каких-нибудь иескольких сотнях шагов, даже говор слышится. Вдали меж деревьев маячат домики, а еще дальше, иа краю озера, белое здаиие мызы... точио лебедь. Выкупаться бы... О, какое чудесное песчаиое дио у озера возле пастбища! Чуть поглубже — камни, которыми придавливали замочеиный леи. Когда-то в этом озере мочили лен; и сейчас еще кое-где видишь полуистлевшие пучки льна. А теперь среди этих камней живут злющие черные человечки, готовые ущипиуть каждого, кто осмелится нарушить их покой. Вечерами, после захода солица, они вылезают из-под камией и разгуливают по диу. О, оии лакомы до свежей весеиней травки! Подальше дио озера покрыто мхом. Как ои шипит и пускает пузыри, если на иего иаступишь! И зыбкий... как болото. А иной раз во мху под твоей босой иогой что-то зашевелится, пытаясь вылезть,— не пугайся! Это опять тот же человечек в чериом, с клешиями. Порыв ветерка. Словио тихая дрожь пробегает по воде. Издали доносится шум... И маленькие волиы плещут о подмытый берег. Буль-буль-буль — журчит вода. Но вот волны иарастают, шум усиливается, пронзительно кричит чайка, словио предупреждая: плывите к берегу, иадвигается буря! Гул. Белые гребии воли вздымаются и опускаются, брызги пеиы летят иа берег. Лунная ночь... Серебряиая полоса дрожит иа воде. На берегу мерцают огии. Деревья дремлют. Там, где на поверхиости воды колышутся теии, чудится бездоииая глубииа. Издали долетает плеск весел...

Ох, и Тиукс поехал туда! А он, Имелик, остался здесь. Почему он еще здесь?

Покачивая головой, Имелик медленно бредет к школе. После уроков за Тоотсом приезжает батрак.

— Да, ребята,— говорит Тоотс,— иичего ие поде-

лаешь... нужно ехать. Нужно ехать, пастух в скарлатине.

— Сам ты смотри скарлатиной не заболей! — кричат ему.

— Э, черт, что мне скарлатина! — отвечает Тоотс.— Скарлатина не страшней, чем Юри-Коротышка. Ха-а, Юри-Коротышка еще увидит...

— Что увидит?

— Увидите, что он увидит. Ночью, когда хозяин спал, явился дьявол и засеял грядки сплошной кашей.

— Что такое? Что такое?

— Молчите, чудаки! Солнце все на свет божий выведет — так ведь в той песне говорилось, что мы разучивали. А когда под солнышком все это выйдет на белый свет, кистер от злости почернеет. Я еще выберусь посмотреть, как вы тут живете; тогда и расскажу, в чем дело. Я бы и сейчас сказал, да вы, чудаки, проболтаетесь, все мне испортите и настоящей музыки не получится. Такие вещи надо держать в тайне, как это делал человек в черном плаще. Ну, словом, я уезжаю.

— Осенью вернешься в школу?

— Да кто знает. Всякая палка — о двух концах. Будь Коротышка чуть покладистей, перестал бы он ругаться — может, я и вернулся бы. Но поди знай, как осенью дела обернутся. Белый свет велик, а в России нужны управляющие, может, туда и подамся. А если не получу хорошего местечка — на плохое я, конечно, не пойду,— так, может, и вернусь. Ну, прощайте! Всего вам наилучшего, приходите ко мне в Заболотье, я вам своего пса покажу. Это тот самый щенок, которого я перед рождеством в школу притащил; он теперь здоровенный стал, на задних лапах умеет ходить. Прощайте!

— Прощай, прощай, Тоотс! Осенью возвращайся!

— Ладно, коли места не получу, вернусь.

Тоотс направляется к повозке, но вдруг снова поворачивает назад.

— Что такое? — спрашивают провожающие.

— Кийра, дьявола, поколотить не успел.

— Ха-ха-ха! — смеются ребята. — Кийр, подойди-ка сюда, Тоотс хочет тебя поколотить.

Кийр стоит в дверях и грозит Тоотсу кулаком. Видя, что Тоотс бежит к нему, он мигом исчезает в классной комнате.

— Ну его! — говорят мальчишки. — Осенью вернешься, тогда он и получит старые долги.

— Ладно! — соглашается Тоотс и лезет на повозку.

Когда лошадь трогается, Тоотс встает в повозке во весь рост и затягивает скрипучим голосом:

Не накуриться мне никак,
а в трубке кончился табак.
С болота мох пойду таскать,
чтоб трубку мохом набивать!

— Вот здорово! Замечательно! — кричат мальчишки.

Так отбывает Тоотс. Выезжая за ворота, он пристально всматривается в грядки, словно желая взглядом проникнуть под землю и посмотреть, что за дребедень он там посеял. Ребята, смеясь, глядят ему вслед: уехал от них удалой парень, веселый шутник!

— Тоотс! — кричит вдруг Имелик.

Тоотс оборачивается.

— Постой!

— Тпрру! — Тоотс останавливает лошадь. — Чего тебе?

— Подвези меня!

— Ну давай!

— Обожди!

Имелик бежит в спальню, быстро надевает шапку и пальто и вскоре появляется во дворе с каннелем и книжками.

— Подожди! — снова кричит он Тоотсу. — Я сейчас приду. Только котомку возьму.

— А ты куда? — с удивлением спрашивают ребята.

— Домой, домой!

— Да ну?

— Правда, правда!

— А кистер?

— Скажите, что я скарлатиной заболел,— хохочет Имелик и вытаскивает из кладовой свою котомку с харчами.— Скажите, что хотите, а я уезжаю. Если бы вы знали, как сейчас на озере хорошо! За кроватью и шкафом потом приеду. До свидания, до свидания! Осенью, может, увидимся.

— Имелик, неужели ты и вправду уезжаешь?

— Конечно, уезжаю. А чего мне тут делать? Тоотс меня подвезет, нам ведь по дороге.

— Отчего же ты с Куслапом не поехал?

— В голову не пришло. Или... Да я и сам не знаю, почему не поехал.

— Что это за поветрие такое сегодня, все вдруг уезжают! — удивляются ребята.— Трое сразу! Ну, те — понятно, а Имелик! Имелик! Ему чего спешить?

— Может, шутит,— говорят одни.

— Да нет, не шутит,— отвечают другие.— Уезжает.

Имелик бежит к Тоотсу, оба встают в повозке, кричат: «Ура-а-а!» — и машут шапками. Вскоре они скрываются из глаз.

* * *

И вот наступает день, когда школьников распускают по домам.

Молитва, напутственная речь кистера. Да не забудут они того, чему учили их в школе весь год. Да хранят они в памяти наставления учителей своих и следуют им во всем.

Школьники прощаются. На дворе их ждут повозки. Выносится и погружается на телеги скарб. Под шкафами обнаруживаются целые выводки мышей; поэтому они, чертенята, так отчаянно и пищали по ночам! Пауки в ужасном смятении: их сети разрывают в клочья, да и сами они вынуждены спасаться бегством, чтобы не погибнуть во время уборки комнаты. Многие вещи, давно считавшиеся потерянными, неожиданно появляются на свет божий; даже деньги находят по углам. В спальне, где раньше стояли кровати, валяются две старые шапки, рваный чулок без пятки и носка, клочки бумаги, осколок зеркала. Пол

кладовки усеян листками из старых тетрадей. Немало этих листов испещрено красными чернилами, и на многих под диктантом, с гордо поднятой головкой, красуется двойка; тут же валяются заплесневелые горбушки хлеба и кости. А старые стенные часы в классной невозмутимо отбивают свои двенадцать ударов, словно хотят сказать: «Не впервые видим мы эти разъезды, для нас это не новость, не то что для вас, наши юные друзья. Поезжайте, поезжайте, все равно осенью вернетесь и опять станете по ночам рассказывать друг другу сказки о привидениях; если только с нами к тому времени не... Да-а, да-а, многое может случиться, ведь мы уже очень стары и здоровье у нас неважное».

И вот школа уже совсем пуста.

Там, где раньше было столько жизни и шума, сейчас простерла свои незримые крылья тишина.

Учитель во дворе провожает последних отъезжающих.

— До свидания, до свидания, Тыниссон! До свидания, Кезамаа и Тоомингас! Счастливого пути, маленький Леста! Смотри, подрасти за лето! Будь здоров, Кийр! Ну, с тобой мы часто будем видеться, ты же здесь живешь поблизости. А-а, Ярвеотс... Приезжай, приезжай, если удастся, еще хоть на одну зиму. Ничего, что ты уже взрослый парень,— все равно! И старики учатся. Даже Виппер обещал вернуться. Прощай, прощай, Виппер! Кто стремится вперед, тот всего достигнет. А ты, Тали, не забывай, что по воскресеньям у нас с тобой уроки скрипки. Да, да, обязательно приходи; иначе забудешь все, чему за зиму научился. Счастливого пути, счастливого пути! И никогда не вешать голову... Смело и радостно вперед! Наступит время, когда... когда...

По щеке учителя скатывается слеза. Он возвращается в классную комнату, останавливается среди пустых парт и долго стоит в раздумье. Ушли! Ушли... те, кто хоть иной раз и доставляли ему огорчения, но все же были так дороги его сердцу.

— Ну, чего ты еще ждешь? — спрашивает Тээле у Арно; он задумчиво смотрит в сторону реки.

— Смотрю... река там...

— Ну так что? Никогда речки не видел? Приходи сегодня к нам новый дом смотреть.

— Да... я не знаю... Дома...

— Что у тебя дома?

— Цветы... луг... солнце...

Он быстро вскакивает на повозку и едет домой, ни разу даже не оглянувшись на Тээле.

— Скорее, Март, домой! Гляди, какая чудная погода!

— Подумаешь какой! — надув губы, бросает ему вслед Тээле.

* * *

На этот раз я кончаю. А если, бог даст, буду жив и здоров, мы, возможно, услышим и о дальнейшей судьбе наших юных друзей.

СОДЕРЖАНИЕ

О. Лутс

Л 86 Весна: Пер с эст. Б. Лийвака / Ил. В. Л. Гальдяева.— М.: Правда, 1987.—368 с., ил.

Повесть народиого пнсателя Эстоннн О. Лутса (1886/87—1953) «Весна» иапнсана в 1912 году.

В осиову «картиıок из школьной жизни» (таков подзаголовок повести) легли личные воспомииания автора о том времеии, когда он сам был учеииком Паунвереской приходской школы.

$Л \frac{4702010200-1325}{080(02)-87} 1325-87$ 84 Р7

Оскар ЛУТС

ВЕСНА

Редактор
Е. М. Кострова

Оформление художника
И. А. Гусевой

Художественный редактор
Г. О. Барбашинова

Технический редактор
Т. С. Трошина

ИБ 1925

Сдано в набор 19.05.86. Подписано к печати 25.10.86.
Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 2.
Гарнитура «Литературная». Печать высокая
Усл. печ. л. 19,32. Усл. кр.-отт. 19,74. Уч.-изд. л. [illegible].
Тираж 250000 экз. (1-й завод: 1—125000 экз.).

Заказ № 500. Цена 1 р. 50 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена
Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда».
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Отпечатано в типографии
издательства Карагандинского обкома Компартии
Казахстана 470032. Караганда ул. Дзержинского, 33.

1 р. 50 к.